

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков

После Сирина

В английской версии автобиографической книги «Память, говори» (Speak, Memoir, 1967) Набоков вспоминает о нескольких своих собратях по эмигрантской литературе – о Ходасевиче, Марине Цветаевой, Бунине, Поплавском, Алданове, Куприне, Айхенвальде – не совсем так, как в «Других берегах», ее более раннем русском варианте. Он изменяет композицию раздела, вносит в него некоторые поправки и уточнения, а в конце добавляет лукаво: «Но автором, который интересовал меня больше других, был, естественно, Сирин. Мы с ним принадлежали к одной генерации. Из всех молодых писателей, вылупившихся уже за границей, он был самым одиноким и самым заносчивым. Начиная с появления его первого романа в 1925 году и на протяжении следующих пятнадцати лет, пока он не сгинул столь же необычно, как и появился, его творения вызвали острый и не вполне здоровый интерес у критиков. <...> По темному небосклону изгнания Сирин пронесся – воспользуемся традиционным сравнением – как метеор, оставив после себя лишь смутное чувство неловкости».

Большинству американских и английских читателей, мало сведущих в недавней истории русской словесности, было, конечно, невдомек, что Набоков говорит здесь о самом себе и что В. Сирин – это его постоянный псевдоним, под которым он с 1921 года публиковал все свои русские стихи, рассказы, драмы и романы. Собственно говоря, в русской эмигрантской литературе никакого писателя Набокова не существовало – псевдоним полностью вытеснил и заменил реальное имя, так что даже хорошо знакомые с набоковской биографией люди никогда не называли его настоящую фамилию. «В. В. Сирина, обожаемого первенца покойного друга В. Д. Набокова, я знал еще ребенком...»[1] – явно не замечая некоторого квипрокво, сообщает, например, в мемуарах почтенный издатель «Права», «Речи» и берлинского «Руля» И. В. Гессен; только под псевдонимом фигурирует Набоков во всех упоминаниях дружившего с ним В. Ф. Ходасевича, включая и частные письма, и записные книжки[2]. Именно В. Сириным в двадцатые – тридцатые годы восхищались или возмущались рассеянные по всему миру русские эмигранты, и сложившийся за два десятилетия образ писателя еще долго хранился в их памяти без всякой связи с поздним творчеством Набокова. Так, уже в наши дни поэт-эмигрант В. Перелешин, проведший молодость в Харбине и Шанхае, вспоминает: «...за живое брали книги шумевшего тогда Вл. Сирина: „Защита Лужина“, „Король, дама, валет“, „Самега Obscura“, „Возвращение Чорба“. Впрочем, шампанское, которое падало в гортань „холодными звездочками“, обжигало не одного меня. <...> Все мы были потрясены и очарованы этими книгами, этими беспощадными панорамами жизни, как она есть, безо всякого морализирования и учительства»[3]. Очевидно, что для Перелешина важен не Набоков и его творческий путь, а только Сирин, каким его воспринимали много лет назад.

В. Сирин не стало в 1940 году, когда Набоков переехал в США и начал публиковать там на английском языке переводы из русских поэтов, статьи, рассказы, романы уже под своим именем. Это была поистине литературная смерть писателя, возродившегося в ином измерении, в новой «телесной оболочке» (впрочем, не только в кавычках, ибо за океаном худощавый Сирин внезапно превратился в тучного Набокова), тем более что его репутация лучшего прозаика русской эмиграции в Америке ровным счетом ничего не значила. Набокову, как когда-то Сирину, пришлось заново пройти весь путь от начинающего литератора и переводчика до признанного мэтра, и надо сказать, что его вторая жизнь в американской литературе оказалась не стремительным взлетом, а медленным восхождением.

Не следует, однако, думать, что Набоков вынужденно перешел на английский язык из-за смены местожительства, – ведь, как показывает пример М. Алданова, русский писатель-эмигрант вполне мог продолжать работать и в США. Свой первый роман по-английски – «Истинная жизнь Себастьяна Найта» – он написал задолго до бегства из охваченной войной Европы, в Париже в 1938 году, а еще год спустя опубликовал под новым псевдонимом «В. Шишков» (репетиция предстоящего перехода в небытие?) стихотворение, в котором прямо объявлял о готовности «жить без имени» и «променять на любое наречье все, что есть у меня, мой язык». Как видно, решение «убить Сирина» (подобно тому как в «Лолите» Гумберт Гумберт убивает своего литературного двойника) зрело у Набокова довольно долго и было связано отнюдь не только с переездом в Америку, но и с целым комплексом внешних и внутренних причин.

Причины внешние самоочевидны: окончательное превращение России в тоталитарного монстра, в «страну немого рабства» – превращение, уничтожившее даже слабые надежды когда-нибудь вернуться на родину; политизация и распад эмигрантского сообщества; культурный вакуум, который к тому времени образовался вокруг писателя. Однако, сколь катастрофичны ни были все эти внешние обстоятельства, Набоков вряд ли решился бы покончить с Сириным и перейти на другой язык, если б не внутренний творческий кризис, наступивший у него, по-видимому, в конце тридцатых годов, после окончания работы над «Даром». Его последний русский роман явно оказался венцом, подведением итогов, кодой пятнадцатилетней «истинной жизни» В. Сирина: вобрав в себя весь круг набоковских тем и приемов, весь материал его творческой биографии, он завершил эволюцию, одновременно описав и объяснив ее. Дальнейшее развитие требовало каких-то существенных перемен, требовало обновления, и характерно, что все основные произведения Сирина-Набокова, написанные по-русски с 1937 по 1940 год, – это не вполне удачные попытки либо попробовать силы в новом жанре (драмы «Событие» и «Изобретение Вальса»), либо расширить тематический и сюжетный репертуар прозы, освежить ее поэтику (неопубликованная повесть «Волшебник», с точки зрения фабулы представляющая собой «прото-Лолиту», и первые главы незаконченного романа «Solus Rex», мотивы которого впоследствии легли в основу двух английских книг – «Под знаком незаконнорожденных» и «Бледный огонь»). Одним словом, Набоков находился тогда если не в тупике, то на распутье, и отчаянно смелый акт перевоплощения, на который он в конце концов отважился, возможно, был для него наилучшим способом продолжить движение.

Переход на другой язык дался Набокову очень нелегко и был сопряжен с огромными трудностями, хотя он свободно читал, писал и говорил по-английски с раннего детства и три года учился в Кембридже. «Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, – объясняет он в предисловии к „Другим берегам“, – беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия». Своей личной трагедией назвал Набоков (уже после громкого успеха «Лолиты», принесшей ему славу выдающегося стилиста) то, что ему пришлось «отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры – каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций, которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебным образом воспользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов».

Говоря об ущербности своего английского языка, Набоков, конечно же, немного кокетничает. Определенные сомнения по поводу его «аппаратуры» он испытывал лишь в самом начале «новой жизни», когда, по его признанию в письме американскому писателю и критику Э. Уилсону, мучился вопросом, «не имитирует ли он бессознательно стиль какого-нибудь второразрядного английского писателя». Отражением этих тревог в известном смысле можно считать самую «Истинную жизнь Себастьяна Найта», где на различных уровнях варьируются темы перевоплощения: безымянный повествователь романа – русский, который, подобно Набокову, сочиняет первую книгу на английском языке, робея и стесняясь второсортности своего слога; его сводный брат Себастьян Найт, всю жизнь писавший по-английски, перед смертью снова принимает русское имя, словно воскресая в новом обличье и меняясь местами с начинающим автором, а его романы и повести, подобно романам и повестям Сирина, превращаются в источники создаваемого на наших глазах нового текста. Однако уже в этом романе сама авторефлексия начинает компенсировать нехватку «туземных зеркал и задников», а в дальнейшем Набокову удается на ее основе создать совершенно оригинальную иллюзионистскую «аппаратуру».

Отчасти английская проза Набокова напоминает русскую прозу Сирина – в ней та же, по точному определению одного из лучших истолкователей Набокова в эмигрантской критике П. Бицилли, «игра сходно звучащими словами», та же синэстезия, та же изощренность неожиданных метафор, та же зримость детали, то же виртуозное использование лейтмотивов. Но только отчасти, ибо английский язык, в отличие от русского, для Набокова все же получужой, не до конца «кровный», из-за чего между писателем и его «посредником» неизбежно возникает некоторый зазор, определенная дистанция. Набоков теперь не просто обращается с языком как с орудием, но и пристально рассматривает его со стороны, замечая в нем то, что при взгляде

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru изнутри незаметно, стерто, привычно, и благодаря этому превращая отчужденность в достоинство. Он любовно воскрешает забытые, затерянные в словарях слова, изобретает неологизмы, обнажает нелепость и двусмысленность клише, жонглирует каламбурами; его стиль заостряется, вбирает в себя довольно сильную комическую, почти шутовскую струю, которая окрашивает все набоковское творчество «после Сирина». По сути дела, даже «Лолита» и «Просвечивающие предметы», самые мрачные романы писателя, в которых гибнут все без исключения главные действующие лица, суть не что иное, как «черные» комедии с ярким смеховым и игровым началом, противостоящим отчаянию.

Английская проза Набокова не только не скрывает, а, напротив, подчеркивает свое чужеземное происхождение. В каждой книге обязательно появляются хотя бы второстепенные русские персонажи (не говоря уже о рассказчике в «Истинной жизни Себастьяна Найта» и о главном герое «Пнина»), а вместе с ними – вкрапления русских слов и фраз или их английские отголоски, внятные лишь полиглоту. Вообще говоря, идеальный читатель прозы Набокова должен владеть по крайней мере двумя (а лучше – четырьмя) языками, ибо иначе он не поймет многих спрятанных значений ключевых слов, многих важных намеков и отсылок. Так, скажем, человек, знающий только английский язык, конечно, заметит шахматную тему в «Истинной жизни Себастьяна Найта», поскольку фамилии героев Найт и Бишоп совпадают с названиями легких шахматных фигур (конь и слон соответственно), а французское слово «дамье» (шахматная доска) переведено в самом тексте. Но правильно оценить позицию на доске книги он сможет лишь в том случае, если сумеет расшифровать и остальные – иноязычные – шахматные намеки в романе: если будет знать, что две фамилии главной героини – Туровец и Лесерф – тоже отсылают к названиям фигур, но только русским, туре и ферзь (персидское происхождение последнего слова, кстати, объясняет, почему в тексте содержатся упоминания о персидской царевне и «Англо-персидском словаре»); что «Шварц» по-немецки – «черный», а «Белов» по-русски – противоположный цвет; что корень во французском географическом названии Рокбрюн может быть прочитан как «рокировка», и т. п. Почти всегда интернационален у Набокова и огромный арсенал исторических и литературных «подтекстов» – источников аллюзий и скрытых цитат, объектов пародирования и перефразирования, с которыми столь часто играют его романы. Только читатель, знакомый с русской литературой, поймет пародию на Анну Ахматову в «Пнине» или распознает в Нине Речной из «Истинной жизни Себастьяна Найта» черты ее почти полной тезки из чеховской «Чайки» – Нины Заречной, попутно вспомнив по ассоциации еще по крайней мере двух литературных персонажей в том же амплуа и с тем же именем – Нину Воронскую, «Клеопатру Невы», из «Евгения Онегина» и княгиню Нину, «упившуюся вакханку», из поэмы Баратынского «Бал»; только читатель, знакомый с литературой французской, заметит в тексте указание и на другую ее литературную предшественницу – Манон Леско; и лишь тот, кто владеет и русским, и французским языками, сможет перевести на русский фамилию Лесерф и обнаружить, что гениального писателя Себастьяна Найта отвергла Нина «Оленина» (характерное для Набокова удвоение имени!), подобно тому как ее однофамилица Аннет когда-то отвергла Пушкина.

Чаще всего разноязычные подтексты у Набокова проецируются друг на друга, создавая многослойную систему взаимоотражающих «каверзных зеркал». Сюжет «Лолиты», например, соотнесен с четырьмя основными источниками: он выворачивает наизнанку биографию неоднократно упоминаемого и цитируемого в романе Эдгара По, который, в противоположность Гумберту Гумберту, женился на «нимфетке», чтобы скрыть связь с ее матерью; в нем иронически обыгрываются и пародируются мотивы волшебных сказок и повести Мериме «Кармен»; и, наконец, в качестве «подкидной доски», «трамплина» (слова из «Истинной жизни Себастьяна Найта») для него используется центральный эпизод «Исповеди Ставрогина» – не вошедшей в основной текст главы «Бесов» Достоевского, с которым Набоков многие десятилетия вел нескончаемую тяжбу. Сказочные, романтические и «достоевские» фабульные схемы тем самым отождествляются, обнаруживая не вполне явное и не вполне лестное для некоторых из них родство, а всем им противопоставляется искусно расшитый по их канве сюжет набоковской «исповеди светлогожего вдовца».

Воспользовавшись метафорой самого Набокова, можно сказать, что его английские романы – это своего рода «просвечивающие предметы», под поверхностью которых скрываются их иноязычные прообразы, причем нередко внимательному взгляду сквозь них видны и смутные тени творений Сирина. Характерный пример: когда Себастьян Найт сочиняет вторую книгу, строящуюся «на изучении тех приемов, которыми пользуется человеческая судьба», он реализует замысел другого вымышленного писателя, героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева, который находит именно «в

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного романа». Более того, судьба сводит героев Себастьяна Найта лишь на третий раз, после двух неудачных попыток, и точно так же она поступает с Федором Годуновым-Чердынцевым и его идеальной возлюбленной Зиной Мерц. В том же прощальном романе Сирина спрятан и прообраз будущей «Лолиты» – Набоков вкладывает этот замысел в уста Щеголева, отчима Зины, законченного пошляка и отъявленного мерзавца, и прямо связывает его с Достоевским (которому, кстати сказать, распространная легенда приписала грех Ставрогина и Гумберта Гумберта). «Эх, кабы у меня было времячко, я бы такой роман накатал, – мечтает этот любитель сальных анекдотов и „Протоколов сионских мудрецов“. – Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, – знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти... И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать – соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду... А? Чувствуете трагедию Достоевского?»

Подобные автореминисценции имеют для позднего творчества Набокова принципиальное значение. И дело тут не только в том, что они – неотъемлемая часть метауровня, присутствующего в каждом набоковском тексте, который всегда может рассматриваться как комментарий к самому себе и своим предшественникам, но и в том, что с их помощью воссоздается единство созданной Сириным и Набоковым двусоставной и двуязычной «второй реальности». Сколь бы ни отличались по стилю, интонации, материалу русские и английские ее половинки, нельзя не согласиться с американским критиком Дж. Мойнаганом, который отмечает, что на протяжении всего сорокалетнего творческого пути Набоков «совершает круговое движение вокруг неподвижной точки – исходного пункта всего его творчества... описывая более широкие, более отдаленные от неподвижной точки круги»[4].

То, что в набоковской спиралевидной вселенной имеется некое неизменное, незыблемое тематическое ядро, сейчас, кажется, признано всеми критиками, хотя по поводу состава этого ядра высказываются различные точки зрения. Одни доказывают, что главная, стержневая тема Набокова – это тема изгнанничества, потерянного рая детства, тоски по отчужденному дому[5]; другие развивают мысль Ходасевича, писавшего: «Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника – вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях»[6]; третьи следуют за В. Е. Набоковой, которая уже после смерти мужа отметила, что все его творчество, «как некий водяной знак», символизирует и пронизывает тема «потусторонности»[7].

Рискуя быть обвиненным в эклектизме, осмелюсь тем не менее утверждать, что все эти темы у Набокова нерасторжимо сплетены между собой или, вернее, вставлены одна в другую, словно матрешки, которые, как известно, разнятся не формой и рисунком, а лишь величиной. В самом деле, драгоценные воспоминания о потерянном рае дарованы писателем только художнику или тому, кто в системе данного романа выступает как его заместитель. Если не каждый изгнанник для него художник, то каждый художник непременно изгнанник, одиночка, выставленный из парадиза Адам, преобразующий свою тоску по утраченному блаженству в источник материала для творчества как свободной игры, избывающий ее не в ностальгических вздохах и ламентациях, а в акте сотворения нового мира. «Я всегда думал, – заявляет Себастьян Найт, в некоторых отношениях другое „я“ Набокова, – что одно из самых чистых чувств – это чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился. Я желал бы показать, как он изо всех сил напрягает память в постоянных усилиях сохранить живыми и яркими картины былого: холмы, что запомнились голубыми, и блаженные дороги, зайцев на пашне и живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза, колокольню вдали и колокольчик под ногами... По той, однако, причине, что тему эту поиздержали более крепкие, чем я, таланты, а еще из-за врожденного недоверия ко всему, что кажется легко изобразимым, никакому сентиментальному пилигриму никогда не будет позволено высадиться на скалу моей неприветливой прозы». Никакое иное возвращение в потерянный рай, кроме воспоминания и преобразования, до смерти невозможно, и, более того, любые романтические попытки вернуть его наяву – не во «второй реальности» воспоминания, сна или вымысла – оказываются либо губительными, либо преступными. Так гибнет Хью Персон в «Просвечивающих предметах», когда отправляется в странствие по «святым местам» прошлого; так губит себя и свою возлюбленную «нимфетку» Лолиту Гумберт Гумберт, когда, нарушая естественный ход времени, начинает реализовывать в действительности эротическую грезу, и, наоборот, спасается и спасает, когда пресуществляет осколки разбитых, изуродованных,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru испакощенных жизней в стройную гармонию романа и дает Лолите «единственное бессмертие», которое «может с ней разделить», – бессмертие искусства (недаром Лолита, как явствует из предисловия «Джона Рея», умирает в праздник Рождества, ровно через сорок дней после того, как закончилась жизнь Гумберта Гумберта и вместе с ним его романа, – душа книги и ее автора, отбыв свой земной срок, на сороковой день устремляется ввысь, возрождаясь к вечной жизни).

Но, создавая «новую реальность», творя новый порядок из хаоса, художник-изгнанник во вселенной Набокова отнюдь не просто тешит собственное «я», преодолевает отчаяние, доказывает свою исключительность и возвышается над мировой пошлостью. Эгоцентризм, эстетское самолюбование, глухота и слепота к окружающему – это, согласно особой набоковской этике, суть свойства, свидетельствующие как раз о неполноте, ущербности дара, о действительной (а не мнимой, как в «Приглашении на казнь») «гносеологической гнусности». Подобный диагноз, оглядываясь назад, ставит самому себе и своему «двойнику» Клэру Куильти прозревший Гумберт Гумберт. Всецело поглощенные собой, набоковские лжехудожники и лжемыслители постоянно ошибаются, путаются, попадают впросак, неверно интерпретируют окружающую их реальность, слова и поступки других людей. И напротив, художники истинные пытаются выйти за пределы собственного «я», пытаются понять общее устройство универсума, который представляется им чем-то вроде грандиозной книги неведомого автора на неведомом языке. Видимая реальность во всем ее великолепном многообразии для них только «театр земной привычки, мундир временного естества», под которым скрывается тайна потусторонности, не постижимая ни рассудком, ни интуицией. Постичь эту тайну художнику не дано, но цель искусства – возвещать о ней, «обнаруживать странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку». Тому же, кто способен почувствовать и признать благую власть потусторонности, она словно бы идет навстречу, проявляя себя в «восхитительном обмане» природы, в переключках заметных лишь внимательному, зоркому глазу подробностей, в проступающих сквозь «ткань бытия» узорах судьбы, говоря с ним метафорами, знаками и символами.

В этом смысле все произведения Набокова можно считать рациональными моделями его двоящегося, иррационального универсума, где персонаж по отношению к авторскому сознанию занимает такое же положение, как человек вообще по отношению к «потусторонности», и, говоря словами Марии Толстой из рецензии на «Истинную жизнь Себастьяна Найта», они по преимуществу посвящены именно «выяснению отношений между творцом и его созданием»[8]. Показательно, что в обоих романах, вошедших в книгу, главный герой незаметно для самого себя становится марионеткой, которой движет добрая или злая, но чужая воля, втягивается в игру, правила которой заданы «совершеннейшим диктатором» – автором. Разыскивая факты для биографии Себастьяна Найта, его сводный брат, например, в какой-то момент попадает в Зазеркалье художественного вымысла – он чувствует, что «тень самого Себастьяна каким-то особым, ненавязчивым образом» пытается ему помочь и что «его розыски рождают свою собственную магию и свою логику». Не узнавшие им, его окружают персонажи прочитанных им книг брата, и сам он тоже становится персонажем чужого текста, порожденного в «потусторонности». Аналогичную метаморфозу претерпевает и герой «Просвечивающих предметов», нечаянный убийца Хью Персон, который из читателя и корректора произведений некоего писателя R. превращается в их действующее лицо.

«В зале автора нет, господ», – предупреждал Набоков в недоразгаданной «Парижской поэме», и это правда, но автор в его романах находится за кулисами, наблюдая за «просвечивающими предметами» с обратной стороны, высылая к публике своих гонцов, командуя рабочими сцены, давая советы актерам и, наконец, творя суд над собственными творениями. И в «Истинной жизни Себастьяна Найта», и в «Просвечивающих предметах» главные герои становятся жертвами страстной любви к недостойной, холодной и эгоистической женщине и гибнут, не достигнув сорока лет, но смерть – от неизвестной науке сердечной болезни в случае Себастьяна Найта или от очистительного огня в случае Хью Персона – не уносит их в небытие. Себастьян Найт как бы перевоплощается в своего брата, изучающего и пишущего его (авто)биографию, а Хью Персона, как Цинцинната Ц. в «Приглашении на казнь», приветствуют на пороге иного мира «существа, подобные ему». Послесмертие, дарованное героям с нетривиальным и добрым сознанием, – такова истинная воля Набокова, и это доказывает, что созданный им мир только кажется жестоким, холодным и аморальным. На самом же деле он справедлив и честен.

А. Долинин

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
1991, 2013  
Истинная жизнь  
Себастьяна Найта  
{1}

#### Глава первая

Себастьян Найт родился 31 декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна старая русская дама, просившая, неизвестно почему, не оглашать ее имени, как-то раз показала мне в Париже дневник, который вела в былые времена. Иной подумал бы, что те годы настолько были не отмечены событиями, что коллекционирование ежедневных мелочей (жалкий способ самосбережения) едва заходило далее краткого описания погоды; забавно, что и дневники монархов – какие бы бедствия ни сотрясали подвластные им страны – трактуют по преимуществу тот же вопрос. Удача – а она не любит, когда ее упрашивают, – сама положила передо мной нечто такое, чего никогда не дадут направленные поиски. Вот почему я могу утверждать, что в то утро, когда родился Себастьян, стояла ясная, безветренная погода, с морозцем в двенадцать градусов по Реомюру... но это и все, что нашла нужным занести в дневник славная дама. Подумав еще раз, не вижу никакой нужды сберечь ее анонимность – очень уж невероятно, что она когда-нибудь прочтет эту книгу. Даму звали – и зовут – Ольга Олеговна Орлова – жаль было бы потерять эту оологическую аллитерацию{2}.

Ее сухой отчет не передаст читателю, если только он не завзятый путешественник, очарования, таящегося за подобным описанием петербургского зимнего дня: ясную роскошь безоблачного неба, предназначенную не для согревания плоти, но для услаждения взора; глянец санных следов на твердом снегу просторных проспектов, подкрашенном между колеями щедрой примесью навоза; разноцветную гроздь воздушных шаров над головой уличного торговца в фартуке; золото вкрадчиво изгибающегося купола, затуманенное буйным цветением изморози; а на березах в общественном саду каждая тончайшая веточка обведена белым; скрипы и колокольцы зимней улицы... а кстати, как забавно вдруг заметить, глядя на старую открытку (вроде той, что я поставил у себя на столе, чтобы потешилось немножко дитя памяти), как наобум поворачивали русские экипажи – где, когда и как им вздумается, так что вместо застенчивого, по струнке, уличного движения наших дней видишь на этом раскрашенном снимке безбрежный, словно сон, проспект, дрожки, замершие под причудливыми углами, и надо всем – неправдоподобную голубизну, которая, чуть дальше, уже зарделась румянцем мнемонической пошлости.

Я не сумел раздобыть изображение дома, где родился Себастьян, мне, впрочем, хорошо знакомого, поскольку шесть лет спустя там родился и я. Вскоре после развода с матерью Себастьяна наш отец женился вторично. Как ни странно, в книге г-на Гудмэна «Трагедия Себастьяна Найта», вышедшей в 1936 году (у меня будет повод высказаться о ней подробнее), этот второй брак не упомянут вовсе, – обреченный на несуществование для ее читателей, я должен им казаться каким-то ложным родственником, говорливым самозванцем. Впрочем, сам Себастьян, в наиболее автобиографичной из своих книг («Стол находок»), нашел для моей матери теплые слова – думаю, она их заслужила. Не вполне точны и утверждения английской прессы, писавшей после смерти Себастьяна, что отец его был убит в 1913 году на дуэли; в действительности он, быстро поправляясь после пулевого ранения в грудь, подхватил спустя уже целый месяц случайную простуду, с которой не совладало его полулеченное легкое.

Доблестный воин, сердечный, веселый, пылкий человек, он обладал той предприимчивой неугомонностью, которую Себастьян унаследовал как писатель. Раз минувшей зимой на литературном обеде в Южном Кенсингтоне{3}, когда разговор завертелся вокруг безвременной смерти Найта, некий именитый старый критик, блеск и ученость которого я всегда уважал, высказался так: «Бедняга Найт! У него, в сущности, было два периода: первый – это когда скучный человек писал на покореженном английском, и второй – когда покореженный человек писал на скучном английском», – колкость, мерзкая во многих смыслах, ибо слишком легко говорить о покойном авторе за спиной его книг. Хочу верить, что старый шут не гордится этой шуткой, тем более что раньше, рецензируя книгу Себастьяна Найта, он придерживался куда более учтивого тона.

Вместе с тем надо признать, что жизнь Себастьяна, вовсе не будучи скучной, была в каком-то смысле лишена феноменального накала, отличавшего его литературный стиль. Открывая любую из его книг, я так и вижу отца, быстро входящего в

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru комнату, его особенную манеру, стремительно распахнув дверь, моментально завладеть нужным предметом или любимым существом. Моя первая память о нем навсегда связалась с перехватом дыхания – вот я взметен куда-то ввысь, в руке еще качается половинка игрушечного поезда, а хрустальная подвеска люстры, та качается в опасной близости от моей головы. Он припечатывает меня к полу так же внезапно, как только что вскинул вверх, так же внезапно, как Себастьянова проза подхватывает и несет читателя, чтобы швырнуть его, потрясенного, в радостную бездну следующего необузданного абзаца. Да еще некоторые из любимых присказок отца расцветают немыслимыми цветами в таких типично найтовских вещах, как «Альбиносы в черном» или «Потешная гора»: эта изысканно-странная повесть, лучшее, быть может, из всего им написанного, напоминает мне улыбку спящего младенца.

Вирджинию Найт мой отец, молодой кавалергард в отпуску, встретил в начале девяностых годов за границей, насколько я знаю, в Италии. Их знакомство было как-то связано с охотой на лис в окрестностях Рима, но знаю ли я об этом от матери, или мне безотчетно помнится какой-то нечеткий снимок из семейного альбома, сказать не могу. Он долго добивался ее руки. Она была дочерью Эдварда Найта, состоятельного джентльмена, и это все, что я о нем знаю. Впрочем, из того, что моя бабушка, женщина суровая и нравная (помню ее веер, митенки, холодные белые пальцы), не только выставляла решительные возражения этому браку, но повторяла их даже после того, как отец женился вторично, я склонен вывести, что семейство Найт (что бы оно собой ни представляло) не вполне отвечало требованиям (в чем бы они ни заключались) старорежимных зубров. Я также не уверен, что первый брак отца не противоречил традициям полка, – во всяком случае, его военная карьера началась по-настоящему лишь с Русско-японской войной, значит, уже после того, как жена его бросила.

Я был ребенком, когда лишился отца; и лишь много позже, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней роковой операции мать рассказала мне о некоторых вещах, которые, как она решила, мне следовало знать. Первый брак отца не был счастливым. Странная женщина, неугомонное, безрассудное создание – только ее неугомонность была иного рода, чем у отца. Он всегда неустанно стремился к какой-то цели и, лишь достигнув ее, ставил перед собой другую. Она же пребывала в состоянии погони ни за чем, капризной и петляющей, – то энергично устремляясь по ложному следу, то оставляя его на полпути, как оставляют зонтик в таксомоторе. Она любила отца на свой, мягко говоря, вздорный лад, но, когда ей однажды показалось, что она любит другого (чьего имени отец от нее так и не услышал), бросила мужа и ребенка столь же внезапно, как капля дождя срывается вниз по листу сирени. Напутственный кивок листа в миг избавления от сверкающей обузы должен был причинить отцу лютую боль, и я избегаю даже представлять себе этот день – парижскую гостиницу, четырехлетнего Себастьяна, позабытого озадаченной нянькой, и отца, запершегося в «той особого рода гостиничной комнате, какие более всего подходят для постановки самых скверных трагедий: часы, поблескивающие из-под стеклянного колпака на зловещем камине, – нафабранные усы на циферблате показывают без десяти два; балконная дверь с одуревшей мухой между кисеей и стеклом, а на захватанном бюваре – лист почтовой бумаги с гербом отеля». Это из «Альбиносов в черном» – вещи, сюжетно никак не связанной с той конкретной катастрофой, но воплотившей далекое воспоминание обозленного ребенка, мающего на выцветшем гостиничном ковре, когда нечем себя занять, а время странно растягивается, идет вразброд, вразброс...

Война с Японией, к счастью, дала отцу счастливую возможность занять себя деятельностью, которая помогла ему если не забыть Вирджинию, то хотя бы вернуть жизни какой-то смысл. Его сангвиническая самоуверенность попросту отражала его жизненную силу, пребывая в полной гармонии с его великодушной, по сути, натурой. Постоянное страдание, не говоря уже о самоубийстве, должно было казаться ему презренной, постыдной капитуляцией. Женившись в 1905 году вновь, он наверняка должен был испытывать удовлетворение человека, одолевшего судьбу.

Вирджиния вынырнула в 1908-м. Закоренелая путешественница, вечно на колесах, она одинаково чувствовала себя дома и в пансиончике, и в дорогом отеле: домашний уют состоял для нее в непрерывности перемен. Это от нее Себастьян унаследовал странную, почти романтическую страсть к спальным вагонам и к «Grands Express Européens». «Подсиненные ночные тени на слегка поскрипывающих полированных панелях; долгий печальный выдох тормозов на смутно угадываемой станции; штора тисненой кожи скользит вверх, открывая платформу, катящего багаж человека, молочный шар фонаря с кружащим вокруг бледным мотыльком; звяк невидимого

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru молотка, пробующего колеса; скользящее движение во тьму – мелькнула в освещенном окне на фоне синего бархата купе одинокая дама, перебирающая в дорожном несессере блестящие серебром предметы».

Как-то зимой она без малейшего предупреждения прибыла Норд-экспрессом и прислала короткую записку с просьбой увидеть сына. Отец был в деревне на медвежьей охоте, поэтому моя мать кротко отправилась с Себастьяном в «Европейскую», где Вирджиния поселилась всего на полдня. Там, в холле, мать и увидела первую жену своего мужа, стройную, чуть угловатую даму с трепетным маленьким лицом под исполинской черной шляпой. Чтобы поцеловать мальчика, дама отогнула вуаль и, не успев прикоснуться к нему, разрыдалась, словно в теплом нежном виске Себастьяна таился и источник, и утоление ее скорби. Сразу вслед за тем она натянула перчатки и на плохом французском стала рассказывать моей матери нелепую и неуместную историю про какую-то польку, якобы пытавшуюся украсть у нее в вагоне-ресторане ридикюль. Затем она сунула Себастьяну в руку пакетик засахаренных фиалок, одарила мою мать нервной улыбкой и двинулась вслед за швейцаром, выносившим ее багаж. Вот и все, а на следующий год она умерла.

От Г. Ф. Стэйнтонa, ее кузена, известно, что последние месяцы своей жизни она металась по югу Франции, задерживаясь на день-другой в жарких провинциальных городишках, куда редко заглянет турист, – взвинченная, одинокая (любовника своего она бросила) и, как видно, безумно несчастная. То, как она пересекала собственный след или двигалась вдоль него обратно, можно было бы счесть бегством от кого-то или от чего-то, но всякий, кто знал ее причуды, должен был расценить эти лихорадочные зигзаги как завершающее крещендо ее всегдашней неумности. Она умерла от остановки сердца (болезнь Лемана{4}) в городке Рокбрюн летом 1909 года; с доставкой тела в Англию возникли сложности. Никого из близких не было уже в живых, и в Лондоне на ее похоронах присутствовал один мистер Стэйнтон.

Родители мои жили счастливо. Это был исполненный нежности и любви союз, и его не могли омрачить вздорные пересуды кое-кого из наших родственников, шептавших, что мой отец, даром что любящий муж, нет-нет да и увлечется иной прелестницей. Как-то раз под Рождество 1912 года одна его знакомая, очаровательная, но пустая молодая особа, вскользь упомянула, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры, некто Пальчин, знал его первую жену. Отец ответил, что помнит его, их познакомили в Биаррице лет десять назад. Или девять.

– Да, но этим дело не кончилось, – сказала собеседница. – Понимаете, он рассказал сестре, что имел связь с Вирджинией после того, как вы расстались... А потом она его бросила где-то в Швейцарии... И никто не знал, забавно.

– Что ж, – сказал отец спокойно, – если это не выплыло раньше, незачем начинать болтовню десять лет спустя.

По безжалостному совпадению назавтра добрый друг нашей семьи капитан Белов мимоходом спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии, – он, капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, насколько ему известно, ее родители какое-то время жили в Мельбурне, но родилась она в Кенте.

– А почему ты спрашиваешь?

Капитан заговорил уклончиво, что его жена была у кого-то в гостях и там кто-то начал кое-что рассказывать...

– Кое с чем придется, боюсь, покончить, – сказал отец.

На следующее утро он явился к Пальчину, который напустил на себя больше радушия, чем требовалось. Так приятно, говорил он, видеть старых друзей, проведя столько лет за границей.

– Распространяется грязная ложь, – сказал отец, не садясь, – я думаю, вы знаете, о чем речь.

– Вот что я скажу, дорогой вы мой, – начал Пальчин. – Не вижу проку делать вид, будто я не понимаю, куда вы клоните. Мне жаль, что люди чешут языки, но, право же, это еще не повод выходить из себя... Никто не виноват, что мы оба побывали в одной упряжке.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru – В таком случае, милостивый государь, – сказал отец, – я пришлю вам своих секундантов.

Пальчин был дурак и хам – так я, по крайней мере, заключил из материнского рассказа: в ее устах эта история воскресила атмосферу момента, которую я попытался здесь передать. Но именно потому, что Пальчин дурак и хам, мне трудно понять, зачем такому человеку, как мой отец, надо было рисковать жизнью – ради чего? чести Вирджинии? из жажды мести? Но ведь точно так же, как честь Вирджинии была непоправимо запятнана уже самим ее бегством, так и все мысли о мщении должны были утратить свою горькую соблазнительность за годы счастливого второго брака. Или дело было в оглашении имени, в обнаружении лица, во внезапном гротескном зрелище клейма индивидуальности на дотопе безликом, давно прирученном привидении? Но чем бы ни было это эхо далекого прошлого (а эхо почти всегда – грубый лай, как бы ни был чист породивший его голос), стоило ли оно крушения нашего дома, горя матери?

Стрелялись в метель, у замерзшего ручья. Прозвучали два выстрела, и отец упал ничком на серо-голубую шинель, расстеленную на снегу. Пальчин трясущимися руками закурил папиросу. Капитан Белов кликнул извозчиков, робко ожидавших поодаль на заметенной снегом дороге. Весь кошмар длился три минуты.

«Стол находок» доносит впечатления самого Себастьяна об этом зловещем январском деньке. «Никто из домашних не знал о предстоящем поединке, включая и мою мачеху. Накануне за обедом отец кидал в меня через стол хлебные шарики: я весь день дулся из-за треклятого шерстяного белья, которое мне предписал доктор, и отец пробовал меня развеселить. Но я хмурился, краснел и отворачивался. После обеда мы сидели у него в кабинете, и он попивал кофе, слушая жалобы мачехи на вредное обыкновение мадемуазель сперва уложить моего маленького братца в постель, а потом давать ему сласти. Что до меня, то я, устроившись на диване, в дальнем конце комнаты, листаю журнал „Чамз“<sup>{5}</sup>: „Не пропустите следующую главу нашего потрясающего боевика“. Вдоль нижнего края больших тонких страниц – шутки. „Почетному гостю показывают школу: – что вас поразило сильнее всего? – Горох из горохомета“. Грохочущие сквозь ночь экспрессы. Кембриджский крикетчик битой отражает нож, который метнул в его друга злодей-малаец... Вот уморительная история с продолжением, о трех мальчиках: один – гуттаперчевый, умеет закручивать свой нос штопором, второй – фокусник, а третий – чревовещатель... Всадник перескакивает через гоночный автомобиль...»

Назавтра в гимназии я запутался в геометрической теореме, которая у нас именовалась „пифагоровы штаны“. Утро было таким темным, что пришлось включить свет в классе, а от этого у меня в голове всегда начинался мерзкий гул. Я вернулся домой около половины четвертого с тем прилипчивым чувством нечистоты, какое всегда выносил из гимназии, только теперь его еще усиливало колющее белье. В прихожей рыдал отцов денщик».

## Глава вторая

В своей наскоро сляпанной и на редкость бестолковой книге г-н Гудмэн несколькими дурацкими фразами набрасывает смехотворно ложную картину детства Себастьяна Найта. Одно дело – служить у писателя секретарем, совсем другое – заниматься его жизнеописанием. А если последнее диктуется желанием выбросить книгу на рынок, пока еще можно заработать, взбрызгивая цветы на свежей могиле, тут проступает задача третьего рода – увязать коммерческую спешку с исчерпывающими разысканиями, честностью и здравым смыслом. Не собираюсь чернить чью-либо репутацию, но не будет клеветой и утверждение, что лишь в упоении от стрекота своего ундервуда мог г-н Гудмэн написать, будто «русское образование было навязано мальчику, всегда ощущавшему в своих жилах мощную струю английской крови». Это чуждое воздействие, продолжает г-н Гудмэн, «доставляло ребенку столь тяжкие страдания, что даже в зрелые годы его пробирала дрожь при воспоминании о бородатых мужиках, иконах, трелях балалаек – обо всем том, что он получал взамен здорового английского воспитания».

Едва ли надо говорить, что описание г-ном Гудмэном русской среды не ближе к действительности, чем, скажем, представления какого-нибудь калмыка об Англии как об адском месте, где учителя с рыжими бакенбардами засекают школьников до смерти. А что действительно стоит подчеркнуть, так это факт, что Себастьян рос в атмосфере умственной утонченности, сочетавшей духовную благодать русского дома с лучшим, что есть в европейской культуре, и каким бы сложным и своеобразным ни было отношение Себастьяна к его русскому прошлому, оно не имело ничего общего с

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru той вульгарностью, какую ему приписывает биограф.

Помню Себастьяна мальчиком – он на шесть лет меня старше – за восхитительной возней с акварельными красками в уютном конусе света дородной керосиновой лампы, розовый шелк ее абажура горит в моей памяти, словно только что расписан ужасно мокрой Себастьяновой кистью. Вижу себя, четырех или пяти лет, как я верчусь и тянусь на цыпочках, чтобы за движущимся локтем брата получше разглядеть ларчик с красками; клейкие красная и синяя до того зализаны кистью, что в углублениях блестят эмалевые донца. Каждый раз, когда он мешает краски в жестяной крышечке, раздаётся легкое постукивание, а воду в стакане заволакивают волшебные облака. Темные, коротко остриженные волосы Себастьяна не закрывают родинки над просвечивающим пунцовым ухом, – я к этому времени уже забрался в кресло, – но он все так же не обращает на меня внимания, пока я в отчаянном нырке не пытаюсь мазнуть по наиголубейшему из кирпичиков ларца. Тогда, не оборачиваясь, он отпихивает меня движением плеча, молчаливо-безучастный как всегда. Помню: свесившись через перила, слежу, как он поднимается по лестнице, только что из гимназии, в черном мундирчике и кожаном поясе, о котором я втайне мечтаю, поднимается медленно, сутулясь и влача за собой пегий ранец, похлопывая ладонью по перилам и порой перескакивая сразу через две или три ступени. Я вытягиваю губы и выжимаю белую слюну, она летит вниз, вниз, всегда мимо цели: я поступаю так не из желания сделать ему гадость – это лишь попытка, томительная и напрасная, заставить его бросить взгляд на мое существование. И еще одно живое впечатление: он на велосипеде с низким рулем катит по расцвеченной солнцем дорожке парка в нашем имении – неспешно, не крутя педали, – а я бегу следом и припускаю сильнее, когда его ступня в сандалии налегает на педаль; я изо всех сил стараюсь не отстать от шипяще-тикающего заднего колеса, но он не обращает на меня внимания, и вскоре я безнадежно отстаю, выдохшись вконец, но продолжаю бежать ему вслед.

Позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять, он, случалось, помогал мне готовить уроки, но объяснения его были до того быстры и нетерпеливы, что от такой помощи не было никакого толку, и очень скоро он совал карандаш в карман и надменно удалялся. Он был тогда рослым юношей с нездоровым цветом лица и темной тенью над верхней губой. Волосы его разделял блестящий пробор, и он писал стихи в черную тетрадь, которую держал под замком в ящике стола.

Раз я заметил, где он прячет ключ (в щели стены возле белой голландской печи в своей комнате), и отпер ящик. Там и была эта тетрадь, а еще фотография сестры кого-то из одноклассников, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были на английском. Незадолго до смерти отца нам стали давать домашние уроки английского, и хотя я так и не научился свободно говорить на этом языке, читал и писал я сравнительно легко. Смутно припоминаю, что стихи были очень романтические, полные темных роз и звезд и зовов моря; но одна подробность стоит в моей памяти очень ясно: вместо подписи под каждым стихотворением стоял шахматный конь{6}, нарисованный черными чернилами.

Я попытался воссоздать связный образ Себастьяна, каким он мне виделся в детскую пору между, скажем, 1910 годом (с которого себя помню) и 1919-м, годом его отъезда в Англию. Но задача мне не дается. Образ его не возникает передо мной ни как часть моего детства, что допускало бы бесконечное развитие и отбор фактов, ни как цепочка привычных воспоминаний – являясь мне в виде лишь считанных ярких пятен, как если бы брат был не членом нашей семьи, а неким странствующим гостем, пересекающим освещенную комнату, чтобы опять надолго пропасть в ночи. Я объясняю это даже не тем, что сознательные отношения между нами исключались из-за разницы в возрасте – он слишком меня опережал, чтобы быть товарищем, но не настолько, чтобы быть наставником, – а скорее постоянной отчужденностью Себастьяна, которая, как бы я горячо ни любил его, не вознаграждала мою привязанность встречным чувством, лишала ее пищи. Вероятно, я сумел бы описать его походку, его чих или смех, но все это были бы не более чем случайные кадры, выхваченные ножницами из фильма и ничего общего не имеющие с сутью драмы. А драма была. Себастьян не мог забыть свою мать, как не мог забыть, что отец умер из-за нее. То, что ее имя никогда не произносилось в нашем доме, только добавляло зловещих чар к тому пленительному образу, который запечатлелся в его памяти и переполнил впечатлительную душу. Не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно помнить время, когда она была женой отца; разве что как нежное сияние на заднике бытия. Еще меньше могу я сказать о том, что он, девятилетний, испытал, снова ее увидев. Моя мать рассказывала, что он был вял, еле ворочал языком и никогда потом не упоминал об этой короткой и плачевно ущербной встрече. В «Столе находок» есть

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru намекает на смутное чувство горечи, испытанное им, когда отец вновь счастливо женился, – чувство, переросшее в исступленное обожание, когда Себастьян узнал причину роковой дуэли.

«Мое открытие Англии, – пишет Себастьян („Стол находок“), – оживило мои самые заветные воспоминания... После Кембриджа я уехал на континент и две спокойные недели провел в Монте-Карло. Кажется, именно там находится то, что именуется казино и где идет азартная игра, но, если это так, я на него не набрел, ибо почти все время отдавал сочинению своего первого романа, весьма претенциозной вещицы – отвергнутой, рад заметить, примерно таким же числом издателей, сколько у моей второй книги нашлось читателей. Во время одной долгой прогулки я обнаружил местечко под названием Рокбрюн. А именно в Рокбрюне тринадцатью годами раньше умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец сказал мне о ее смерти и назвал пансион, где это случилось. Пансион назывался „Les Violettes“ [9]. Я спросил у какого-то шофера, не знает ли он подобного заведения, но он не знал. Потом спросил зеленщика, и тот показал дорогу. Я дошел в конце концов до розовой виллы, крытой типично провансальской круглой черепицей; на воротах был неумело намалеван пучок фиалок. Значит, вот он, этот дом. Я прошел через сад и заговорил с владелицей. Она сказала, что пансион перешел к ней от старого хозяина лишь недавно, и о прошлом она ничего не знает. Я попросил разрешения посидеть в саду. С балкона на меня глазел голый, насколько он открывался моему взору, старец: больше никого кругом не было. Я сидел на голубой скамье под огромным эвкалиптом с наполовину оголившимся стволом, как это, кажется, принято у данной породы деревьев. Мне хотелось увидеть розовый дом, дерево, весь образ места такими, какими их видела моя мать. Я горевал, что не знаю, где окна ее комнаты. Название виллы не оставляло никаких сомнений, что перед глазами матери была та же клумба лиловатых анютиных глазок. Незаметно я довел себя до такого состояния, что розовое с зеленым замерцало и поплыло, словно я глядел сквозь кисею тумана. Моя мать в большой шляпе – размытая стройная фигурка – медленно всходила по ступеням, тающим, казалось, в воде. Устрашающий глухой удар вернул меня к действительности: из лежащего у меня на коленях бумажного пакета вывалился апельсин. Я поднял его и пошел из сада. Несколько месяцев спустя мне случилось встретить в Лондоне ее кузена. В разговоре я упомянул, что посетил место смерти матери. „О нет, – сказал он, – то совсем другой Рокбрюн {7}, в департаменте Вар“».

Любопытно, что, приводя этот отрывок, Г-н Гудмэн не придумал ему лучшего толкования, чем такое: «Себастьян Найт был до того влюблен в карикатурную сторону вещей и до того невосприимчив к их серьезной сути, что сумел, даже не будучи по природе циничным или бездушным, устроить балаган из сокровенных чувств, по справедливости священных для рода человеческого». Не диво, что наш напыщенный биограф не в ладах со своим героем в каждой строке своего рассказа.

По упомянутым причинам не буду пытаться описывать отрочество Себастьяна; будь он персонажем вымышленным, мне не составило бы труда выстроить и неукоснительно соблюсти последовательность событий в надежде, что описание плавного перехода моего героя от младенчества к юности вразумит и развлечет читателя. Но если бы я попробовал такое проделать с Себастьяном, на свет явился бы очередной образчик жанра *biographie romanesque* [10], несомненно худшего из всех доселе выведенных сортов литературы. Так что оставим дверь затворенной, пусть из-под нее выбивается только туго натянутая полоска света; пусть и она погаснет, когда в соседней комнате Себастьян отойдет ко сну, пусть прекрасный оливковый дом на невской набережной понемногу погружается во тьму сине-серой морозной ночи с мягко падающими снежинками, они мешкают в лунно-белом свете высокого уличного фонаря, припудривая мощные конечности двух бородачей, подпирających в достойном атлантов усилки эркер отцовской комнаты. Отца нет в живых, Себастьян спит – по крайней мере, затих как мышь в соседней комнате, – я лежу в постели без сна, вглядываясь в темноту.

Лет двадцать спустя я совершил поездку в Лозанну, чтобы разыскать старую швейцарку, в прошлом гувернантку Себастьяна, потом мою {8}. Когда она от нас ушла в 1914 году, ей было около пятидесяти; переписка между нами давно оборвалась, и я совсем не был уверен, что в 1936-м застану ее в живых. Однако же застал. Существует, оказывается, целое сообщество швейцарских старух, которые были гувернантками в России до революции. Они «живут в своем прошлом», как объяснил проводивший меня к ним на редкость учтивый господин. Закат своих дней – а были они в большинстве своем ветхи и не в твердом уме – они проводили, сравнивая дневниковые записи, ведя друг с дружкой мелкие распри да браня положение дел,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
какие они застали дома после долгих лет в России. Трагедия их была в том, что все эти годы в чужом краю они оставались совершенно невосприимчивыми к его влиянию (вплоть до незнания простейших русских слов) и даже слегка враждебными к тому, что их окружало, – как часто я слышал от «мадемуазель» сетования на свое изгнание, на то, что ее не понимают и третировают, слышал, как она вздыхает о своей прекрасной родине; но когда бедные скитальцы вернулись домой, они ощутили себя до того иноземками в изменившейся стране, что по какому-то чудачеству чувств Россия (на деле бывшая для них непостижимой бездной, приглушенно погромыхивавшей за пределами лампового круга в углу душной задней комнаты с семейными фото в перламутровых рамках да акварелью Шильонского замка{9}), неведомая Россия приобрела для них теперь черты потерянного рая – смутного, обширного, но задним числом приятного пространства, населенного пленительными призраками. Мадемуазель совсем поседела и оглохла, но говорлива была как прежде и после пылких приветственных объятий тут же принялась припоминать маленькие события моего детства – либо искаженные до неузнаваемости, либо столь чуждые моей памяти, что плохо верилось в их подлинность. Выяснилось, что она не знала ни о смерти моей матери, ни о том, что и Себастьян уже три месяца как нет в живых. Между прочим, не подозревала она и о том, что он стал крупным писателем. Она пролила много слез, и вполне искренних, но ее, похоже, задело, что я не плачу с ней заодно. «Ты всегда был слишком сдержанным», – проговорила она. Я сказал, что пишу о Себастьяне книгу, и просил порассказать о его детстве. Она появилась в нашем доме после второй женитьбы отца, но в голове у нее все было настолько сместилось и затуманилось, что она говорила о первой жене отца («cette horrible Anglaise»[11]) так, словно знала ее не хуже, чем мою мать («cette femme admirable»[12]).

– Бедный мой маленький Себастьян, – причитала она, – такой был нежный со мной, такой благородный. Никогда не забуду, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: «Я всех ненавижу, Zelle[13], кроме тебя, ты одна понимаешь мою душу». А в тот день, когда я его чуть-чуть шлепнула по ладонке – une petite tape[14] – за то, что он нагрубил твоей матери, у него такое было в глазах выражение, что я чуть не расплакалась. И каким голосом он мне сказал: «Спасибо, Zelle. Это больше не повторится!..»

Она довольно долго продолжала в том же духе, вгоняя меня в состояние унылой неловкости. После нескольких тщетных попыток я сумел перевести разговор – изрядно к тому времени охрипнув, поскольку она куда-то задевала слуховую трубу. Тогда она стала жаловаться на свою товарку, толстенную и еще более древнюю старушеницу, с которой я столкнулся в коридоре: «Эта милейшая особа вконец оглохла и ужасная лгунья. Я точно знаю, что детям княгини Демидовой она только давала уроки, а в доме у них никогда не жила».

– Напиши эту книгу, эту чудесную книгу, – восклицала она, когда я уходил. – Пусть это будет сказка, а Себастьян сделай принцем, зачарованным принцем... Сколько раз я ему говорила: «Берегись, Себастьян, женщины будут от тебя без ума». А он смеется и отвечает: «Ну и я буду от них без ума...»

Я внутренне поежился. Она вlepила мне звонкий поцелуй, погладила по руке и снова залилась слезами. Я увидел ее затуманенные старые глаза, мертвый блеск вставных зубов и такую памятную гранатовую брошь у нее на груди... Мы распростились. Лил сильный дождь, мне было стыдно и досадно, что пришлось прервать вторую главу ради этого бесполезного паломничества. Особенно меня расстроило одно: она не задала ни единого вопроса о том, как жил Себастьян, как он умер, – ни полсловечка.

### Глава третья

В ноябре 1918 года моя мать решила бежать со мной и Себастьяном от российских напастей. Вовсю бушевала революция, границы закрылись. Мать нашла человека, сделавшего переброску беглецов за кордон своей профессией, и условилась с ним, что за вознаграждение, половина которого выплачивалась вперед, он доставит нас в Финляндию. Не доезжая границы, мы должны были сойти с поезда на станции – последней, где это еще можно было «законно» сделать, – а дальше идти потаенными тропами – потаенными вдвойне и втройне под завалившими этот безмолвный край снегами. И вот мы вдвоем с матерью в отправной точке нашего железнодорожного путешествия: мы ждем Себастьяна, который с самоотверженной помощью капитана Белова везет багаж из дома на вокзал. Поезд отходил в 8.40 утра. Половина девятого, а Себастьян все нет. Наш провожатый уже в поезде, спокойно сидит с газеткой; мать предупреждена, что ни при каких обстоятельствах не должна

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru заговаривать с ним при посторонних, а время идет, поезд вот-вот тронется, и нами овладевает чувство кошмарного, цепящего ужаса. Мы знаем, что этот человек, согласно заветам своего ремесла, ни за что не сделает второй попытки, если первая рухнула еще в зачине. Знаем и то, что вторично оплатить свой побег мы не сможем. Минуты проходят, у меня начинает отчаянно сосать под ложечкой. Мысль, что через минуту-другую поезд тронется, а мы должны будем вернуться на темный, холодный чердак (дом наш уже несколько месяцев как национализирован), была невыносима. По пути на вокзал мы обогнали Себастьяна и Белова, толкавших тяжело нагруженную тачку по скрипящему снегу, и эта картина теперь неподвижно стоит перед моими глазами (в свои тринадцать лет я одарен воображением), каким-то колдовством обреченная каменеть в вечности. Мать расхаживает по платформе туда и обратно – руки заложены в рукава, из-под шерстяного платка выбилась пепельная прядь – и всякий раз, проходя мимо окна, за которым сидит наш провожатый, пытается поймать его взгляд. Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Поезд задерживается, но вот взревел гудок, струя теплого дыма подхлестывает собственную тень на буром снегу платформы, и в этот миг появляется бегущий Себастьян, лопасти его треуха летят по ветру. Мы еле успеваем вскарабкаться в тронувшийся поезд. Потребовалось время, прежде чем он сумел нам рассказать, что капитана Белова схватили на улице, когда они проходили мимо дома, где тот жил раньше. В конце концов, бросив багаж на произвол судьбы, Себастьян в отчаянии бросился на вокзал. Через несколько месяцев мы узнали, что наш несчастный друг был расстрелян в одной партии с еще двумя десятками людей, плечом к плечу с Пальчиным, встретившим смерть так же отважно, как Белов.

В «Двусмысленном асфиделе» (1936), последней своей книге, Себастьян вывел эпизодическое действующее лицо – недавнего беглеца из неназванной страны убожества и ужаса. «– Что могу я вам сказать, господа, о своем прошлом? Я родился в краю, где хладнокровно, грубо и с презрением попирается идея свободы, понятие о праве, обычаи человеческой доброты. По ходу истории лицемерные правители время от времени перекрашивают стены общегосударственной тюрьмы в более славенский оттенок желтого и громко возглашают о даровании прав, привычных более удачливым странам; но то ли этими правами пользуются исключительно тюремщики, то ли в них есть какой-то тайный изъян, только они горше декретов откровенной тирании... В этой земле каждый человек если не бандит, то узник; а так как личности отказано иметь душу и все до души относящееся, достаточным средством для руководства и управления человеческой природой стало считаться причинение физической боли... Время от времени случается происшествие, именуемое революцией, которое превращает узников в бандитов и наоборот... Мрачная страна, отвратительное место, господа, и если в сей жизни я могу быть в чем-то уверен, так это в том, что никогда не променяю свободу моего изгнания на злую пародию дома...»

Из того, что в речи этого персонажа мелькнули «обширные леса и укутанные снегом равнины», г-н Гудмэн недолго думая вывел, что весь этот кусок отражает отношение Себастьяна Найта к России. Это карикатурное недоразумение: беспристрастному читателю должно быть ясно, что речь идет скорее о причудливом сплаве тиранических гнусностей, нежели о конкретной стране или исторической реальности. И если я привел эту тираду сразу после рассказа о том, как Себастьян оказался за пределами революционной России, то лишь затем, чтобы увенчать все это несколькими фразами из его наиболее автобиографической книги: «Я всегда думал, – пишет он („Стол находок“), – что одно из самых чистых чувств – это чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился. Я желал бы показать, как он изо всех сил напрягает память в постоянных усилиях сохранить живыми и яркими картины былого: холмы, что запомнились голубыми, и блаженные дороги{10}, зайцев на пашне и живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза{11}, колокольню вдаль и колокольчик под ногами... По той, однако, причине, что тему эту поиздержали более крепкие, чем я, таланты, а еще из-за врожденного недоверия ко всему, что кажется легко изобразимым, никакому сентиментальному пилигриму никогда не будет позволено высадиться на скалу моей неприветливой прозы».

Безотносительно к замыкающим отрывок словам очевидно, что только тот, кому ведомо, каково навсегда оставить милую отчизну, мог испытать подобный искус ностальгии. Для меня немислимо поверить, чтобы Себастьян, каким бы ужасным ни был лик России во время нашего бегства, не разделял щемящей тоски, которую испытывали мы все. В любом случае Россия была его домом, а круг людей, учтивых, дружелюбных, благонамеренных, обреченных на смерть или изгнание за один лишь грех – за то, что они есть, был и его кругом. Его угрюмые молодые думы, его романтическая – и, позвольте добавить, слегка искусственная – страсть к родине

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru его матери не могли, я знаю, вытеснить подлинную его привязанность к стране, где он родился и вырос.

Бесшумно вкатившись в Финляндию, мы какое-то время жили в Гельсингфорсе. Затем наши пути разошлись. Вняв совету старой подруги, мать отвезла меня в Париж, где я возобновил занятия, а Себастьян отправился в Лондон и Кембридж. От своей матери он унаследовал порядочный доход, и какие бы невзгоды ни осаждали его в дальнейшей жизни, они никогда не были связаны с деньгами. Перед его отъездом мы, по русскому обычаю, все трое молча присели «на дорогу». Помню, как сидела моя мать, сложив на коленях руки и крутя отцовское обручальное кольцо (ее обычный жест в праздную минуту), которое носила на одном пальце со своим и которое ей было так велико, что она оба их связала черной ниткой. Помню и позу Себастьяна: на нем синий костюм, нога закинута на ногу и чуть покачивается. Я встаю первым, потом он, потом мама. Он взял с нас слово не провожать его на корабль, так что мы прощаемся здесь, в этой чисто выбеленной комнате. Мать быстро крестит его склоненное лицо, и вот мы глядим из окна, как он со своим чемоданом усаживается в таксомотор: сгорбленное воплощение отъезда.

Вести от него приходили нечасто, короткие были и письма. За три кембриджских года он навестил нас в Париже всего два раза – а вернее сказать, один, потому что во второй раз он приехал на похороны моей матери. Что до нас, мы о нем говорили часто, особенно в последние ее годы, когда она уже ясно видела приближение конца. Это она мне рассказала о странном приключении Себастьяна в 1917 году: оказывается, пока я проводил каникулы в Крыму, престранная пара сняла дачу рядом с нашим лужским имением – поэт-футурист Алексей Пан{12} с женой Ларисой, и Себастьян с ними сдружился. Поэт был шумливый коротышка с искрами истинного дара в сумбуре невразумительных стишат. Но из-за того, что он всячески норовил ошарашить публику лавиной праздных слов (он был изобретатель, по его словам, «заумного бурчания»), основная часть его наследия выглядит сейчас такой захудалой, ненастоящей, старомодной (супермодерну присуще чудное свойство дряхлеть, сильно опережая время), что настоящие ему цену знают два-три филолога, отдающие должное его блестящим переводам из английской поэзии, которые он сделал в самом начале своей литературной карьеры, и один из них – воистину чудо словесной трансфузии: «La Belle Dame Sans Merci»[15] Китса{13}.

И вот однажды утром – дело было в начале лета – семнадцатилетний Себастьян исчез, оставив моей матери записочку, что он присоединяется к Пану и его жене в их путешествии на Восток. Сначала она приняла это за шутку (Себастьян при всей своей сумрачности мог порой измыслить какую-нибудь дурацкую забаву вроде той, когда он в переполненном трамвае передал через кондуктора девушке в другом конце вагона записку такого содержания: «Я всего лишь бедный кондуктор, но я Вас люблю»). Мать, впрочем, зашла на дачу к Панам и убедилась, что те и впрямь отбыли. Позже выяснилось, что задуманная Паном идея маркополовецкого путешествия состояла в том, чтобы, неспешно дрейфуя в восточном направлении от одного провинциального города к другому, в каждом устраивать «лирический сюрприз», а именно: снимать зал (или навес, когда не выходило с залом) и давать поэтическое представление, на выручку от которого они перемещались бы в другой город. Осталось неясным, в чем состояли обязанности Себастьяна и не приходилось ли ему просто быть всегда под рукой и на подхвате да утихомиривать вздорную и трудноукротимую Ларису. Алексей Пан обычно выходил на сцену в визитке, почти безукоризненной, если не считать вышитых на ней крупных лотосов. На его лысый лоб было нанесено созвездие Большого Пса{14}. Стихи свои он читал громоподобным голосом, что, в сочетании с маленьким ростом, наводило на мысль о мыши, рождающей гору. Рядом на сцене восседала Лариса, крупная лошадеподобная женщина в розовато-сиреновом платье, пришивая пуговицы либо починяя мужнины старые брюки, – прелесть была в том, что в повседневной жизни она ни в чем подобном замечена не была. Время от времени, между двух стихотворений, Пан учинял некий медленный танец – смесь игры запястьями в яванском духе с собственными ритмическими пассажами. По завершении декламации он славно наклюкивался – и в этом была его погибель. Путешествие на Восток окончилось в Симбирске: для мертвецки пьяного Алексея – в грязных номерах и без копейки за душой, а для Ларисы с ее истериками – в околотке за оплеуху какому-то приставучему чиновнику, осуждавшему буйный гений ее мужа. Себастьян воротился домой столь же беззаботно, как и отправился в путь. «Любой другой мальчишка, – добавила мать, – смущался бы и краснел от стыда за эту глупую историю», – но Себастьян говорил о своем путешествии словно безучастный свидетель диковинного случая. Почему он вообще участвовал в этом дурацком балагане и почему сдружился с этой карикатурной четой, осталось полной загадкой. Мать допускала, что Себастьяна могла прельстить

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Лариса, но та была совершенно неказиста, не первой молодости и остервенело влюблена в сумасброда-мужа. Вскоре они исчезли из поля зрения Себастьяна. Два-три года спустя Пан пережил недолгую искусственную славу в большевистских кругах – благодаря, я думаю, странному предрассудку о естественной связи между крайностями в политике и в искусстве. Позже, в 1922 или 1923 году, Алексей Пан повесился на подтяжках.

«Я постоянно чувствовала, – говорила мать, – что, в сущности, не знаю Себастьяна. Я знала, что он чистоплотен, что у него хорошие отметки в гимназии, что он прочитывает груды книг, каждое утро упрямо принимает ванну – при слабых-то легких, – я знала все это и многое другое, но суть его ускользала от меня. И теперь, когда он в чужой стране и пишет нам по-английски, я не могу избавиться от мысли, что он так и останется загадкой, – а ведь Бог свидетель, как я изо всех сил старалась быть доброй к этому мальчику».

Когда Себастьян по завершении первого университетского курса навестил нас в Париже, я был поражен его чужестранным обликом. Под твидовым пиджаком он носил канареечно-желтый джемпер, брюки из шерстяной фланели были мешковаты. Толстые носки, не знакомые с подвязками, собирались в складки, полосы на галстук кричали, а носовой платок он по неясной причине засовывал в рукав. На улице он курил трубку и выбивал ее о каблук. У него появилась новая привычка стоять спиной к камину, погрузив руки в карманы брюк. Русским языком он пользовался осмотрительно, переходя на английский, если разговор затягивался более чем на две фразы. Пробыл он ровно неделю.

В следующий раз он приехал, когда не стало моей матери. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он неловко погладил меня по плечу, когда я, случайно заметив ее одиноко лежащие на камине очки, залился слезами, с которыми до того кое-как справлялся. Он был полон доброты и участия, но как будто издали, словно не переставая думать о другом. Мы обсудили наши дела, и он предложил ехать вместе на Ривьеру, а оттуда в Англию; я как раз окончил лицей. Я ответил, что если уж бить баклуши, то в Париже, где у меня много друзей. Он не настаивал. Коснулись денежного вопроса, и он в своей чудаковато-бесцеремонной манере заметил, что всегда готов мне выдать, сколько мне нужно (кажется, он выразился: «столько монеты», но я не уверен). На следующий день он уезжал на юг Франции. Утром мы вышли немного прогуляться, и, как всегда, когда мы оставались вдвоем, мной овладело непонятное смущение, я все время ловил себя на том, что ищу тему для разговора. Он тоже помалкивал. Перед самым отъездом он сказал: «Ну вот, такие дела. Нужно будет что-нибудь – пиши мне в Лондон. Надеюсь, твоя Сорбонна удастся на славу, как мой Кембридж. И кстати, постарайся выбрать предметы по душе и, покуда не надоест, не бросай». Что-то зажглось в его темных глазах. «Удачи – и веселей!» – его словно бы неуверенное рукопожатие выдавало усвоенную в Англии манеру. Невестя почему, мне вдруг стало его бесконечно жаль, захотелось сказать какие-то подлинные, с сердцем и крыльями слова, но, увы, желанные птицы уселись мне на плечо и голову, лишь когда я остался один и надобность в словах миновала.

#### Глава четвертая

Я принялся за эту книгу спустя два месяца после смерти Себастьяна. Мне ли не знать, как мало понравились бы ему подобные сентиментальные плетения, но все равно скажу: моя неизменная к нему привязанность, которую он всегда так или иначе пресекал и окорачивал, теперь воспряла к новой жизни с такой силой, что все мои прочие дела сошли на нет, словно тени. В наши редкие встречи разговор никогда не заходил о литературе, и теперь, когда вследствие странного обычая людей умирать никакое общение между нами уже невозможно, я отчаянно сожалею, что так и не сказал Себастьяну, насколько меня восхищают его книги. Мало того, я беспомощно гадаю: а было ли ему вообще известно, что я их читал?

Да и что вообще я знаю о Себастьяне? Я могу заполнить две-три главы тем немногим, что помню о его детстве и юности, а дальше? Едва я начал обдумывать книгу, мне стало очевидно, что я должен буду предпринять целое исследование, воссоздать эту жизнь из осколков, срастив их внутренним знанием его характера. Внутренним знанием? Да, им-то я обладал, ощущая его всем своим существом. И чем больше я думал, тем яснее убеждался, что располагаю еще одним средством: всякий раз, стараясь вообразить те его поступки, о которых мне стало известно после его смерти, я уже знал, что и сам действовал бы точно так же. Однажды я наблюдал, как играли друг против друга два брата, оба теннисные чемпионы: один был значительно сильнее другого, и удары у них были совершенно разные, но общий ритм движений обоих порхавших по корту игроков оставался одним и тем же, и будь

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
возможно записать оба варианта игры, на свет явились бы два одинаковых рисунка.

Что-то вроде общего ритма, смею утверждать, имели и мы с Себастьяном – только так я могу объяснить странное чувство «уже бывшего», которое меня охватывает, когда я следую изгибами его жизни. И если мотивы многих его поступков сплошь и рядом оставались для меня загадочными, то теперь их смысл я обнаруживаю порой в неожиданном для меня самом повороте той или иной выходящей из-под моего пера фразы. Совсем не хочу сказать, что разделяю с ним все сокровища его ума, все стороны его таланта. Его гений всегда казался мне чудом, никак не связанным с тем или иным опытом, общим для нас в силу совпадающих реалий детства. Я мог видеть и помнить то же, что и он, но разница между его силой выражения и моей такая же, как между роялем «Бехштейн» и детской погремушкой. Я ни за что бы ему не показал и малейшей фразы из этой книги, чтобы не заставлять его морщиться над моим убогим английским. А уж он бы поморщился. Не отважусь рисовать себе его реакцию, узнай он, что, прежде чем взяться за это жизнеописание, его братец (чей литературный опыт сводился до этого к нескольким случайным переводам на английский по заказу автомобильной фирмы) решил окончить курсы для будущих авторов, бодро разрекламированные в каком-то английском журнале. Признаюсь, да, – но не сожалею. Джентльмен, который должен был за приличествующее вознаграждение сделать из моей особы преуспевающего писателя, прямо-таки лез из кожи, чтобы научить меня, как быть неброским и изящным, живым и убедительным, и если я оказался бездарным учеником – хотя он слишком добр, чтобы это признать, – то потому лишь, что с самого начала меня заворожило сияющее величие рассказа, который он мне прислал как годный для продажи образчик достижений его учеников. Среди прочего там имели место: злонамеренный китаец, который беспрестанно щерился, отважная кареглазая девушка и спокойный здоровяк{15}, у которого белеют костяшки пальцев, когда кто-нибудь досаждаёт ему не на шутку. Я бы умолчал о столь бредовой затее, если бы она не бросала свет на то, как худо я был снаряжен для поставленной задачи и до каких диких крайностей доводила меня робость. Взявшись же наконец за перо, я настроился на встречу с неизбежным, а это, собственно, и означает, что я наконец созрел и готов не щадить усилий.

Тут скрыта еще одна мораль. Если бы Себастьян, забавы ради, записался на такие же заочные курсы – просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет (он любил подобные увеселения), он оказался бы учеником неизмеримо худшим, чем я. Получив задание написать как г-н Всяк, он написал бы, как не пишет никто. Я не в состоянии воспроизвести его стиль, потому что стиль его прозы был стилем его мышления, а оно было головокружительной чередой зияний, которых не собезьянничать, ведь зияния пришлось бы заполнять, тем самым упраздняя. Но когда я встречаю в книгах Себастьяна след впечатления или чувства, сразу же воскрешающий, скажем, некую игру света в некоем определенном месте – картину, оказывается, запавшую помимо воли в память нам обоим, – то начинаю надеяться, что, пусть мне далеко до его таланта, все же выручит меня не что иное, как наше явное психологическое сродство.

Орудие в наличии, остается пустить его в ход. Первым моим долгом после смерти Себастьяна было просмотреть его вещи. Он всё оставил мне, и я располагал его запиской с поручением сжечь кое-что из бумаг, изложенным так неопределенно, что поначалу я решил, что речь идет о черновиках или отвергнутых рукописях, но вскоре убедился, что за вычетом немногих случайных листков, затерявшихся в прочих бумагах, все это было давно уничтожено им самим, поскольку он принадлежал к редкой породе писателей, твердо знающих: не должно оставаться ничего, кроме конечного результата – изданной книги, бытие которой несовместимо с существованием ее призрака – неотесанного, щеголяющего прорехами манускрипта (так мстительное привидение носит под мышкой собственную голову{16}); вот почему отходы мастерской не имеют права на жизнь безотносительно к их сентиментальной или коммерческой ценности.

Когда я впервые переступил порог квартиры Себастьяна в Лондоне, 36 Оук-Парк-Гарденз, у меня возникло чувство пустоты, какое бывает, когда время упущено и долго откладывавшаяся встреча уже невозможна. Три комнаты, холодный камин, тишина. Последние годы он мало здесь жил, не здесь и умер. В платяном шкафу полдюжины костюмов, почти все старые, и у меня мелькнуло ощущение, что это фигура Себастьяна размножена в окостеневших формах распяленных плеч. Вот в этом коричневом пальто я его однажды видел; я потрогал вялый рукав, но он не отозвался на слабый оклик памяти. Были, конечно, и башмаки: они прошагали много миль и наконец достигли конца путешествия. Навзничь распростерлись сложные сорочки. Что могли мне рассказать о Себастьяне эти притихшие вещи? Его кровать.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Над ней, на стене цвета слоновой кости, небольшой старый пейзаж маслом, чуть растрескавшийся (радуга, распутица, красивые лужи). Первое, что он видел, просыпаясь.

Когда я оглянулся, мне показалось, что предметы в спальне, словно застигнутые врасплох, только-только успели вскочить на свои места и теперь украдкой на меня поглядывают, пытаюсь понять, заметил ли я этот преступный маневр, – особенно стоящее у кровати низенькое кресло в белом чехле: интересно, что оно там припрятывает? Пошарив в пазухах его строптивых складок, я нашел нечто твердое, оказавшееся бразильским орехом. И кресло, сложив ручки, снова напускает на себя непроницаемое выражение (не высокомерной ли гордыни?).

Ванная. Стеклянная полочка, голая, если не считать плечистого, с фиалками на спине жестяного флакона из-под талька, отраженного в зеркале, как на цветной рекламе.

Потом я осмотрел две основные комнаты. Столовая, как все места, где люди едят, была на диво безлика, потому, возможно, что пища – главное, что нас связывает с мающимся вокруг хаосом материи. Даже окурки в стеклянной пепельнице и тот оставил некто Мак-Мат, квартирный агент.

Кабинет. Отсюда виден сад – или палисадник – позади дома, темнеющее небо, парочка вязов (а не дубов, как обещало название улицы){17}. В углу развалился кожаный диван. Густо заселенные книжные полки. Письменный стол. На нем почти пусто: красный карандаш да коробка скрепок – вид понурый и отрешенный, хотя лампа на западном краю стола прелестна. Я нащупал ее пульс и расплавил опаловый шар – эта волшебная луна видела движущуюся бледную руку Себастьяна. Теперь я наконец приступаю к делу. Завещанным мне ключом я отпер ящики стола.

Первыми я извлек две связки писем, на которых Себастьян написал: уничтожить. Одна уложена так, что нельзя увидеть ни строчки; бумага голубого оттенка, с синей каемкой, шероховатая. Другая связка представляла собой беспорядочный пук почтовой бумаги, исчерканной крупными и напористыми женскими каракулями. Я понял, чьими. Какое-то безумное мгновение я боролся с искушением познакомиться с обеими пачками поближе. С сожалением сообщаю, что победило лучшее из моих «я». Но когда я жег их в камине, один из голубых листков высвободился и, отпрыгнув от огненной пытки, развернулся в обратную сторону, и на нем, прежде чем их поглотила тлетворная чернота, просияли два-три слова, но тут же обмерли, и все было кончено.

Я погрузился в кресло и несколько мгновений пребывал в задумчивости. Слова, которые я увидел, сами по себе, право, не имели никакого значения (да и можно ли ожидать, чтобы от случайного языка огня потянулась вдруг хитроумная нить романного сюжета), но они были русскими и составляли часть русской фразы. Дословно там стояло: «Твоя привычка вечно находить...» Поразил меня не смысл, а то, что фраза была на моем родном языке. Я не имел ни малейшего понятия, кто эта русская, чьи письма Себастьян держал рядом с письмами Клэр Бишоп{18}, – и это меня смутило и встревожило. Из своего кресла возле камина, снова холодного и черного, я смотрел на светящийся шар настольной лампы, яркую белизну бумаги, до краев заполнявшей выдвинутый ящик, и одиноко лежащий на синем ковре лист машинописного формата, диагонально разрезанный световой границей. На секунду я увидел сидящего за столом прозрачного Себастьяна и тут же подумал, припомнив отрывок о ложном Рокбрюне: быть может, он предпочитал писать в постели?

Чуть погодя я снова принялся за дело: надо было просмотреть и рассортировать, хотя бы грубо, содержимое ящиков стола. Там было много писем – я их отложил, чтобы просмотреть позже. Газетные вырезки в броском альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, не рецензии на его книги: у Себастьяна было слишком высокое самомнение, чтобы их собирать, да и чувство юмора едва ли допускало, чтобы он прилежно их клеивал в альбом, когда они попадались ему на глаза. Так вот, упомянутый альбом содержал исключительно вырезки, где речь шла, как я выяснил позже, пробежав их на досуге, о происшествиях нелепых и несообразных (сродни сновидениям), случавшихся в самых заурядных местах и при самых заурядных обстоятельствах. Приветствовались, как я понял, и метафоры-гибриды – возможно, он числил их по тому же, чуть кошмарному, ведомству. Среди каких-то юридических бумаг я нашел листок с началом рассказа – всего одно предложение, оборванное на полуслове, давнее зато возможность понаблюдать за странной привычкой Себастьяна не вычеркивать слова, которые он в процессе письма заменял другими, так что,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru например, обнаруженная фраза выглядела так:

«Будучи Любитель Любитель поспать, Роджер Роджерсон, старый Роджерсон купил старый Роджерс купил, до того боялся Любитель поспать, старый Роджерс так боялся пропустить завтрашний. Он был не дурак поспать. Он смертельно боялся пропустить завтрашнее событие блаженство ранний поезд блаженство поэтому вот что он сделал купил и понес домой купил и принес домой в тот вечер не один, а восемь будильников разного размера и силы тиканья девять восемь одиннадцать будильников разного размера и силы тиканья, каковые будильники девять будильников словно кот с девятью<sup>{19}</sup> которые он поместил отчего его спальня стала слегка напоминать».

Мне стало жаль, что на этом все кончилось.

Иностранные монеты в коробке из-под шоколадных конфет: франки, марки, шиллинги, кроны – и соответствующая мелочь. Несколько вечных перьев. Восточный аметист, неоправленный. Аптекарская резинка. Склянка пилюль от мигрени, нервного припадка, невралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Зубная боль – это уже слишком. Старая записная книжка (1926), полная мертвых телефонных номеров. Фотографии.

Я решил было, что увижу множество девушек. Все знают этот жанр: улыбки на солнце, летние снимочки, уловки континентальной светотени, смеющиеся девы в белом на фоне улицы, песка или снега – но я ошибся. Примерно две дюжины фотографий, что я вытряс из большого конверта с лаконичной надписью рукой Себастьяна «Г-н Эйч», изображали одно и то же лицо в разные периоды жизни: сперва луноликого пострела в скверно скроенной матроске, затем некрасивого отрока в крикетном картузе, потом – курносого юнца и так далее, пока дело не доходит до вереницы уже полновозрастных г-д Эйчей. Скорее отталкивающий, бульдожьего типа мужчина, быстро тучнеющий в мире фотографических задников и всамделишных садилов при фасадиках. Я понял, кем должен был стать этот человек, когда набрел на газетную вырезку на общей скрепке с одним из снимков:

«Автор, пишущий вымышленное жизнеописание, нуждается в фотографиях джентльмена с располагающей наружностью, открытого, уравновешенного, трезвенника, предпочтительно холостяка. Заплачу за право воспроизвести в своей книге детские, юношеские и взрослые снимки».

Книги этой Себастьян не написал, но, возможно, продолжал ее обдумывать в последний год своей жизни, поскольку позднейшая из фотографий г-на Эйча, где он со счастливым видом позирует у новенького автомобиля, была помечена мартом 1935-го, а Себастьян умер менее года спустя.

Хандра и усталость вдруг овладели мной. Мне нужно лицо его русской корреспондентки. Мне нужны фото самого Себастьяна. Мне нужно многое... Чуть погодя, дав взгляду побродить по комнате, я заметил парочку обрамленных фотографий в тусклом полумраке над полками. Я поднялся и осмотрел их. Одна представляла собой увеличенный снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию<sup>{20}</sup>, другая – заурядный фотоэтиюд: кудрявое дитя, играющее со щенком. Вкус подобного соединения я счел сомнительным, но, возможно, у Себастьяна были свои причины их сблечь и развесить именно так.

Я перешел к полкам, где дюжины самых разных книг были рассованы как попало. Один ряд выглядел поухоженнее: мне на минуту показалось, что названия складываются в неотчетливую, но странно знакомую музыкальную фразу<sup>{21}</sup>: «Гамлет», «La mort d'Arthur»<sup>[16]</sup>, «Мост короля Людовика Святого», «Доктор Джекилл и мистер Хайд», «Южный ветер», «Дама с собачкой», «Мадам Бовари», «Человек-невидимка», «Le temps retrouvé»<sup>[17]</sup>, «Англо-персидский словарь», «Автор „Трикси“», «Алиса в Стране чудес», «Улисс», «Как покупать лошадь», «Король Лир»...

Мелодия выдохлась и угасла. Я вернулся к столу и начал сортировать отложенные письма. Письма были в основном деловые, почему я и счел себя вправе их просмотреть. Не все имели отношение к роду занятий Себастьяна, но какие-то имели. Они были в беспорядке, и многое в них осталось для меня непонятным. Изредка Себастьян сохранял копии своих писем, так что, к примеру, у меня оказался полный текст долгого и азартного диалога между ним и издателем одной из книг. А вот какая-то суебливая особа, да еще из Румынии, хлопочет о подданстве... Еще я узнаю, как расходятся его книги в Англии и доминионах... Ничего особенно блестящего, но по крайней мере одна из цифр вполне недурна. Несколько писем от

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru благожелательных коллег. Один добрый сочинитель, автор единственной, но нашумевшей книги, укоряет Себастьяна (4 апреля 1928 года), что тот «конрадообразен»{22}, и советует, отпустив коня, в будущих произведениях побольше радеть о читателе – идея, по-моему, на редкость глупая.

Наконец, когда связка уже близилась к концу, я нашел, вместе с письмами моей матери и моими собственными, несколько писем от одного из университетских друзей, и, пока я сражался с их страницами (старые письма терпеть не могут, когда их разворачивают), меня вдруг осенило, где будут мои следующие охотничьи уголья.

#### Глава пятая

Университетские годы не были для Себастьяна Найта такими уж счастливыми. Конечно же, многое в Кембридже пришлось ему по нраву{23} – поначалу его просто ошеломили картины, краски, запахи страны своей мечты. В Тринити-колледж его доставил с вокзала настоящий хэнсом-кэб{24} – эта повозка, похоже, только его и дождалась, отчаянно, вплоть до этой самой минуты противясь неизбежному исчезновению с лица земли, после чего радостно вымерла вслед за бакенбардами и Червонцем непарным. Уличная слякоть мокро блестяла в туманном мраке, вместе со своей заветной противоположностью – чашкой крепкого чая и добрым камельком – рождая гармонию, откуда-то уже известную ему наизусть. Чистые звоны башенных часов то повисали над городом, то накатывались друг на друга и эхом приходили издали. Каким-то странным, подспудно знакомым образом они сочетались с пронзительными выкриками газетчиков. Войдя же внутрь величаво-сумрачного Большого Двора{25}, по которому сквозь туман брели тени в мантиях, а прямо перед ним приплясывал котелок носильщика, Себастьян почувствовал, что непонятно откуда, но ему ведомо каждое ощущение – благотворный запах сырого дерна, древняя звучность каменных плит под каблуком, смазанные очертания темных стен над головой – всё, всё. Это восхитительное чувство подъема держалось, по-видимому, довольно долго, но к нему примешивалось, а позже возобладало нечто иное. Не желая этому верить (ибо он ждал от Англии больше, чем она могла дать), Себастьян в каком-то беспомощном замешательстве осознал, что, как бы мудро и славно ни подыгрывало его новое окружение давним мечтам, ему, вернее, наиболее драгоценной части его существа, ничего не остается, как и далее пребывать в безнадежном одиночестве. Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна, и чем внимательнее судьба пеклась о его душевном уюте, дивно имитируя исполнение его надуманных желаний, тем острее он сознавал свою неспособность вписаться в картину – в какую бы то ни было. Когда же Себастьян понял это окончательно и принялся угрюмо культивировать собственную застенчивость, словно редкостный дар или страсть, он даже начал находить отраду в самом ее чудовищном разрастании и его неуклюжая чужеродность перестала добавлять ему страданий – правда, уже много позже.

Поначалу он безумно боялся, что не исполняет всего, что требуется, а еще пуще – что делает это неизящно. Кто-то ему сказал, что твердую, с углами, часть академического клобука полагается сломать либо совсем удалить жесткую распорку, оставив обвисшую черную ткань. Едва он проделал это, как обнаружил, что впал в худший вид вульгарности – вульгарность новичка – и что безупречный вкус требует от облаченного в мантию и шапочку полного к ним пренебрежения, тем самым безошибочно их низводя до уровня вещей малосущественных, которые иначе осмелились бы претендовать на какое-то значение. Опять-таки, какова бы ни была погода, шляпы и зонты исключались, и Себастьян благочестиво мок и простужался, пока ему не встретился некто Д. У. Горджет, ленивый, беспечный, обаятельный повеса, известный своим беспутством, элегантною и острословием. И этот Горджет хладнокровно расхаживал в обычной шляпе и с зонтиком. Когда пятнадцать лет спустя я посетил Кембридж и услышал все это от ближайшего друга Себастьяна по колледжу (ныне видного филолога), я заметил ему, что буквально у каждого в руках...

– Верно, – сказал он, – зонтик Горджета дал потомство.

– А скажите мне, – спросил я, – как насчет спорта? Себастьян как-то выделялся по этой части?

Мой собеседник улыбнулся.

– Боюсь, – сказал он, – что оба мы едва ли преуспели на данном поприще. Не будем считать нашего с ним щадящего тенниса на сыром, как губка, корте, где в совсем уж безнадежных местах попросту росли маргаритки. Ракета у него, помнится, была

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru самая дорогая, и фланелевый костюм очень ему шел – вид у него вообще всегда был очень ухоженный, зато его подача – это был дамский шлепок, и за мячом он много бегал впустую, а поскольку я и сам от него недалеко ушел, наша игра сводилась главным образом к тому, что мы бегали за своими улетевшими мячами, зелеными и мокрыми, да еще обратно кидали чужим игрокам с соседних кортов. И все это под морозящим дождем. Нет, тут он не преуспел.

– Это его огорчало?

– В каком-то смысле – да. Первый семестр был для него, по сути, отравлен мыслью о своей спортивной неполноценности. Когда он познакомился с Горджетом – а это было у меня, – бедняга Себастьян столько говорил о теннисе, что Горджет спросил наконец, верно ли, что в упомянутую игру играют тростью. Это слегка утешило Себастьяна – он начал догадываться, что Горджет, который сразу ему понравился, тоже не мастак по этой части.

– А на самом деле?

– Ну, он играл в кембриджской команде регби, – может, к теннису у него просто душа не лежала. Так или иначе, Себастьян скоро изжил свой теннисный комплекс. И в общих чертах...

Мы сидели в неярко освещенной комнате с дубовыми панелями, в таких низких креслах, что не составляло труда дотянуться до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, трепещет в такт пламени, играющему на латунных шарах плиты у камина. Мой собеседник знал его так близко, подумал я, что, конечно же, прав, видя в низкой самооценке Себастьяна причину его попыток «перебританить» Британию, всегда безуспешных, но неизменно возобновлявшихся, покуда он наконец не понял, что подводят его не какие-то внешние черты, не манерности модного жаргона, но само стремление жить и поступать по образцу других людей, тогда как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри собственного «я».

И тем не менее он всячески пытался стать типичным студентом. Надев коричневый халат и старые лакированные туфли, он выходит зимним утром, направляясь за угол в Ванны, в руках мыльница и пакет с губкой. За завтраком в Холле он ест овсяную кашу, серую и нудную, как небо над Большим Двором, и апельсиновый мармелад в точности того же оттенка, как вьюнок на стенах Двора. Оседлав свой «велокат» (словечко моего рассказчика), закидывает подол мантии через плечо и крутит педали, направляясь к тому или иному лекционному зданию. Обедал он в «Питте»{26} – насколько я понял, это был клуб, надо думать, с изображениями на стенах скачек и лошадей и со старцами-лакеями, загадывающими свою извечную загадку: густого или прозрачного?{27} Он играет в фивз{28} (что бы сие ни означало) или в подобную же унылую игру, после чего пьет чай с двумя-тремя приятелями; беседа еле плетется в промежутке между сдобной лепешкой и трубкой – каждый тщательно обходит все, чего не касаются остальные. Могла быть еще лекция-другая перед ужином, потом снова Холл, очень красивая постройка, должным образом мне продемонстрированная. Там в это время подметали, и толстые белые икры Генриха Восьмого так и напрашивались на щекотку{29}.

– А где сидел Себастьян?

– Вон у той стены.

– Как же он туда пробирался? Столы-то чуть не в милю длиной.

– Вставал на внешнюю скамью и переходил через стол. Это был обычный способ, хотя случалось, кто-то наступал на тарелку.

После ужина он возвращается к себе, а может быть, идет с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где крутят картину о Диком Западе либо Чарли Чаплин деревянными шажками улепетывает от нехорошего верзилы и на углу поскальзывается.

И вот, после трех или четырех семестров подобной жизни, с Себастьяном произошла странная перемена. Он перестал радоваться вещам, смаковать которые считал своим долгом, и преспокойно обратился к тому, что его действительно занимало. Внешне эта перемена проявилась в выпадении из ритма студенческой жизни. Он не виделся

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru ни с кем, исключая рассказчика, оставшегося, возможно, единственным человеком в его жизни, кому он открывался, с кем был самым собой. В их дружбе была красота, и я вполне понимаю Себастьяна: сидящий передо мной спокойный гуманитарий показался мне обладателем самой тонкой и благородной души, какую можно себе представить. Оба они интересовались английской литературой, и друг Себастьяна уже тогда обдумывал свою первую работу «Законы литературного воображения», два-три года спустя завоевавшую премию Монтгомери.

– Должен признаться, – сказал он, лаская мягкую голубоватую кошку с селадоновыми глазами, возникшую из пустоты и удобно устроившуюся у него на коленях, – должен признаться, что в этот период нашей дружбы Себастьян слегка меня замучил. На лекции его нет, иду к нему и вижу: он все еще в постели – свернулся, как спящий младенец, но при этом мрачно курит. Истерзанная подушка усыпана пеплом, а простыня вся в чернильных пятнах и съехала на пол. На мое бодрое приветствие он что-то бурчит, не снисходя до перемены позы, так что, помешав немного и убедившись, что он не заболел, я шел обедать, после чего заявлялся снова – для того лишь, чтобы увидеть, что он лежит на другом боку, а в качестве пепельницы использует комнатную туфлю. Предложу, бывало, промыслить какой-нибудь еды, поскольку в буфете у него вечно было пусто, и возвращаясь, скажем, с гроздьём бананов, а он взликует как обезьяна и начнет задирать меня какими-нибудь туманно-безнравственными сентенциями о Боге, Жизни и Смерти. Он их особенно смаковал, видя, что они меня задевают, – хотя я их никогда не принимал за чистую монету. Наконец, часа в три или четыре пополудни, он влезает в халат и, волоча ноги, появляется в гостиной, где я его с отвращением оставляю – скорчившегося у камина, скребущего в голове. А на завтра я сижу за работой в своей берлоге и слышу вдруг топот на лестнице, и врывается Себастьян – чистый, свежий, возбужденный, с только что законченным стихотворением.

Все это, согласен, очень близко к образу, а одна подробность меня особенно кольнула. Оказывается, его, Себастьяна, английский язык, свободный и образный, воспринимался все-таки как язык иностранца. Звук «р» в начале слова у него перекатывался и рокотал, он делал забавные ошибки вроде: «Я захватил простуду» или «Этот человек отменный» – разумея под последним, что такой-то славный малый. Он не там ставил ударения в словах типа «статуя» или «библиотека». Он неверно произносил такие имена, как Аполлон или Дездемона. Будучи раз поправлен, он никогда больше не повторял ошибки, но уже сама неуверенность в некоторых словах была для него мучением, и он краснел, как помидор, когда из-за случайного речевого огреха какое-нибудь его высказывание не совсем доходило до bestолокового собеседника. Писал он в то время куда лучше, чем говорил, однако и в стихах его было что-то смутно неанглийское. Правда, его друг никогда их с тех пор не видел. Впрочем, одно-два, быть может...

Он отделался от кошки и стал рыться в ящиках стола, но так ничего и не выудил.

– Может быть, в сундуке, в доме моей сестры, – сказал он неуверенно, – а может быть, и нет... Забвение обожает малых сих, да и Себастьян, я знаю, рукоплескал бы их утрате.

– Кстати, – сказал я, – выражаясь метеорологически, прошлое предстает гнетуще сырым в ваших воспоминаниях, вроде вот сегодняшней погоды (стоял мрачный февральский день). А разве не бывало теплых, солнечных дней? Разве сам Себастьян не вспоминает где-то про «розовые канделябры огромных каштанов» по берегам красивой речушки?

Да, подтвердил он: весна и лето случались в Кембридже почти каждый год (это загадочное «почти» особенно меня порадовало). Да, Себастьян любил побездельничать в ялике на речке Кэм. Но что он больше всего любил, так это катить в сумерках на велосипеде по окаймляющим луга тропинкам. И там, присев на какой-нибудь полевой ограде и следя, как пряди оранжево-желтых облаков наливаются тусклой медью в бледном вечернем небе, он погружался в мысли. О чем? О той юной нежноволосой простушке, еще с косичками, за которой он однажды увязался на лужку, нагнал, поцеловал – и никогда больше не видел? О форме вон того облака? О солнце, садящемся в дымку за черным русским ельником (ах, много бы я дал, чтобы его посещали такие воспоминания!)? О внутреннем смысле травинки и звезды? О неведомом языке безмолвия? О чудовищном весе капли росы? О рвущей душу красоте морской гальки среди миллионов и миллионов прочих галек, образующих некий смысл – только вот какой? Задавал ли он себе старый, старый вопрос: кто ты? – обращаясь к собственному «я», все менее различимому в сумерках, и к миру

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru Божьему вокруг, которому тебя так никто толком и не представил. А быть может, правильнее предположить, что мысли Себастьяна, восседающего на ограде, – всего лишь круговерть слов и вымыслов, недостаточных вымыслов и немощных слов, – но он-то уже знает, что только в них его истинная жизнь и что его предназначение – за пределами этого призрачного поля битвы, которое он еще преодолет в свой час.

– Люблю ли я его книги? О, чрезвычайно. После Кембриджа мы с ним почти не виделись, и он не прислал мне ни одной из своих вещей. Писатели народ забывчивый. Но я как-то взял в библиотеке три его книги и читал их три ночи кряду. Я всегда верил, что Себастьян создаст что-нибудь прекрасное, но не ожидал, что это будет так прекрасно. На последнем курсе... не пойму, что это с кошкой, – молока не хочет знать...

Последний кембриджский семестр Себастьян много работал – английская литература тема сложная и запутанная, – но и частенько срывался в Лондон – в основном безо всяких увольнительных. Его тьютор{30}, покойный мистер Джефферсон, – по описанию, скучноватый пожилой здоровяк, но тонкий лингвист, упрямо считал Себастьяна русским, а точнее, доводил его до отчаяния, делясь с ним всеми известными ему русскими словами – а вывез он их целую охапку из путешествия в Москву много лет назад – и требуя обучить его новым. Себастьян наконец ляпнул, что это, мол, ошибка, на самом деле он родом не из России, а из Софии, в ответ на что обрадованный старик немедленно заговорил по-болгарски. Запинаясь, Себастьян сообщил, что владеет как раз не этим диалектом, а после просьбы продемонстрировать образчик, не сходя с места, измыслил некий новый говор, крайне озадачивший старого языковеда, которого вдруг осенило, что Себастьян...

– Вы хорошо меня выполоскали, – сказал мой конфиденс с улыбкой. – Мои воспоминания становятся все глупее и пустяковее. Не знаю, стоит ли добавлять, что выпускные экзамены Себастьян сдал на высшие баллы и что нас сфотографировали во всех регалиях, – попробую как-нибудь найти снимок и пошлю вам, если хотите. Вам действительно пора? Не хотите ли взглянуть на Задворки?{31} Давайте прогуляемся до крокусов, Себастьян их прозвал грибами стихотворцев – не знаю, вы улавливаете, что он имел в виду?

Но припустил дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца, потом я сказал, что, пожалуй, пойду.

– Подождите, – окликнул меня Себастьянов друг, когда я уже начал было искать проход между лужами. – Совсем забыл. Мастер{32} на днях упоминал, что кто-то прислал ему запрос, действительно ли Себастьян Найт учился в Тринити-колледже. Как же фамилия этого человека? Вот незадача! Моя память дала усадку от стирки. Мы с вами ее знатно отжали, верно? Я понял, во всяком случае, что кто-то собирает материал для книги о Себастьяне Найте. Странно, вы как будто нисколько...

– Себастьян Найт? – внезапно произнес голос в тумане. – Кто говорит о Себастьяне Найте?

#### Глава шестая

Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился... о, как жаждал я порой столь легкого поворота в хорошо смазанном романе! и как бы оказалось кстати, если бы голос этот принадлежал какому-нибудь старому бодрячку-преподавателю с длинными, покрытыми пухом мочками ушей и тем прищуром, что свидетельствует о мудрости и юморе... Удобный персонаж, кстати подвернувшийся путник, тоже знававший моего героя – но с какой-то иной стороны. «А теперь, – молвит он, – я вам поведаю истинную историю годов учения Себастьяна Найта». И, не сходя с места, поведал бы. Но увы, ничего такого не произошло. Голос-в-Тумане прозвучал в самом тускло освещенном закоулке моего сознания. Он был лишь эхом какой-то возможной правды, своевременным напоминанием: не будь так легковерен, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся даже самого честного перепродавца. Помни, что все, что тебе говорится, по сути, тройственно: истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным героем рассказа. «Кто говорит о Себастьяне Найте?» – повторил голос из глубин моей совести. И правда, кто? Лучший его друг да сводный брат. Отрешенный от жизни кроткий филолог и сбитый с толку путешественник, навестивший далекую страну. А где же арбитр? Мирно истлевают на кладбище Сен-Дамье{33}. Живет, посмеиваясь, в пяти своих томах. Незаметно склоняется поверх моего плеча, покуда я это пишу (хотя, смею утверждать, избитая идея вечности была для него слишком неубедительной, чтобы даже сейчас уверовать в свой собственный призрак).

И все-таки жатву их дружбы я пожал. К сему добавились кое-какие разрозненные факты из очень кратких писем Себастьяна того времени да случайные упоминания об университетской жизни в его книгах. Я вернулся в Лондон, где мною уже был тщательно подготовлен следующий шаг.

В последнюю нашу встречу Себастьян между прочим упомянул своего как бы секретаря, которого он между 1930 и 1934 годами время от времени нанимал. Как многие писатели в прошлом и весьма немногие в настоящем (или мы просто не осведомлены о тех, кто не проявляет здоровой напористости в устройстве своих дел), Себастьян был до смешного беспомощным в деловых вопросах, и уж коли находил себе советчика (который мог оказаться мошенником или болваном – или и тем и другим), то с великим облегчением сдавался ему на милость. Полюбопытствуй я случайно, вполне ли он уверен, что Имярек, ныне вершащий его дела, не является попросту навязчивым старым прохвостом, он бы поспешно сменил тему – так его ужасала мысль, что разоблачение чьей-то плутовской сути может принудить его празднولية к каким-то действиям. Словом, он считал, что пусть лучше у него будет самый плохой помощник, чем никакого, и способен был убедить и себя и других, что вполне доволен своим выбором. Говоря так, я хотел бы совершенно ясно заявить, что с юридической точки зрения мои слова диффамацией не являются, а имя, которое я сейчас упомяну, в этом абзаце не фигурирует.

От г-на Гудмэна мне нужны были не столько рассказы о последних годах жизни Себастьяна – в этом я покамест не нуждался, поскольку хотел идти по канве его жизни последовательно, не забегая вперед, – сколько его соображения о том, с какими людьми, знавшими Себастьяна после Кембриджа, мне необходимо повидаться.

Вот почему первого марта 1936 года я нанес визит г-ну Гудмэну в его конторе на Флит-стрит в Лондоне. Позволю себе, однако, прежде, чем изложить наш разговор, немного отвлечься в сторону.

Я уже упоминал, что, разбирая оставшиеся после Себастьяна бумаги, обнаружил в них переписку с издателем по поводу одного из романов. Дело в том, что в «Призматической оправе» (1925), первой книге Себастьяна, один из второстепенных персонажей представлял собой крайне смешную и жестокую карикатуру ныне здравствующего писателя, которого Себастьян счел нужным высечь. Издатель, понятно, сразу же опознал прообраз и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну изменить весь кусок, от чего тот наотрез отказался, заявив под конец, что издаст книгу в другом месте – что в итоге и сделал.

«Вас, кажется, удивляет, – писал он в одном из этих писем, – с какой это стати я, начинающий автор (так выразились Вы, хоть и не по адресу, ибо тот, для кого это определение справедливо, навек останется начинающим, другие же, вроде меня, расцветают сразу), – Вас удивляет, повторяю (не пускаясь, однако, в извинения за эти прустинские скобки{34}), что мне за охота взять славенького, розовенького, фарфорового современника (ведь Икс и впрямь похож на одну из тех дешевых фарфоровых вещиц, чей вид на ярмарке так и манит предаться звонкой истребительной вакханалии) да и ахнуть его с башни моей прозы в канаву. Вы пишете, что он повсеместно прославлен, что в Германии он так же нарасхват, как на родине, что один его старый рассказ только что попал в „Современные шедевры“, что его вместе с Игреком и Зетом рассматривают в ряду ведущих писателей „послевоенного поколения“ и, наконец – а может быть, и в первую очередь, – что он опасен как критик. Вы, похоже, намекаете, что всем нам следует хранить черную тайну его успеха, то бишь проезд во втором классе по билету третьего или, если такого сравнения недостаточно, потворство вкусам худшей части читателей – не тех, кто упивается детективами, благослови, Боже, их чистые души, а тех, кто раскупит последнюю пошлятину, если она сляпана в „современном духе“ с приправой Фрейда, или „потока сознания“, или уж не знаю чего, но не понимают и не поймут, что эти премилые нынешние циники – попросту племянницы Марии Корелли{35} и племянники старой миссис Гранди{36}. Почему мы должны оберегать эти постыдные секреты? Что за масонский союз во славу убожества или, вернее, без-божества? Долой подложных божков! А Вы мне заявляете вдруг, что моя „литературная карьера“ с самого начала непоправимо пострадает из-за нападков на знаменитого и влиятельного писателя. Даже если литературные карьеры существуют, а я был бы дисквалифицирован лишь за то, что пустил своего коня галопом, то и тогда я бы отказался изменить хоть слово из написанного. Потому что, поверьте, никакое неотвратимое наказание не будет настолько суровым, чтобы заставить меня прекратить погоню за удовольствиями, особенно когда я их нахожу на юной и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru упругой груди Истины. Скажу по чести, немногое в жизни может сравниться с усладой сатиры, и мое удовольствие достигает сладчайшей вершины, стоит мне представить физиономию нашего пустозвона, когда он прочтет (а он прочтет) упомянутый кусок и не хуже нас с вами увидит, что это правда. Хочу добавить, что, коль скоро мне удалось передать не только внутренний мир Икса (а это не более чем станция подземки в час наибольшей толчеи), но и выкрутасы его манер и речи, я решительно отметаю предположение, что он, да и любой другой читатель, отыщет хоть каплю вульгарности в отрывке, вызвавшем у Вас столько тревоги. Так что пусть это больше Вас не беспокоит: помните, вся ответственность, моральная и материальная, в случае если вы из-за моего невинного томика действительно „нарветесь на неприятности“, лежит на мне».

Приводя этот отрывок (ценный сам по себе, поскольку показывает Себастьяна в том светлом молодцеватом настроении, которое и позже подобием радуги пребывало поверх грозового мрака самых беспросветных его сочинений), я делаю это, чтобы уладить довольно щекотливый вопрос. Еще минута-другая – и г-н Гудмэн возникнет перед нами во плоти. Читателю уже известно, сколь бесповоротно я забраковал книгу этого джентльмена. Однако же во время нашего первого (и последнего) разговора я ничего не знал о его труде, если можно назвать трудом торопливую халтуру. Я обратился к г-ну Гудмэну без всякой предвзятости; теперь я полон ею, и это не может не влиять на мое описание. В то же время я не вижу способа изобразить свой визит, не упоминая, хотя бы столь же скупое, как в случае с кембриджским другом Себастьяна, повадок г-на Гудмэна, если не его внешности. Сумею ли я вовремя остановиться? Не высунется ли внезапно гудмэновская физиономия, к обоснованной досаде владельца, когда он будет читать эти строки? Я перечел письмо Себастьяна, и вывод мой таков: то, что по отношению к Иксу мог себе позволить он, мне в отношении г-на Гудмэна заказано. Там, где гений Себастьяна позволял ему быть блистательно-откровенным, я преуспею лишь в грубости. Стало быть, тут я ступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет г-на Гудмэна, делать осмотрительные шаги.

– Садитесь, прошу вас, – сказал он учтиво, указывая на кожаное кресло у своего стола. Он был на диво хорошо одет, хоть и с выраженным столоначальническим привкусом. Лицо его скрывает черная маска.

– Чем могу быть полезен? – продолжал он, глядя на меня в прорези маски и все еще держа мою визитную карточку.

До меня вдруг дошло, что моя фамилия ничего ему не говорит. Себастьян ведь и формально принял фамилию своей матери.

– Я сводный брат Себастьяна Найта, – сказал я.

Наступило короткое молчание.

– Позвольте, – спросил г-н Гудмэн, – следует ли это понимать в том смысле, что вы имеете в виду Себастьяна Найта, известного писателя?

– Совершенно верно, – ответил я.

Большим и указательным перстами г-н Гудмэн стал поглаживать свое лицо... То есть, я хочу сказать, лицо под маской. Он поглаживал, поглаживал его сверху вниз, размышляя.

– Прошу меня извинить, – сказал он, – но вы уверены, что тут нет какого-то недоразумения?

– Никакого, – ответил я и возможно меньшим числом слов объяснил свое родство с Себастьяном.

– Ах вот как? – сказал г-н Гудмэн, впадая во все большую задумчивость. – Право же, право же, мне это никогда не приходило в голову. Разумеется, я знал, что Найт родился и вырос в России. Но я как-то упустил эту подробность с фамилией. Да, теперь понимаю... Да, фамилия должна была быть русской... Его мать...

С минуту г-н Гудмэн барабанил тонкими белыми пальцами по бювару с промокательной бумагой, потом слабенько вздохнул.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru – Ладно, сделанного не исправить, – заметил он. – Менять уже поздно... я имею в виду, – заторопился он, – жаль, что я раньше не вошел в этот предмет. Значит, вы его сводный брат? Счастлив познакомиться.

– Прежде всего, – сказал я, – мне бы хотелось уладить деловую сторону. Бумаги господина Найта, по крайней мере связанные с его литературной деятельностью, не в лучшем порядке, и я не совсем понимаю, как обстоят дела. Я еще не встречался с издателями, но знаю, что по крайней мере одной фирмы – той, что выпустила «Потешную гору», – больше не существует. Я подумал, что прежде, чем самому входить в эти вопросы, лучше обсудить их с вами.

– Совершенно верно, – сказал г-н Гудмэн. – Кстати, осведомлены ли вы, что я имею долю в двух книгах Найта – «Потешная гора» и «Стол находок»? Ввиду сказанного наиболее целесообразно было бы посвятить вас в некоторые детали – завтра утром я смогу выслать вам все эти сведения почтой, включая копию моего контракта с господином Найтом. Или мне следует называть его господин... – и, улыбаясь под своей маской, г-н Гудмэн попытался выговорить нашу простую русскую фамилию.

– Есть и еще одно обстоятельство, – продолжал я. – Я решил написать книгу о его жизни и трудах и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы...

Мне показалось, что г-н Гудмэн оцепенел. Потом он два раза кашлянул и даже зашел так далеко, что извлек из коробочки, лежавшей на его представительном столе, смородиновую лепешку от кашля.

– Дорогой сэр, – сказал он, внезапно поворачиваясь вместе со стулом, отчего его монокль на ленточке кругообразно порхнул. – Будем откровенны до конца. Уж я ли не знал бедного Найта лучше, чем кто бы то ни было, однако... Прошу прощения, вы уже начали эту книгу?

– Нет, – сказал я.

– И не начинайте. Простите мою прямоту. Старая и скверная привычка. Вы на меня, надеюсь, не в обиде? Э-э-э, то, что я имею в виду... как бы это выразиться?.. Видите ли, Себастьян Найт не был тем, кого можно назвать очень большим писателем... О да, бесспорно, тонкий мастер и так далее, но лишенный притягательности для широкого читателя. Я не хочу сказать, что о нем нельзя написать книгу. Можно. Но в этом случае ее следует писать с особой точки зрения, которая сделала бы предмет исследования увлекательным. Иначе книгу ждет провал, потому что, видите ли, я не думаю, что известность Себастьяна Найта настолько велика, чтобы вытянуть, так сказать, работу, которую вы задумали.

Я молчал, пораженный этим извержением. Г-н Гудмэн продолжал:

– Уверен, что моя прямота не обидела вас. Ваш сводный брат и я были настолько добрыми приятелями, что вы, право же, должны меня понять. Лучше не надо, дорогой сэр, лучше не надо. Предоставьте это профессионалу, знатоку книжного рынка – он вам скажет наверняка, что всякий, кто возьмется писать исчерпывающее исследование, как вы выразились, о жизни и трудах Найта, только зря потратит свое и читательское время. Да что говорить, даже книга Такого-то о покойном (названо было знаменитое имя), со всеми этими фотографиями и факсимильными воспроизведениями, и та не имела сбыта.

Я поблагодарил г-на Гудмэна за совет и потянулся к шляпе. Я понял, что он – моя осечка, что я устремился по ложному следу. Почему-то я даже не попросил его остановиться на тех днях, когда они с Себастьяном были «добрыми приятелями». Любопытно, что бы он ответил, попроси я рассказать историю его секретарства. Сердечно пожимая мою руку, он вернул мне маску, которую я прячу в карман – она может еще пригодиться. Он проводил меня до стеклянной двери, и мы расстались. Я уже начал спускаться по лестнице, когда меня, нагнав, остановила решительного вида девушка, которую я видел в одной из комнат, где она, не отрываясь, печатала на пишущей машинке. (Занятно – кембриджский приятель Себастьяна тоже меня окликнул.)

– Меня зовут Хелен Прэтт, – сказала она. – Я подслушивала ваш разговор, сколько могла стерпеть, и хочу попросить вас о небольшом одолжении. Клэр Бишоп – моя близкая приятельница. Ей нужно кое-что выяснить. Вы могли бы со мной встретиться на этих днях?

Я ответил, что, конечно же, могу, и мы условились о времени.

– Я довольно хорошо знала господина Найта, – добавила она, глядя на меня яркими круглыми глазами.

– Вот оно что, – выговорил я, не зная, что еще сказать.

– Да, – продолжала она. – Это был поразительный человек, и я готова заявить, что книга Гудмэна о нем мне отвратительна.

– Что вы имеете в виду? – спросил я. – Какая книга?

– Которую он только что написал. Мы с ним на прошлой неделе держали гранки. Ах, мне надо бежать. Благодарю вас.

Она кинулась прочь, а я не торопясь стал спускаться по лестнице. Большое, мягкое розоватое лицо г-на Гудмэна обладало (и обладает) замечательным сходством с коровьим выменем{37}.

#### Глава седьмая

Книга г-на Гудмэна «Трагедия Себастьяна Найта» была встречена весьма благосклонно. Ее пространно рецензировали в ведущих газетах и еженедельниках, называли впечатляющей и убедительной. Автора хвалили за «проникновение в глубоко современный характер». Цитировались целые отрывки в доказательство того, что дважды два – сущий пустяк для автора. Хор критиков плел венок тому, кто сам плел только вздор. Короче, г-на Гудмэна хлопали по плечу, вместо того чтобы посечь по заду.

Что до меня, я оставил бы сей труд без внимания, будь это просто очередная скверная книга, обреченная, не пройдет и года, на забвение вместе с ей подобными. Летейская библиотека, хоть и необозрима, все равно была бы прискорбно неполна без плода усилий г-на Гудмэна. Как бы, однако, сей плод ни был плох, дело этим не исчерпывается. Благодаря достоинствам своего героя книга обречена стать спутницей его неумирающей славы. Пока помнят имя Себастьяна Найта, всегда найдется пытливый грамотей, добросовестно карабкающийся по стремянке к тому месту на полках, где «Трагедия Себастьяна Найта» борется с дремотой между «Падением человека» Годфри Гудмэна{38} и «Воспоминаниями о моей жизни» Сэмюэла Гудрича{39}. Поэтому, если я продолжаю тянуть все ту же песню, то делаю это ради Себастьяна.

Метод г-на Гудмэна так же несложен, как и его философия. У него лишь одна цель – показать, что «бедняга Найт» был порождением и жертвой явления, именуемого «наше время» (для меня всегда было загадкой, почему люди так склонны навязывать другим свои хронометрические концепции). «Послевоенное смятение», «послевоенное поколение» – это для г-на Гудмэна «Сезам, откройся», которым он отпирает любую дверь. Впрочем, иные магические слова хуже воровской отмычки, и это, боюсь, тот самый случай. Правда, г-н Гудмэн ошибается, когда думает, что, взломав дверь, он куда-то проник. Я вовсе не собираюсь этим сказать, что г-н Гудмэн умеет думать. Дело это ему, как ни старайся, не под силу. Никаких иных идей, кроме доказавших (коммерчески), что они годятся для привлечения убогих умов, в книге нет.

Для г-на Гудмэна молодой Себастьян Найт, «только что покинувший резной кокон Кембриджа», – юноша с повышенной чувствительностью в жестоком и холодном мире. В этом мире «внешняя явь столь грубо вторгается в самые сокровенные мечты», что юная душа пребывает в осаде, покуда не рухнет под ее натиском. «Минувшая война, – сообщает, нимало не смущаясь, г-н Гудмэн, – изменила лицо мироздания». Далее со вкусом описываются те особые черты послевоенной жизни, с которыми юноша столкнулся «на тревожной заре своего поприща»: с ощущением какого-то грандиозного надувательства; с усталостью души и лихорадочным физическим возбуждением («безвкусно-распутного фокстрота»); с чувством тщеты и, как следствие, со вседозволенностью. Да, еще не забыть про жестокость – в воздухе продолжает носиться запах крови... про ослепительные кинематографические чертоги... парочки, растворяющиеся в сумраке Гайд-парка... триумф стандартизации... культ машин... упадок Красоты, Любви, Чести, Искусства... и проч., и проч. Удивительно, как самому г-ну Гудмэну, насколько я знаю, сверстнику Себастьяна, удалось выжить в эти ужасные годы.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Как видно, что г-ну Гудмэну здорово, то Себастьяну – смерть. Нам дают полюбоваться, как в 1923 году Себастьян без усталости меряет шагами комнату в своей лондонской квартире после непродолжительной поездки на континент, каковой континент «неописуемо потряс его вульгарными оболещениями своих игорных геенн». Да, он «расхаживал взад и вперед... стискивая виски... в припадке неудовлетворенности... рассерженный на все и вся... одинокий... жаждущий что-то предпринять, но слабый, слабый...». Не примите эти многоточия за тремоло, издаваемые г-ном Гудмэном, – ими отмечены фразы, которые я милосердно опустил. «Нет, – продолжает г-н Гудмэн, – этот мир не создан для художника. Можно, разумеется, щеголять самообладанием и всячески выказывать тот цинизм, что так раздражает в ранних сочинениях Найта и так удручает в двух последних... можно, конечно, напускать на себя высокомерие и свехутонченность, но тернии от этого не перестанут впиваться – острые, ядовитые...» Уж не знаю почему, но похоже, что присутствие этих вполне мифических терниев доставляет г-ну Гудмэну какое-то гадкое удовлетворение.

Я был бы несправедлив, изображая дело так, будто вся первая часть «Трагедии Себастьяна Найта» сводится к одной густой струе философической патоки. Словесные картинки и анекдоты, наполняющие книгу (начиная со страниц, где г-н Гудмэн добирается до периода жизни Себастьяна, когда знал его лично), имеются и здесь – словно плавающие в сиропе куски твердого печенья. Г-н Гудмэн – не Босуэлл{40}, хотя и он, без сомнения, вел дневник, куда заносил кое-какие фразы своего работодателя – некоторые из них, как можно заключить, касались и прошлого. Другими словами, нам предлагают вообразить, как Себастьян скажет, бывало, оторвавшись от трудов: «А знаете, дорогой Гудмэн, это напоминает мне один случай много лет назад, когда...» – засим следует некая история. Полудюжины таковых г-ну Гудмэну показалось предостаточно, чтобы заполнить то, что было для него белым пятном, – английскую юность Себастьяна.

В первой из них (ее г-н Гудмэн расценивает как чрезвычайно типичную для «послевоенной студенческой жизни») речь идет о том, как Себастьян показывает своей лондонской подружке красоты Кембриджа. «Вот окно декана, – говорит он; затем швыряет в это окно камень и добавляет: – А вот и сам декан». Излишне пояснять, что г-ну Гудмэну натянули нос: этой побасенке столько лет, сколько самому университету.

Послушаем другую. Как-то ночью, во время краткой поездки на каникулы в Германию (в 1921-м? 1922-м?), Себастьян, выведенный из себя кошачьим концертом под окнами, принялся метать в нарушителей тишины различными предметами, включая яйцо. Через некоторое время в дверь постучал полицейский, доставивший все предметы обратно – кроме яйца.

Это из старой (как сказал бы г-н Гудмэн, «довоенной») книги Джерома К. Джерома{41}. Нос натянут вторично.

Следующий эпизод. Говоря о самом первом своем романе (неизданном и уничтоженном), Себастьян поясняет, что в нем шла речь о юном толстяке-студенте{42}, который, приехав домой, обнаружил, что мать вышла замуж за его дядю; дядя этот, ушной специалист, – убийца отца нашего студента.

Г-н Гудмэн не понял шутки.

Четвертый: летом 1922 года у перетрудившегося Себастьяна начались галлюцинации, и ему стал являться особого рода призрак – быстро спускающийся с неба монах в черной рясе.

Чутьочку потруднее: рассказ Чехова{43}.

Пятый...

Впрочем, нам лучше остановиться, иначе г-ну Гудмэну грозит опасность перейти в отряд хоботных. Пусть остается с тем клоунским носом, что благоприобрел на наших глазах. Мне его жаль такого, но поделаться ничего не могу. Если бы он хоть не разжевывал и не размазывал столь занудно, с такими назидательными выводами эти «любопытные происшествия и причуды». Колючий, капризный, чокнутый Себастьян, сражающийся с порочным миром Джагернаутов{44}, локаутов, светских раутов и уж я не знаю, чего еще... Впрочем, как знать, как знать, что-то во всем этом, может быть, и есть.

Я стремлюсь к предельной точности и вовсе не желаю упустить пусть даже крупицу правды только потому, что на каком-то этапе моих разысканий был выведен из себя скверной стряпней... Кто говорит о Себастьяне Найте? Его бывший секретарь. Разве они когда-нибудь были друзьями? Как мы позже убедимся – не были. Есть ли правда в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна выдохшемуся и озлобленному миру? Ничуть. Или была между ним и миром иная расщелина, трещина, щель? Была.

Достаточно перелистать первые тридцать страниц «Стола находок», чтобы заметить, до какой степени г-н Гудмэн (неизменно, кстати, обходящий все, что не согласуется с главной идеей его завирального творения) погряз в успокоительном непонимании того, как внутренний мир Себастьяна соотносится с миром внешним. Для Себастьяна не существовало ни года 1914-го, ни 1920-го, ни 1936-го, а всегда шел год первый. Газетные заголовки, политические теории, модные идеи ничем для него не отличались от болтливых наставлений (на трех языках и с ошибками хотя бы в двух) на упаковке мыла или зубной пасты. Пена могла быть густой, а надпись убедительной – но и только. Он вполне мог понять умных и впечатлительных людей, которые теряли сон, узнав о землетрясении в Китае; но ему, Себастьяну Найту, трудно было понять, отчего эти люди не испытывают тех же приступов неисцелимой тоски при мысли о подобном бедствии, но приключившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время и пространство были для него категориями единой вечности, поэтому сама идея, будто он мог каким-то особым, «современным» образом реагировать на то, что г-н Гудмэн величает «атмосферой послевоенной Европы», глупа донельзя. В мире, куда он пришел, он бывал то счастлив, то несчастен – подобно путешественнику, который, даже страдая от морской болезни, успевает восторгаться видами. В каком бы веке Себастьян ни родился, он всегда оставался бы в той же мере доволен и несчастлив, лучезарен и полон дурных предчувствий, как ребенок на детском празднике, время от времени вспоминаящий о завтрашнем походе к дантисту. И причина его неприкаянности состояла не в том, что он, такой нравственный, жил в безнравственном веке (или, наоборот, безнравственный в нравственном), не в теснящем душу сознании, что его юность зачала в этой юдоли, где фейерверки слишком часто сменяются похоронами, нет – он просто открыл, что пульсы его внутреннего бытия куда наполненнее, чем у других. Как раз к концу кембриджского периода, а может, уже и раньше он понял, что малейшая его мысль или ощущение всегда хотя бы на одно измерение богаче, чем у ближнего, – он мог бы даже кичиться этим, будь в его натуре хоть что-то театральное, но театральное не было, и на его долю оставалось лишь чувство неловкости, какое хрустальный предмет испытывает среди стеклянных, сфера среди кругов (пустяки по сравнению с тем, что он изведаль, посвятив себя литературе).

«Я был, – пишет Себастьян в „Столе находок“, – настолько застенчив, что неизменно умудрялся совершить именно тот промах, которого пуще всего норовил избежать. В своих отчаянных попытках слиться с тоном окружающей среды я уподоблялся разве что хамелеону-дальтонику. И мне, и другим легче было бы сносить мою застенчивость, если бы она была обычного потливо-прыщавого свойства: множество молодых людей через это проходят, и никто особенно не горюет. Но в моем случае она приобрела свойство нездоровой тайны, никак не связанной с муками возмужания. Одна из наименее блещущих новизной затей пыточной канцелярии состоит в лишении узника сна. У большинства людей та или иная область сознания пребывает в течение дня в блаженной дремоте: голодный, набрасываясь на жаркое, сосредоточен на нем, а, скажем, не на сновидении семилетней давности про ангелов в черных цилиндрах; у меня же все дверки, створки и ставни ума открыты одновременно и во всякое время дня. Почти у всякого мозга есть свое воскресенье, а моему отказано и в сокращенном рабочем дне. Это состояние вечного бодрствования, само по себе крайне мучительное, порождает и столь же мучительные последствия. Всякое обыденное действие, которое я произвожу в порядке вещей, принимает такие усложненные обличья, взбаламучивает такую тучу попутных мыслей – замысловатых, неотчетливых, житейски совершенно бесполезных, что я или начинаю увливать от начатого дела, или, разволновавшись, окончательно его запутываю. Как-то раз я зашел к редактору журнала, который, как мне казалось, мог бы напечатать кое-что из моих кембриджских стихов, однако его своеобразное заикание, соединившись с особой комбинацией углов в рисунке крыш и труб за окном, вдобавок перекошенной не вполне ровным стеклом, а еще странный затхлый запах в комнате (роз, гниющих в корзине для бумаг?) – все это отправило мои мысли таким долгим, окольным путем, что вместо заготовленной речи я вдруг пустился рассказывать этому дотолу ведомому мне господину о литературных замыслах одного общего знакомого, просившего, как я потом спохватился, никому их

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru не разглашать...

...Зная, как никто другой, опасные причуды своего сознания, я боялся знакомиться с людьми, боялся задеть их чувства или показаться смешным. Но та же черта или червоточина моего сознания, столь мучительная, когда я сталкиваюсь с так называемой практической стороной жизни (хотя, между нами говоря, лесоторговля или книготорговля выглядит и вовсе нереальной при свете звезд), становится источником восхитительных усад, стоит мне замкнуться в моем одиночестве. Я был бесконечно влюблен в страну, ставшую мне домом, насколько моя натура допускает идею дома; у меня бывали киплингские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения{45}. Собака-поводырь возле „Хэрродса“{46} и цветные мелки художника, рисующего на панели; бурые листья под ногами в Нью-форесте{47} и луженая ванна, висящая снаружи на черной кирпичной стене в трущобных окраинах; рисунок в „Панче“ и царственно-витиеватая фраза из „Гамлета“, – все это составляло несомненную гармонию, в которой и для меня приготовлено незримое место. Для меня Лондон моей юности – это память о нескончаемых рассеянных блужданиях, это ослепленное солнцем окно, вдруг пронзающее сизый утренний туман, это красивые черные провода с бегущими по ним дождевыми каплями. Мне кажется, что бесплотными шагами я пересекаю призрачные газоны и танцзалы, где скулит и хнычет гавайская музыка, – и дальше, милыми монотонными улочками с прелестными именами, добираюсь до какой-то теплой норы, где некто, самый близкий самому глубинному из моих „я“, съезжившись, сидит в темноте...»

Жаль, что г-н Гудмэн не вчитался на досуге в этот кусок, хоть и сомнительно, чтобы он мог ухватить его суть.

Он оказался настолько любезен, что прислал мне экземпляр своей книги. В сопроводительном письме он пояснял с тяжеловесной шутовщиной, задуманной как эпистолярный эквивалент добродушного подмигивания, что если он не упомянул о книге во время нашего разговора, то единственно из желания сделать мне чудесный сюрприз. Его разговор, его хохоток, его трескучее острословие – все это работало на образ грубоватого старого друга семьи, нагрянувшего с неоченимым подарком для младшенького. Но актер г-н Гудмэн не слишком хороший. Ведь он не допускал ни на минуту, что я буду в восторге от его книги или от усердия, с каким он сделал рекламу нашей семье. Ему было понятно с самого начала, что книга – дрянь и что ни ее переплет, ни суперобложка вместе с зазывным кличем на ней, ни даже статьи и отзывы прессы меня не одурачат. Почему он посчитал разумным оставить меня в неведении, не совсем ясно. Уж не решил ли он, что я способен сесть и успеть назло ему накатать собственный увраж, дабы две книги столкнулись лбами?

Я получил от него не только «Трагедию». Получил я и обещанный отчет. Здесь не место обсуждать подобные материи. Я передал его своему поверенному и уже осведомлен о его выводах. Довольно будет сказать, что Себастьяново простодушие в практических делах было использовано самым наглым образом. Никогда г-н Гудмэн не был настоящим литературным агентом. Делая всего лишь коммерческую ставку на книги, он не принадлежит к этому интеллигентному, честному и работающему сословию. Не будем продолжать; впрочем, я еще не разделался с «Трагедией Себастьяна Найта», или, скорее, «Фарсом г-на Гудмэна».

Глава восьмая

Я снова увидел Себастьяна спустя два года после смерти моей матери. Почтовая открытка с видом – вот и все, что я за это время от него получил, если не считать настойчиво поступающих чеков. Унылым серым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским Полям в сторону площади Звезды, и когда вдруг сквозь витрину хорошо известного кафе увидел Себастьяна, первым моим побуждением, помню, было идти своей дорогой, настолько я был задет мыслью, что, приехав в Париж, он со мной не связался; однако я передумал и вошел. Я увидел отблеск темных волос Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидящей напротив него за столиком. Когда я подходил, она как раз закончила читать какое-то письмо и, снимая очки в роговой оправе, с легкой улыбкой протянула его обратно.

– Недурно? – спросил Себастьян, и в этот момент я положил руку на его художавое плечо.

– О, привет, В.! – промолвил он, поднимая взгляд. – Это мой брат. Мисс Бишоп. Садись, располагайся.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Красота ее была неброской – капельку веснушчатая белая кожа, слегка впалые щеки, серо-голубые близорукие глаза и тонкий рот. На ней был серый строгий костюм от портного с синим шарфиком и маленькая треугольная шляпка. Кажется, у нее была короткая стрижка.

– Как раз собирался тебе звонить, – сказал Себастьян не совсем, боюсь, правдиво. – Видишь ли, я тут всего на день – завтра мне надо быть в Лондоне. Что тебе заказать?

Они пили кофе. Клэр Бишоп, хлопая ресницами, порылась в сумочке, нашла носовой платок и приложила сперва к одной розовой ноздре, потом к другой.

– Насморк все сильнее, – сказала она и защелкнула сумочку.

– О, превосходно! – ответил Себастьян на мой традиционный вопрос. – Между прочим, только что закончил роман. Выбрал себе издателя, и, судя по его ободряющему письму, он роман одобряет. Кажется, ему даже нравится название «Дрозд дает сдачи»{48}, но вот Клэр против.

– Считаю, что звучит по-дурацки, – сказала Клэр. – К тому же птица не может давать сдачи.

– Тут намек на детский стишок, который все знают, – пояснил для меня Себастьян.

– Дурацкий намек, – сказала Клэр. – Первое название было куда лучше.

– Не знаю... Грань... «Грань призмы», – пробормотал Себастьян. – Не совсем то, чего бы хотелось. Жаль, что «Дрозд» никому не нравится...

– Заглавие, – сказала Клэр, – должно задавать тон книге, а не рассказывать сюжет.

Это был первый и последний случай, когда Себастьян обсуждал в моем присутствии литературные дела. Редко видел я его и в столь беспечном настроении. Вид у него был свежий и ухоженный, бледное, тщательной лепки лицо с легкими тенями на щеках – он был из породы тех несчастных, кто обречен бриться дважды в день, если вечером предстоит куда-то идти, – не обнаруживало и следа того тускло-нездорового оттенка, так часто ему присущего. Крупноватые, чуть заостренные уши горели – верный признак радостного оживления. Я же был чопорен и косноязычен. Напрасно я к ним полез.

– Не пойти ли нам куда-нибудь? Скажем, в кинематограф? – спросил Себастьян, погружая два пальца в карман пиджака.

– Как ты хочешь, – отозвалась Клэр.

– Гаа-сон! – позвал Себастьян. Я и раньше замечал, что он старается произносить французские слова на манер природного британца.

Какое-то время мы искали под столом и бархатными сиденьями одну из перчаток Клэр. Слабый запах ее духов показался мне приятным. Наконец я обнаружил беглянку – серую, замшевую, на белой подкладке, с бахромчатыми отворотами. Пока нас выпихивали вращающиеся двери, Клэр не спеша ее натянула. Скорее высокая, с очень прямой спиной, изящными лодыжками, в туфлях без каблуков.

– Знаете что, – сказал я, – боюсь, что в кинематограф я с вами пойти не смогу. Страшно жаль, но у меня дела... Может быть... Когда точно ты уезжаешь?

– Сегодня же вечером, – отвечал Себастьян. – Но скоро опять приеду... Глупо было не предупредить тебя заранее. Давай мы хоть немного тебя проводим.

– Вы хорошо знаете Париж? – обратился я к Клэр.

– Моя покупка, – сказала она, останавливаясь.

– А! Ничего, я схожу, – сказал Себастьян и пошел обратно в кафе.

Оставшись вдвоем, мы пошли дальше по широкому тротуару, только очень медленно. Я

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
неловко повторил свой вопрос.

– Да, сносно, – отвечала она. – Я тут прогощу у друзей до Рождества.

– Себастьян замечательно выглядит, – сказал я.

– По-моему, тоже. – Клэр обернулась, потом быстро взглянула на меня из-под ресниц. – А когда я с ним познакомилась, вид у него был конченный.

Вероятно, я спросил: «И когда это было?» – потому что припоминаю такой ответ:

– Этой весной, на каком-то отвратном приеме в Лондоне. Правда, вид у него на приемах всегда конченный.

– Вот твои «бон-бон»[18], – произнес позади нас голос Себастьяна.

Я сказал им, что иду на станцию метро «Этуаль», и мы стали огибать площадь Звезды по часовой стрелке. Едва мы начали переходить авеню Клебер, как какой-то велосипедист едва не сбил Клэр.

– Глупышка, – сказал Себастьян, хватая ее за локоть.

– Слишком уж много голубей, – сказала она, когда мы преодолели мостовую.

– Да, – отозвался Себастьян. – И этот запах...

– А чем они пахнут? У меня заложен нос, – спросила она, втягивая воздух и вглядываясь в густую толпу толстых птиц, важно разгуливавших у нас под ногами.

– Ирисами и резиной, – сказал Себастьян.

Рык грузовика, пытавшегося разехать с мебельным фургоном, вспугнул птиц. Они взметнулись, замельтешили в небе и стали рассаживаться в перламутрово-серых и черных рельефах Триумфальной арки, а когда иные суетливо срывались опять, казалось, что куски резного фриза вдруг превращаются в хлопья трепещущей жизни. Несколько лет спустя в третьей из книг Себастьяна я обнаружил эту зарисовку «камня, переходящего в крыло».

Мы пересекли остающиеся авеню и подошли к белым перилам станции метро. Тут мы и расстались, вполне жизнерадостно... Помню удаляющийся дождевик Себастьяна, серо-голубую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и переступила, чтобы попасть в ногу с его шагом вразвалку.

И вот теперь я узнал от мисс Прэтт немало такого, что вызвало у меня желание узнать еще больше. Обратилась она ко мне, чтобы выяснить, не нашлось ли в вещах Себастьяна писем от Клэр Бишоп. Она напирала на то, что делает это не по просьбе Клэр, более того, что Клэр не знает о нашем разговоре, поскольку уже три или четыре года замужем и чересчур горда, чтобы говорить о прошлом. Мисс Прэтт виделась с ней примерно неделю спустя после того, как газеты написали о смерти Себастьяна, но, хоть они и старые подруги (то есть каждая знала о другой больше, чем та подозревала), Клэр разговора не поддержала.

– Надеюсь, он не был совсем уж несчастен? – сказала она спокойно и добавила: – Как узнать, сохранял ли он мои письма?

То, как она произнесла, как сузила глаза, быстрый вздох перед тем, как заговорить о другом, – все это убедило подругу, что для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил у мисс Прэтт, не связаться ли мне с Клэр и можно ли уговорить ее что-нибудь рассказать о Себастьяне. Мисс Прэтт ответила, что, зная Клэр, она не рискнула бы даже передать мою просьбу.

– Безнадежно, – сказала она.

На миг я чуть было не поддался низкому соблазну намекнуть, что письма у меня и я отдам их, если она не откажет поговорить со мной, – так страстно хотел я встретиться с Клэр, просто увидеть, как тень имени, которое я назову, пробежит по ее лицу. Но нет, я не могу шантажировать прошлое Себастьяна, об этом не может быть и речи.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Письма уничтожены, – сказал я и повторил свою просьбу. Я снова и снова говорил, что попытка не пытка, – ведь, передавая наш разговор, она могла внушить Клэр, что визит будет очень коротким, очень невинным.

– А что, собственно, вы хотели бы услышать? – спросила мисс Прэтт. – Я ведь тоже многое могу рассказать.

Она довольно долго говорила о Клэр и Себастьяне. Получалось это у нее неплохо, хотя, описывая прошлое, она, как многие женщины, склонялась к некоторой назидательности.

– Вы хотите сказать, – перебил я мисс Прэтт в каком-то месте ее рассказа, – что никто так и не узнал даже имени этой женщины?

– Никто, – сказала мисс Прэтт.

– Так как же мне ее найти? – воскликнул я.

– Вы ее и не найдете.

– Как давно, вы говорите, это началось? – перебил я ее вновь, когда она упомянула о болезни Себастьяна.

– Видите ли, – сказала она, – точно сказать не могу. Приступ, который я видела сама, был не первый. Помню, мы вышли из ресторана. Было очень холодно, он не мог найти таксомотора, нервничал и злился и уже кинулся к авто, притормозившему чуть поодаль, как вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, он вытряс из коробочки какую-то облатку и размял в своем белом шелковом кашне, которое прижал к лицу. Было это в двадцать седьмом или в двадцать восьмом году.

Я задал еще несколько вопросов, она столь же добросовестно на все ответила и продолжала свой печальный рассказ.

После ее ухода я все записал – но слова были мертвы, мертвы. Я просто обязан увидеть Клэр! Чтобы прошлое ожило, мне нужен был (да и просто необходим) сущий пустяк – один взгляд, одно слово, хотя бы звук ее голоса. Я не понимал, в чем тут причина, так же как никогда не смог себе объяснить, отчего в тот незабываемый день несколько недель назад я был так уверен, что если застану умирающего живым и в сознании, то услышу нечто такое, что не говорилось еще ни одному человеку.

И вот как-то в понедельник я отправился с визитом.

Прислуга провела меня в небольшую комнату. Хозяйка была дома – так, по крайней мере, сообщила мне эта румяная и несколько неотесанная особа (Себастьян где-то упоминает, что, описывая служанок, английские романисты никогда не отходят от устоявшихся правил). С другой стороны, я знал от мисс Прэтт, что г-н Бишоп по будням трудится в Сити; странно, она вышла за человека по фамилии, как и она, Бишоп, – о, никакого родства, чистая случайность. Может ли она меня не принять? Сравнительное благополучие, сказал бы я, но не более... Во втором этаже, скорее всего, Г-образная гостиная, над ней две спальни. Вся улица состояла из точно таких же узких домов, вплотную прижатых друг к другу. Долго же она раздумывает... Не лучше ли было рискнуть и позвонить сначала? Успела ли мисс Прэтт сказать ей про письма? С лестницы вдруг раздались приглушенные шаги, в комнату валко вошел крупный мужчина в черном халате с багровым кантом.

– Простите мой наряд, – сказал он, – но я сильно простужен. Я – Бишоп, а вы, очевидно, хотите видеть мою жену?

Уж не подхватил ли он эту простуду, мелькнула шальная мысль, от розовоносой хрипловатой Клэр, какой я ее увидел двенадцать лет назад?

– О да, – сказал я. – Если она меня не забыла. Мы когда-то познакомились в Париже.

– Разумеется, она помнит вашу фамилию, – сказал г-н Бишоп, глядя мне прямо в лицо, – но я вынужден сообщить, что она вас принять не может.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

- Зайти в другой раз? – спросил я. Повисло молчание, после чего Бишоп спросил:
- Ваш визит как-то связан, вероятно, со смертью вашего брата?

Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата и глядя на меня, светлые волосы зачесаны назад гневным гребнем – достойный, славный человек, – надеюсь, эти слова его не обидят. Могу добавить, что совсем недавно мы обменялись письмами по весьма грустному поводу и этим вполне покончили с любым нерасположением, которое могло примешаться к нашей первой беседе.

– Служит ли это препятствием для нашей встречи? – ответил я вопросом на вопрос. Фраза глупая, не спорю.

– Вы ни в каком случае не встретитесь, – сказал Бишоп. – Сожалею, – добавил он, чуть смягчаясь, ибо почуял, что я отступаю без боя. – Уверен, что при других обстоятельствах... но, видите ли, жена не большая охотница вспоминать былые дружбы, и вы меня простите, если я откровенно скажу, что вам не следовало приходить.

Возвращался я с чувством, что все загубил. Я представлял, что бы я сказал Клэр, застань я ее одну. Мне как-то удалось убедить себя, что, если бы мужа не оказалось дома, она бы меня приняла: так непредвиденное препятствие умаляет другое, очевидное. Я бы ей сказал: «Не будем говорить о Себастьяне. Поговорим о Париже. Вы хорошо его знаете? А помните тех голубей? Расскажите – что вы читаете? Какие видели фильмы? Вы все так же теряете свертки, перчатки?» Или можно прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке: «Да, я знаю, что вы чувствуете, но, пожалуйста, пожалуйста, поговорим о нем. Ради его портрета. Ради мелочей, которые канут и сгинут, если вы откажетесь поделиться ими для моей книги». О, я уверен, она бы не отказала.

И через два дня, настроившись на второй образ действий, я сделал еще одну попытку. На сей раз я решил действовать осмотрительнее. Стояло дивное утро, было сравнительно рано, и я уверил себя, что она не усидит дома. Я займу неприметную позицию на углу, выжду, пока ее муж отправится в Сити, дотерплю до момента, когда выйдет и она, и тогда подойду к ней. Но все вышло совсем не так.

Я еще не дошел до места, как вдруг увидел Клэр Бишоп. Она только что перешла улицу с моей стороны на противоположную. Я сразу ее узнал, хоть видел много лет назад и не более получаса. Я узнал ее, несмотря на заострившиеся черты и странно полное тело. Она медленно и тяжело ступала, и, только поспешив через улицу к ней навстречу, я вдруг понял, что она на поздней стадии беременности. Импульсивное начало в моем характере (вечно заводящее меня куда-то не туда) уже бросило меня с приветливой улыбкой ей навстречу, но за эти краткие мгновенья я вдруг ясно понял, что ни заговорить, ни даже поздороваться с нею мне нельзя. И совсем не из-за Себастьяна или моей книги и не из-за нашей с Бишопом беседы, – нет, все дело было в ее величавой сосредоточенности. Я понял, что мне заказано даже себя обнаружить, но, как я уже сказал, порыв успел перенести меня через дорогу, да так, что, ступая на тротуар, я едва не наскочил на нее. Она тяжело отшагнула и подняла близорукие глаза. Нет, слава Богу, она меня не узнала. Было что-то душераздирающее в серьезном выражении ее бледного, цвета древесных опилок, лица. Мы оба замерли на миг. Со смехотворной находчивостью я выхватил из кармана первое, что подвернулось, и спросил:

– Прошу прощения, это не вы обронили?

– Нет, – сказала она с безучастной улыбкой. Она на миг поднесла этот предмет к глазам. – Нет, – повторила она и, протянув обратно, пошла своей дорогой.

Я стоял с ключом в руке, словно и в самом деле только что нашел его на земле. Это был ключ от квартиры Себастьяна, и тут меня странно кольнуло – я сообразил, к чему она прикоснулась своими невинными, невидящими пальцами.

#### Глава девятая

Их отношения длились шесть лет. За это время Себастьян написал два своих первых романа – «Призматическую оправу» и «Успех». Работа над первым заняла у него семь месяцев (с апреля по октябрь 1924-го), на второй ушло двадцать два (июль 1925-го – апрель 1927-го). Между осенью двадцать седьмого и летом двадцать девятого он

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru написал три повести, составившие потом сборник «Потешная гора» (1932). Другими словами, больше половины всего им написанного рождалось на глазах у Клэр (не считая юношеских вещей – например, кембриджских стихов, которые он сам уничтожил), а поскольку в промежутках между названными книгами Себастьян всячески выворачивал в уме тот или иной замысел, откладывал его, чтобы все начать сначала, можно с уверенностью утверждать, что в течение этих шести лет он был постоянно поглощен работой. И Клэр это было по душе.

Она зашла в его жизнь, как забредают в чужую комнату, чуть похожую на собственную, и в ней осталась, позабыв дорогу назад и потихоньку привыкая к непонятым существам, которых там нашла и обласкала, несмотря на их удивительное обличье. Она не ставила перед собой специальной цели стать счастливой или осчастливить Себастьяна, не тревожилась и о завтрашнем дне; жизнь с Себастьяном она воспринимала как нечто совершенно естественное просто потому, что жизнь без него ей труднее было себе представить, чем палатку землянина на лунной горе. Родилась она ему ребенка, они, весьма вероятно, соскользнули бы в брак, что стало бы простейшим выходом для всех троих; но, оставаясь бездетными, они не догадались исполнить тот чистый и душеполезный обряд, который, когда бы они нашли время о нем подумать, скорее всего, доставил бы им обоим только радость. Себастьян был бесконечно чужд всякому передовому вздору из рубрики «долой предрассудки». Уж он-то знал, что бахвальство презрением к моральным устоям есть не что иное, как переодетый снобизм, предрассудок навыворот. Он обычно избирал простейшие этические пути (точно так же, как самые трудные эстетические) просто потому, что они же были и кратчайшими; в повседневной жизни он был слишком ленив (как одержим трудолюбием в писательской), чтобы погружаться в заботы, преодолевающие прочих.

Клэр было двадцать два года, когда она познакомилась с Себастьяном. Отца она не помнила; отчим после смерти ее матери женился снова, и то отдаленное представление о семье, какое воплощала для нее получившаяся чета, было сродни ветхому софизму о новом лезвии на новой рукоятке{49}, – да и была ли надежда – по крайней мере, по сю сторону Вечности – найти и снова соединить изначальные части? В Лондоне она жила одна, без усердия посещая художественную школу и изучая – кто бы мог подумать – восточные языки. Людям она нравилась, незаметно располагая к себе нежной приглушенностью черт и негромким, с хрипотцой голосом – незабываемыми, словно она наделена неким таинственным даром – запоминаться: она была мнемогенична, хорошо выходила в памяти. Даже ее великоватые, с заметными костяшками руки, и те по-своему были прелестны; танцевать с ней, молчаливой и невесомой, было одно удовольствие. Важнее, однако, что она была из тех весьма и весьма редких женщин, которые не принимают мир как нечто само собой разумеющееся, а повседневности не отводят привычной роли зеркала их собственного женского естества. Она обладала воображением, этим особым мускулом души, – воображением необычным, почти мужским. Было у нее и несомненное чувство красоты, которое обнаруживается не столько в связи с искусством, сколько в готовности, например, увидеть над сковородкой нимб или разглядеть сходство плакучей ивы со скайтерьером. Наконец, она была одарена обостренным чувством юмора. Неудивительно, что она так хорошо вписалась в его жизнь.

Уже в первый год их знакомства они проводили вместе уйму времени. Осенью она гостила в Париже, где, подозреваю, он навестил ее не один раз. К тому времени его первая книга уже была закончена. Клэр научилась печатать на машинке, и множество летних вечеров двадцать четвертого обратились для нее в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных или лиловых буквах. Вижу, как она стучит по блестящим клавишам взапуски с теплым дождем, шумящим в темных вязах за распахнутыми окнами, а голос Себастьяна, медленный и серьезный («Он не просто диктовал, – сказала мисс Прэтт, – он священнодействовал»), разгуливает по комнате. Большую часть дня он проводил за писанием, но продвижение было столь трудным, что к вечеру редко бывало готово для перепечатки больше двух страниц, но и этим было не избежать переделок, потому что Себастьян имел еще обыкновение пускаться в разгул исправлений; а иногда делал то, чего, смею думать, не сделал бы ни один писатель, – переписывал своим косым неанглийским почерком отпечатанную страницу и диктовал ее наново. Война его со словами была необыкновенно жестока по двум причинам. Первая, общая для писателей его склада, связана с наведением мостов над пропастью, разделяющей мысль и выражение; исступляющая уверенность, что нужные слова, единственные слова ждут в туманном отдалении на другом берегу, а еще неодетая мысль, громко зывающая к ним через бездну, бьется, дрожа, на этом. Магазины готовых фраз были не для Себастьяна, ибо детища его ума отличались диковинным сложением, а кроме

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru того, он знал, что подлинную мысль вне пригнанных по мерке слов нельзя признать существующей. А значит, пользуясь более точным сравнением, мысль, казавшаяся обнаженной, просто требовала, чтобы стали зримыми ее одежды, неразличимые же издали слова вовсе не были пустыми скорлупками, а только и ждали, чтобы скрытая в них мысль их воспламенила и привела в движение. Порой он ощущал себя ребенком, которому дали спутанный пучок проводов, приказав сотворить чудо иллюминации. И он творил его, часто сам не понимая, как это у него выходит, а бывало, часами терзал провода самым, казалось бы, целенаправленным образом, и все безрезультатно. И Клэр, в жизни не сочинившая ни одной поэтической или прозаической строчки, так хорошо видела (и в этом состоял ее персональный феномен) все перипетии Себастьяновых борений, что выходившие из машинки его слова были для нее не столько носителями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, провалы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь на ощупь вдоль некоей идеальной линии выражения.

Но это еще не все. Так же несомненно, как то, что мы дети одного отца, я знаю, что русским Себастьян владел гораздо лучше и естественнее, чем английским. Я готов поверить, что, пять лет не говорив по-русски, он заставил себя думать, будто забыл этот язык. Но ведь язык живучая тварь, от него просто так не отделаешься. А еще надо помнить, что всего за пять лет до своей первой книги – то есть в пору отъезда из России – его английский был не богаче моего. Годы спустя, за границей, я свои познания усовершенствовал путем упорного ученичества, он же постарался, чтобы его английский расцвел в естественном окружении. Расцвел он на диво, однако, начни он писать по-русски, я уверен, он не знал бы этих родовых лингвистических мук. Хочу добавить: у меня хранится письмо, написанное им незадолго до смерти, и каких бы чудес выразительности ни достигал он в своих книгах, его английский нигде не поднимается до чистоты и изысканности этого краткого русского письма.

А еще я знаю, что Клэр, печатая под его диктовку слова, которые он высвобождал из рукописного хаоса, порой вдруг останавливалась, поднимала, чуть хмурясь, верхушку плененного листа и говорила, перечитав строчку:

– Нет, милый, так по-английски не говорят.

Он секунду-другую на нее глядел, потом возобновлял свое хождение взад и вперед, думая с неудовольствием о ее замечании, пока она кротко ждала, опустив на колени нежные руки.

– Иначе это не выразить, – бормотал он наконец.

– А если, например... – говорила она – и предлагала точное решение.

– Ладно, как хочешь, – отвечал он обычно.

– Я не настаиваю, милый. Как тебе угодно. Если ты считаешь, что можно нарушить грамматику...

– Ладно, – рявкал он, – ты совершенно права. Вперед, вперед...

К ноябрю двадцать четвертого года «Призматическая оправка» была окончена. В марте следующего она вышла в свет и полностью провалилась. Проглядев газеты того времени, я нашел всего одно упоминание этой вещи – пять с половиной строчек в воскресном выпуске среди сообщений о других новинках: «„Призматическая оправка“, очевидно, первая книга писателя и, как таковая, не должна быть судима столь же строго, как (назван чей-то упоминавшийся выше роман). Юмор ее для меня остался темен, а темноты – уморительны, но, может быть, я просто не улавливаю прелесть сочинений такого рода. Впрочем, ради читателей, которым такие вещи нравятся, могу добавить, что г-н Найт такой же мастер излишних тонкостей, как и излишних запятых».

Это была, вероятно, самая счастливая весна в жизни Себастьяна. Он освободился от одной книги и чувствовал уже биение следующей. Он был совершенно здоров. У него была чудесная подруга. Его больше не донимали мелкие заботы, прежде регулярно его осаждавшие с упорством орды муравьев, заполнивших гасиенду. Клэр отправляла его письма, проверяла белье из прачечной, следила, чтобы у него не переводились лезвия, табак и соленый миндаль (его особая слабость). Он любил с ней где-нибудь пообедать, а потом отправиться в театр. От пьесы он потом почти неизменно стонал

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru и корчился, хотя анатомирование банальностей доставляло ему некую болезненную усладу. Стоило ему высмотреть какой-нибудь бедный трюизм, как выражение алчности, злорадного азарта тотчас округляло его ноздри, зубы скрежетали в пароксизме отвращения. Мисс Прэтт припомнила случай, когда ее отец, одно время имевший финансовые интересы в кинематографическом производстве, пригласил Себастьяна и Клэр на приватный просмотр одной фильма, дорогой и весьма пышной. Главную роль исполнял редкостный красавец в роскошном тюрбане, да и сюжет был закручен на славу. В миг наивысшего напряжения Себастьяна, к крайнему удивлению и раздражению господина Прэтта, начал разбирать смех, а Клэр, тоже давась от хохота, тщетно тянула его за рукав, пытаясь остановить. Наверное, им было очень хорошо друг с другом. Трудно поверить, что нежность, теплота и прелесть их отношений не сберегается где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни. Их можно было видеть бродящими по Кью-Гарденз{50} или Ричмонд-парку{51} (сам я не был ни там ни там, но мне приятны их названия) или уплетающими яичницу с ветчиной в какой-нибудь славной таверне в пору их летних сельских блужданий, или – вот они за чтением, на просторном диване в Себастьяновом кабинете; весело горит камин, и английское Рождество уже наполняет воздух слабыми ароматами пряностей на подкладке лаванды и кожи. И можно было, наверное, подслушать, как Себастьян рассказывает ей об удивительных вещах, которые он непременно изобразит в следующей книге под названием «Успех».

Как-то раз летом двадцать шестого года Себастьян, выжатый и вымотанный сражением с одной особенно непокорной главой, решил, что не худо бы месяц отдохнуть за границей; Клэр, которую дела держали в Лондоне, сказала, что присоединится к нему через неделю-другую. Когда она наконец приехала на морской курорт в Германии, на котором Себастьян остановил свой выбор, в гостинице ей неожиданно объявили, что он уехал, куда – неизвестно, но должен через дня два вернуться. Это озадачило Клэр, хотя, как она потом говорила мисс Прэтт, чрезмерной тревоги не вызвало. Представим себе высокую худощавую фигуру в синем макинтоше (погода хмурая и неприветливая), бесцельно бредущую по променаду, песчаный берег пуст, если не считать нескольких неунывающих мальчишек, трехцветный флаг скорбно полощется под выдыхающимся бризом, и серо-стальное море там и здесь вскипает султанами пены. Дальше по берегу тянулся буковый лес, густой, без просветов, без всякого подлеска – за вычетом вьюнка, заткавшего неровную коричневую землю, и странная коричневая тишина была выжидательно разлита среди прямых и гладких стволов. Клэр подумала, что в сухих листьях овражка вот-вот увидит немецкого гнома в красной шапке, весело глядящего на нее. Она извлекла купальные принадлежности и провела приятный, хоть и немного вялый день, лежа на мягком белом песке. Наутро снова пошел дождь, и она до обеда оставалась в своей комнате, читая Донна{52}, с тех пор для нее неотделимого от сырого бледно-серого туманного дня и от хныканья ребенка, которого не пускали играть в коридор. И вот появился Себастьян. Он явно ей обрадовался, но что-то было в его поведении не до конца естественное. С нервным и встревоженным видом он отворачивался, когда она пыталась поймать его взгляд. Он сказал, что встретил человека, которого давным-давно знал в России, и они отправились на его машине – он назвал место в нескольких милях по побережью.

– Так что же все-таки, милый, стряслось? – спросила она, всматриваясь в его мрачное лицо.

– Да ничего! – сварливо закричал он. – Просто я не могу сидеть без дела, я хочу вернуться к работе, – добавил он и отвернулся.

– Не уверена, что ты говоришь правду, – сказала она.

Он пожал плечами и ребром ладони прошелся по вмятине шляпы, которую держал в руке.

– Ладно, – сказал он, – давай позавтракаем и сразу едем в Лондон.

Но удобного поезда не было до вечера. Погода прояснилась, и они вышли прогуляться. Себастьян раз-другой попытался, по своему обыкновению, дурачиться, но веселье как-то выдохлось, и они умолкли. Они дошли до букового леса. Там витал тот же дух тревожного таинственного ожидания, и, хотя она промолчала, что была здесь накануне, он заметил:

– Что за странная здесь тишина. Жутковато, правда? Так и кажется, что в этих вьюнках и сухих листьях прячутся эльфы.

– Послушай, Себастьян, – воскликнула она вдруг, кладя ему руки на плечи. – Я хочу знать, что случилось. Может, ты меня разлюбил. Это так?

– Глупости, дорогая, – отвечал он чистосердечно, – но, наверное, ты должна это знать... как видно, я плохой обманщик, и лучше, пожалуй, тебе знать. Дело в том, что у меня тут приключилась ужасная боль в груди и предплечье, вот я и решил съездить в Берлин к врачу. А он уложил меня в постель... Насколько серьезно?.. Надеюсь, не очень. Мы с ним поговорили о коронарных артериях, кровоснабжении и синусах Вальсальвы{53}. По-моему, он – сведущий старикашка. В Лондоне пойду к другому врачу, послушаю другое мнение. Между прочим, сейчас я чувствую себя хоть куда...

Думаю, Себастьян уже знал, что у него за сердечная болезнь. Мать его умерла от того же недуга, довольно редкой разновидности грудной жабы, которую некоторые врачи называют болезнью Лемана{54}. Похоже, однако, что после первого приступа он получил целый год передышки, хотя время от времени испытывал словно бы болезненный зуд внутри левого предплечья.

Он снова засел за работу и всю осень, весну и зиму упорно трудился. «Успех» шел еще труднее, чем первый роман, и занял гораздо больше времени, хотя обе книги примерно одного объема. Удача мне улыбнулась – я располагаю свидетельством из первых рук о дне, когда «Успех» был окончен. Им я обязан лицу, с которым познакомился позже, – кстати, многие набросанные в этой главе картины родились из сопоставления рассказов мисс Прэтт с тем, что говорил этот человек, хотя искра, все это воспламенившая, каким-то загадочным образом вспыхнула в тот миг, когда я увидел Клэр, тяжело бредущую по лондонской улице.

Распахивается дверь, являя Себастьяна Найта, расprostертого на полу в своем кабинете. Клэр складывает на столе аккуратную кипу отпечатанных страниц. Вошедший оторопело останавливается.

– Да нет, Лесли, – с пола говорит Себастьян. – Я еще живой. Я закончил сотворение мира, – это мой субботний отдых.

#### Глава десятая

«Призматическая оправа» была по достоинству оценена только после того, как первый настоящий успех Себастьяна побудил другое издательство («Бронсон») выпустить заново этот роман, но даже тогда он расходился хуже, чем «Успех» или «Стол находок». Для дебюта он примечателен незаурядностью художественной воли и писательского самообладания. Чтобы взлетать в высшие сферы серьезных чувств, Себастьян, по своему обыкновению, пользуется пародией, как подкидной доской. Дж. Л. Коулман называет его «не то клоуном, у которого вдруг вырастают крылья, не то ангелом, который прикинулся почтовым голубем», – эти метафоры, по-моему, вполне уместны. «Призматическая оправа» взмывает, отталкиваясь от тонко пародируемых штампов литературной кухни. С ненавистью, достойной фанатика, Себастьян Найт вечно выискивал отжившие приемы, когда-то сиявшие и поражавшие свежестью, а теперь затертые до дыр, – подновленную и загримированную под жизнь мертвечину, которую по-прежнему готовы поглощать ленивые умы в блаженном неведении обмана. Прием не первой свежести сам по себе мог быть вполне невинным, и многие, конечно, скажут, что невелик грех – снова и снова использовать вконец изношенный сюжет или стиль, если они кого-то развлекают и радуют. В глазах Себастьяна, однако, даже совершеннейший пустяк вроде отработанного способа построения детективной повести был равнозначен распухшему зловонному трупу. Он ничего не имел против грошовых боевиков – обывательская мораль его не заботила, но что его всегда бесило, так это второй сорт – не третий и не двадцать третий, ибо именно тут, на еще «приличном» уровне, и начинался подлог, для художника аморальный. При этом «Призматическая оправа» – не просто уморительная пародия на привычный набор детективных трюков, это еще и злая имитация множества других литературных обрядов – например, модного фокуса, который Себастьян со своим обостренным чутьем на тайную гнильцу подметил в современном романе: суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве{55} (гостиница, остров, улица). По ходу книги пародируются, кроме того, разные манеры письма, а также проблема стыка повествования с прямой речью, с которой изящное перо расправляется, находя столько вариантов формулы «сказал он», сколько их есть в словаре между «ахнул» и «язвительно добавил». Но автору, повторяю, все эти тихие забавы служат просто трамплином.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Двенадцать человек живут в пансионе. Сам дом описан очень старательно, но, дабы усилить мотив острова, город за пределами пансиона дан мимоходом – это что-то вроде коктейля, где натуральный туман слит с предварительно приготовленной смесью сценических декораций и кошмарного сна торговца недвижимостью. Сам автор дает понять (косвенно), что его приемы сродни кинематографическим, когда героиня фильма показана в свои баснословные школьные года во всем блистательном отличии от толпы своих простеньких, вполне реалистичных однокашниц. Один из жильцов, некто Г. Эбсон, торговец антиквариатом, найден убитым в своей комнате. Местный полицейский – описаны только его сапоги – звонит лондонскому сыщику и просит немедленно приехать. Из-за стечения обстоятельств (автомобиль, на котором он мчится, сбивает старушку, после чего он садится не в тот поезд) сыщик сильно задерживается. Тем временем ведется тщательный допрос обитателей пансиона, а также случайного лица, старика Носбэга, который, когда преступление открылось, как раз случился в вестибюле. Все они, кроме последнего из упомянутых – кроткого белобородого старца, приметного желтизной вокруг рта и безобидной страстью коллекционировать табакерки, – более или менее под подозрением, особенно скользкий студент – историк искусства, под чьей кроватью находят полдюжины перепачканных кровью носовых платков. Между прочим, ради простоты и «густоты» действия автор ни словом не упоминает гостиничную прислугу, и никому нет дела до ее несуществования. Тут происходит небольшой плавный толчок, и что-то в повествовании начинает сдвигаться (напомним, что сыщик все еще в пути, а на ковре лежит коченеющий труп Г. Эбсона). Постепенно выясняется, что все постояльцы так или иначе друг с другом связаны. Старая дама из третьего номера оказывается матерью скрипача из одиннадцатого. Романист, занимающий комнату на фасадной стороне, – в действительности муж молодой особы из комнаты на третьем этаже окнами во двор, а скользкий студент-искусствовед – ее брат. Обнаруживается, что импозантный круглолицый господин, такой со всеми учтивый, – дворецкий привередливого старика-полковника, который сам не кто иной, как отец скрипача. Следующая стадия переплавки: студент помолвлен с маленькой толстушкой из пятого номера, дочерью старой дамы от предыдущего брака. И когда выясняется, что спортсмен, чемпион по теннису среди любителей из номера шестого – брат скрипача, романист – их дядя, а старая дама из третьего – жена сварливого полковника, невидимая рука стирает цифры с дверей, и мотив пансиона безболезненно и гладко переходит в мотив загородного дома со всем, что из этого следует. И тут рассказ приобретает некую особую прелесть. Временная перспектива, которая и так уже выглядела комично из-за потерявшегося в ночи сыщика, окончательно сворачивается в клубок и засыпает. С этого момента жизнь персонажей расцветает подлинным человеческим содержанием, а запечатанная дверь ведет теперь не в комнату Г. Эбсона, а в заброшенный чулан. Проклевывается и выходит на свет новый сюжет, совсем другая драма, никак не соединенная с завязкой, отброшенной обратно в царство снов. Однако, едва читатель начинает осваиваться в ободряющей обстановке реального мира и ему кажется уже, что благословенный поток дивной прозы указывает на прекрасные и возвышенные намерения автора, – раздаются нелепый стук в дверь и входит сыщик. Мы опять увязаем в пародийной тине. Сыщик, хитрый малый, злоупотребляет просторечием – как будто нарочно для того, чтобы казаться нарочитым, ибо пародируется не мода на Шерлока Холмса, а сегодняшнее ее неприятие. Возобновляется допрос постояльцев. Намечаются новые нити. Тут же топчется кроткий старина Носбэг – сама безобидность и рассеянность. Он объясняет, что давеча просто зашел узнать, нет ли свободного номера. Похоже, что автор вот-вот прибегнет к старому трюку – злодеем окажется самый на вид безобидный персонаж. Сыщик вдруг проявляет интерес к табакеркам. «Алё, – говорит он, – вы никак по скусству?» С грохотом вваливается красный как рак полицейский и докладывает, что труп исчез. Сыщик: «Это как так – счез?» Полицейский: «Исчез, сэр, в комнате его нет». Минута неловкого молчания. «Мне кажется, – говорит старина Носбэг безмятежным голосом, – я смогу кое-что объяснить». Медленно и аккуратно он снимает бороду, седой парик и темные очки, и перед нами предстает Г. Эбсон. «Видите ли, – говорит мистер Эбсон с виноватой улыбкой, – быть покойником никому неохота».

Я пытался по мере сил хотя бы отчасти приоткрыть пружины этой книги, хотя ее юмор, очарование и убедительность в полной мере можно оценить только при чтении. Однако, к сведению тех, кто запутался в бесконечных метаморфозах или разозлился, столкнувшись с чем-то совершенно новым, а стало быть, несовместимым для них с понятием «хорошая книжка», следует сказать, что каждый ее персонаж, выражаясь весьма приблизительно, – лишь воплощение того или иного писательского приема. Это все равно как если бы художник сказал: «Смотрите, я вам сейчас покажу картину, изображающую не пейзаж, а несколько способов его изображения, я верю, что гармоническое их сочетание заставит вас увидеть пейзаж таким, как я хочу». В

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru своей первой книге Себастьян довел этот опыт до логического и убедительного конца. Доводя разные литературные приемы ad absurdum и затем их один за другим отвергая, он создал свой собственный стиль, в полной мере разработанный им в следующей книге «Успех». Здесь он уже перешел на новый уровень, поднявшись ступенькой выше, ибо если первый его роман имеет дело с приемами, которыми пользуется литература, то второй – с приемами, которыми оперирует судьба. Классифицируя, частично отбрасывая и с научной точностью исследуя огромный материал (писателю доступный благодаря постулату, что недоступных ему сведений о героях нет, ограничители – только характер и цель отбора, чтобы строго систематическое дознание не подменялось свалкой незначущих подробностей), Себастьян на трехстах страницах «Успеха» ведет одно из сложнейших исследований, известных в истории литературы. Мы узнаем, что некий Персиваль К., коммивояжер, в некий момент своей жизни встречается при неких обстоятельствах девушку – ассистентку фокусника, с которой ему суждено вечное счастье. На первый взгляд их встреча случайна: бастуют водители автобусов, и какой-то участливый незнакомец подвозит их обоих на своем автомобиле. Формула найдена: реальное событие, само по себе никакого интереса не представляющее, становится, стоит на него взглянуть под особым углом, источником острого умственного наслаждения. Задача автора – раскрыть эту формулу, и вся сила и волшебство его искусства идут на то, чтобы точно выяснить, каким образом приведены к слиянию две линии жизни, – и книга, таким образом, превращается в блистательную игру с причинно-следственными связями или, если угодно, в некое изучение секретов этиологии случайных событий. Вероятия неограниченны. По нескольким очевидным линиям следствие ведется с переменным успехом. Двигаясь назад, писатель устанавливает, почему забастовку назначили именно на этот день, – выясняется, что все дело в слабости, которую один политик с детства питает к числу девять. Из этого открытия ничего не следует, и данный след брошен (но не ранее, чем мы насладились пылкими профсоюзными спорами). Другой ложный след оставил после себя автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот человек и почему в такой-то момент ехал по такой-то улице, но выясняется, что он уже лет десять ездит по ней на службу в одно и то же время, и мы остаемся ни с чем. Приходится предположить, что внешние обстоятельства встречи не стоит рассматривать просто как примеры хлопот фортуны по устройству двух судеб: сами по себе причинной ценности не имеющие, эти внешние обстоятельства соединяются в некое заданное единство, фокусируются в установленную точку, а раз так, мы с чистой совестью можем наконец заняться вопросом, почему из всех людей на свете были выбраны и на мгновение поставлены рядом на тротуаре именно эти двое – К. и барышня по имени Анна. Некоторое время мы движемся вспять вдоль линии ее судьбы, потом его, сопоставляем данные и снова поочередно изучаем жизнь каждого из них.

Мы узнаем много любопытного. Обе линии, сходящиеся в конце концов в вершине конуса, менее всего похожи на стороны треугольника, прилежно расходящиеся к неведомому основанию, – линии эти извилисты, они то почти соприкасаются, то разбегаются прочь. Иначе говоря, в жизни этих двоих было не менее двух случаев, когда они едва разминулись, ничего об этом не ведая. Оба раза судьба, как видим, с предельным усердием готовила им встречу – шлифовала возможные варианты, перекрывала выходы и подновляла указатели, скольльзящим движением обхватывала раструб сачка с бьющимися внутри бабочками, – каждая мелочь рассчитана, ничто не оставлено на волю случая. Разоблачение всех этих тайных приготовлений восхищает – чтобы не упустить такое богатство мест и обстоятельств, автору надо быть многоочитым, как Аргус. Но всякий раз ничтожная ошибка – пробегающая трещинка, чья-то своевольная прихоть, преграда, отсекающая неучтенный шанс, – отравляет удовольствие детерминисту, и обе жизни с возрастающим ускорением расходятся снова. Так Персиваль К., которого в последнюю минуту жалит в губу пчела, из-за этого не попадает на вечеринку, куда судьба, преодолев бесчисленные препятствия, доставляет Анну; так и Анну, некстати выказавшую строптивость, не берут на старательно приготовленную для нее должность в столе находок, где уже служит брат К. Но судьба слишком упряма, чтобы ее могли сломить неудачи, – она добивается наконец успеха, и добивается путем козней столь тонких, что окончательное соединение происходит без малейшего щелчка.

Я не буду дальше вдаваться в детали этой восхитительной и умной книги – самой известной из всего написанного Себастьяном Найтом, хотя позднейшие три романа ее во многом превосходят. Как и в случае с «Призматической оправой», единственная моя цель здесь – рассказать о ее механизмах, даже если это идет в ущерб представлению о том, как книга эта хороша помимо всех ухищрений, хороша сама по себе. Добавлю, что в ней есть место, странном образом настолько связанное с внутренней жизнью Себастьяна в период, когда он заканчивал последние главы, что

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru его стоит выписать хотя бы для контраста с наблюдениями, которые говорят скорее об извивах мысли писателя, чем об эмоциональной стороне его дара.

«Проводив ее, как обычно, до дому, Ив (первый жених Анны, чудаковатый и немного женственный, впоследствии ее бросивший) слегка прижался к ней в темноте подъезда. Вдруг она поняла, что у него мокрое лицо. Он прикрыл его ладонью и стал искать в кармане платок. „Дождик в раю, – проговорил он, – счастье луковое... стал волей-неволей бедный Ив плакучей ивою“. Он поцеловал ее в уголок рта, потом высморкался с негромким хлопаящим звуком. „Взрослые не плачут“, – сказала Анна. „А я и не взрослый, – всхлипнув, ответил он, – вот и луна как дитя дурачится, и мокрая мостовая дурачится, а любовь – вообще малютка, мед сосет...“ – „Перестань, пожалуйста, – сказала она. – Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты заводишь такие разговоры. Это так по-дурачки наивно, так...“ – „-ивно“, – вздохнул он. Он снова ее поцеловал, и некоторое время они стояли, словно расплывающаяся в темноте статуя о двух туманных головах. Прошел полицейский, ведя на поводке ночь, дал ей обнюхать почтовую тумбу. „Я не меньше тебя счастлива, – сказала она, – но я же не плачу и не говорю глупостей“. – „Но разве ты не понимаешь, – прошептал он, – что счастье – это в лучшем случае пересмешник собственной смерти?“ – „Спокойной ночи“, – сказала Анна, ускользая из его объятий. „Завтра в восемь“, – крикнул он ей вслед. Он ласково погладил дверь и вышел на улицу. „Красивая, нежная, – бормотал он в раздумье, – я ее люблю, но что толку, если мы все равно умрем. Этого сползания обратно в прошлое мне не вынести. Наш последний поцелуй уже умер, а „Женщина в белом“ {57} (фильма, на которую они ходили в тот вечер) вообще окоченела, и полицейский, что мимо шел, тоже умер, и дверь до гвоздей мертва. И эта мысль успела почтить. Прав Коутс (доктор), что у меня слишком маленькое сердце для моего веса. И моего беса“. Он продолжал брести, разговаривая сам с собой, а тень его, огибая фонарный столб, то вытягивалась, то приседала в реверансе. Дойдя до своего унылого пансиона, он долго взбирался по темной лестнице. Прежде чем лечь спать, он постучался к фокуснику. Старичок стоял в одном исподнем, внимательно разглядывая пару черных брюк. „Ну как?“ – спросил Ив. „Не нравится им, вишь, мой выговор, – отвечал тот, – да, думаю, небось все одно они мой номер в программу вставят“. Ив присел на кровать. „Вам бы волосы покрасить“, – сказал он. „Не такой я седой, как лысый“, – отвечал фокусник. „Я вот иногда думаю, – сказал Ив, – куда деваются волосы, когда выпадают, ногти и все остальное – ведь где-то они должны существовать?“ – „Опять выпимши“, – предположил фокусник без особого интереса. Он аккуратно сложил брюки и согнал Ива с кровати, чтобы расстелить их под матрацем. Ив пересел на стул. На икрах у фокусника топорщились волоски; поджав губы, он ласковыми движениями легких рук укладывал брюки. „Просто я счастлив“, – сказал Ив. „Непохоже“, – хмуро заметил старикан. „Можно я вам кролика куплю?“ – спросил Ив. „Напрокат возьму, коли надобно будет“, – ответил тот, протягивая „коли надобно“, как бесконечную ленту. „Смешная профессия, – сказал Ив, – весь этот шурум-бурум как у спятившего карманника. Что побирушка с шапкой медяков, что ваш цилиндр с глазуньей. Одинаково до глупости“. – „К оскорблениям мы привычные“, – сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Ив выбрался ощупью. Книги на кровати в его комнате, кажется, не желали сдвигаться с места. Раздеваясь, он представил себе залитую солнцем прачечную: пунцовые запястья, выныривающие из голубой воды, – блаженное, запретное виденье. А может, он попросит Анну выстирать ему рубашку? А он в самом деле опять ее рассердил? А она в самом деле верит, что они когда-нибудь поженятся? Невинные глаза, под ними бледные мелкие веснушечки на блестящей коже. Правый передний зуб чуть выдается вперед. Нежная теплая шея. Он снова почувствовал прилив слез. Будет ли с ней то же, что с Майей, Юной, Юлией, Августой и прочими его романами, от которых не осталось и угольков? Он слышал, как танцовщица в соседней комнате запирает дверь, умывается, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то со звоном упало. Захрапел фокусник».

#### Глава одиннадцатая

Я быстро приближаюсь к поворотному пункту внутренней жизни Себастьяна, и, когда готовая часть работы видится мне в тусклых отблесках еще предстоящего труда, делается не по себе. Удалось ли мне до сих пор сохранять в рассказе о жизни Себастьяна обещанную мной беспристрастность, удастся ли мне это в заключительной части? Изнуряющая борьба с чужим языком и полное отсутствие литературного опыта не располагают к особой самоуверенности, но даже если я в предыдущих главах со своей задачей не справился, я все равно полон решимости продолжать, тайно уверенный, что тень самого Себастьяна каким-то особым, ненавязчивым образом пытается мне помочь.

Я получал, однако, и более явную помощь. Поэт П. Дж. Шелдон, который между 1927

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru и 1930 годами часто виделся с Клэр и Себастьяном и которого я навестил вскоре после своей странной полувстречи с Клэр, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно. Он же спустя два-три месяца, когда я уже приступил к этой книге, поведал мне о судьбе бедняжки. Как случилось, что ее, молодую и на вид здоровую женщину, подстерегала смерть от кровотечения у пустой колыбели? Он рассказал, в каком она была восторге, когда роман «Успех» оправдал свое название, – успех был на этот раз настоящий. Всегда будет загадкой, почему одна прекрасная книга получает заслуженные лавры, а другая, не менее прекрасная, проваливается. Как и с первым своим романом, Себастьян пальцем не шевельнул, чтобы потянуть за нити, которые обеспечили бы «Успеху» и приветственные крики, и бурные рукоплескания. Когда бюро газетных вырезок начало осыпать его образчиками хвалы, он не только на них не подписался, но не стал рассылать и благодарственных писем доброжелательным критикам. Себастьян находил неуместным и даже оскорбительным выражать признательность тому, кто отзывается о книге, выполняя свой долг, и тем подмешивать к охлаждающей невозмутимости беспристрастного суда тепловатую «человечность» отношений. Более того, единожды начав, он вынужден был бы уже благодарить и благодарить за всякую строчку, чтобы не обидеть критика внезапной забывчивостью, и эта влажная расслабляющая теплота привела бы в конце концов к тому, что, несмотря на всем известную честность того или иного критика, благодарный автор никогда, никогда уже полностью не был бы уверен, что в тот или иной отзыв не прокралась на цыпочках личная симпатия.

Слава в наше время слишком обычное явление, чтобы спутать ее с ореолом, не меркнувшим вокруг настоящей книги. Но в чем бы она ни проявлялась, Клэр хотела наслаждаться ею. Ей хотелось видеться с людьми, хотевшими видеть Себастьяна, – он с ними видеться решительно не хотел. Ей хотелось слышать, как люди обсуждают «Успех», – Себастьян заявлял, что его эта книга больше не интересует. Ей хотелось, чтобы Себастьян вступил в какой-нибудь литературный клуб и общался с другими писателями, – Себастьян раз или два влезал в накрахмаленную рубашку, чтобы потом ее скинуть, так и не проронив ни единого слова на обеде, устроенном в его честь. Он неважно себя чувствовал. Он плохо спал. На него находили безумные припадки гнева – для Клэр это было новостью. Как-то раз, когда он работал в своем кабинете над «Потешной горой», пытаясь не сойти с крутой и скользкой тропинки, вьющейся меж темных утесов невралгической боли, вошла Клэр и самым кротким голосом спросила, готов ли он принять посетителя.

– Нет, – ответил Себастьян, скалясь над только что написанным словом.

– Но ты сам ему назначил в пять и...

– Ну, ты своего добилась!.. – взревел Себастьян, швыряя вечное перо в потрясенную белизну стены. – Дай ты мне поработать спокойно! – загремел он с такой силой, что П. Дж. Шелдон, игравший перед этим в шахматы с Клэр в соседней комнате, поднялся со своего места и прикрыл дверь в гостиную, где скромно дождался маленький смирный человечек.

Порой на него накатывали приступы безудержной проказливости. Однажды, когда у них с Клэр обедали двое друзей, он придумал, как они потрясающе разыграют приятеля, с которым им предстояло встретиться после обеда. В чем заключался розыгрыш, Шелдон странным образом позабыл, он помнил только, что Себастьян хохотал и вертелся на каблуке, ударяя кулаком о кулак – жест, означающий, что он действительно развеселился. Все были страшно увлечены затеей, совсем было уже собрались ехать, Клэр вызвала таксомотор и с сумочкой наготове стояла в своих сверкающих серебряных туфельках – как вдруг оказалось, что Себастьяна все этонисколько больше не интересует. Он поскуучнел, стал зевать, почти не открывая рта, что пренеприятно, и наконец сказал, что выйдет погулять с собакой, а потом ляжет спать. У него тогда был маленький черный бультерьер – он потом заболел, и пришлось его усыпить.

Окончена была «Потешная гора», за нею – «Альбиносы в черном», наконец, третья и последняя его повесть – «Обратная сторона луны». Вы, конечно, помните прелестного героя этого рассказа – маленького смирного человечка, который, пока ждал поезда, тремя разными способами спас трех заблудившихся путешественников. Кстати, мистер Зиллер – самый, может быть, живой из всех героев Себастьяна, завершает «тему расследования», о которой я говорил в связи с «Призматической оправой» и «Успехом», – будто некая идея, постепенно прораставшая сквозь два романа, вдруг воплотилась в физическое бытие, и вот, мистер Зиллер склоняется перед нами в поклоне – каждая черточка его манер и внешности неповторима и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru осязаема: кустистые брови и умеренные усы, мягкий воротничок и кадык, который «ворочается, словно соглядатай за шпалерой{58}», карие глаза и винного цвета вены на большом крепком носу – «глядя на него, горбатый задумается, на месте ли его горб»; скромный черный галстук и старый зонт («утка в глубоком трауре»); густые заросли в ноздрях и – дивный сюрприз: само сияющее совершенство открывается нам, когда он снимает шляпу. Но чем лучше Себастьян писал, тем хуже себя чувствовал, особенно при перерывах в работе. Шелдон считает, что мир, созданный Себастьяном несколько лет спустя в последней книге («Двусмысленный асфодель»), уже отбрасывал тени на все, что его окружало, и хитрые искусители, что скрывались за яркими масками его романов и повестей, завлекая все новыми авантюрами творчества, неуклонно вели его к роковой, единственной цели. Клэр он, казалось, любил не меньше, чем прежде, но, как следствие все более овладевавшего им острого ощущения смертности, их отношения выглядели более хрупкими, чем на самом деле. Сама же Клэр, добрая, невинная душа, безмятежно блаженствовавшая в уютном, но Себастьяном давным-давно покинутом уголке его жизни, теперь, безнадежно отстав, никак не могла решить, догонять ли его или пытаться позвать обратно. Вечно занятая то литературными делами Себастьяна, то присмотром за его обиходом, она, хоть и чувствовала, что завелась червоточина и что с жизнью его воображения связь терять опасно, тем не менее успокаивала себя, вероятно, мыслями, что шероховатости эти временные и «все как-нибудь образуется». Их интимных отношений я, естественно, касаться не могу, во-первых, потому, что смешно обсуждать то, что доподлинно никому не известно, во-вторых, оттого, что само вульгарно присвистывающее слово «секс» (и это конечное «кс, кс, киска») кажется мне до того оглуляющим, что я начинаю сомневаться, имеет ли это слово вообще какой-нибудь смысл. Уверен, что отводить «сексу» почетное место, пытаюсь разобраться в душе человека, или, того хуже, раздуть «половой вопрос» (если таковой существует), через него объясняя «все прочее», – не что иное, как грубая логическая ошибка. «Накатывающая на берег волна не расскажет про все море с его луной и змием в пучинах, хотя вода – это и лужица в выемке скалы, и голубая дорога в Поднебесную, вся в алмазной ряби» («Обратная сторона луны»).

«Телесная любовь лишь способ выразить то же самое иначе, а не какая-то там особая сексофонная нота, – стоит, мол, ее услышать, и полдуши отзовется эхом» («Стол находок», с. 82). «Все сущее образует единый строй, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи – что бы эта последняя собой ни представляла. Реально одно лишь число – единица, прочие – ее повторы» (там же, с. 83). Если бы я даже узнал из какого-то надежного источника, что Клэр как любовница не совсем устраивала Себастьяна, мне все равно бы не пришло в голову этим объяснять его общее лихорадочно-нервное состояние. Не удовлетворенный всем на свете, он мог быть не удовлетворен и какими-то оттенками их романа. Заметьте, что слово «неудовлетворенность» я употребляю в расширительном смысле – состояние духа Себастьяна той поры никак не сводилось к Weltschmerz[19] или к простой хандре. Понять это состояние можно только через его последнюю книгу «Двусмысленный асфодель» – тогда она была еще дальней дымкой на горизонте, вот-вот она прорежется береговой линией. В 1929 году известный кардиолог, доктор Оутс, посоветовал Себастьяну месяц провести в эльзасском городке Блауберге, так как применявшееся там лечение не раз помогало в сходных случаях. Молчаливо было принято, что поедет он один. Перед его отъездом мисс Прэтт, Шелдон, Клэр и Себастьян пили чай у него дома, он был разговорчив и весел и все поддразнивал Клэр, уронившую в его вещи, которые она укладывала при его суматошном участии, свой скомканный носовой платок. Потом он отодвинул манжету Шелдона (часов он не носил никогда), глянул на циферблат и вдруг зашпешил, хотя до поезда оставалось еще около часа. Зная, что он этого не любит, Клэр и не заикнулась о том, чтобы проводить его на вокзал. Он поцеловал ее в висок. Шелдон помог ему вынести багаж (не помню, довелось ли мне упоминать, что прислуги, за вычетом изредка мелькавшей поденной уборщицы да официанта, носившего ему еду из соседнего ресторанчика, Себастьян не держал). Оставшись втроем, они несколько минут сидели молча.

Внезапно Клэр опустила чайник на стол со словами:

- Раз мой платок решил с ним ехать, надо мне, я думаю, этот намек принять на свой счет.
- Что за глупости, – сказал мистер Шелдон.
- Почему нет? – отозвалась она.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Если речь о том, чтобы поспеть на этот поезд... – начала мисс Прэтт.

– Почему нет, – повторила Клэр. – У меня еще сорок минут. Забегу к себе, что-нибудь захвачу, и на таксомоторе...

Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, никому не известно, но примерно через час она позвонила Шелдону, который уже вернулся домой, и с довольно жалким смешком сказала, что Себастьян не позволил ей даже постоять на платформе до отхода поезда. Я так и вижу, как она подъезжает к вокзалу со своим чемоданчиком, губы готовы раздвинуться в юмористической улыбке, туманный взгляд скользит по окнам вагонов, ища его и вот обнаружив – а может, он первый ее увидел... «Привет, вот и я», – наверное, сказала она безмятежно, капельку чересчур безмятежно...

Через несколько дней он ей написал, что место ему нравится и чувствует он себя отлично. Потом наступило молчание, и лишь в ответ на обеспокоенную телеграмму Клэр пришла открытка с известием, что он решил сократить пребывание в Блауберге и на обратном пути задержится на неделю в Париже.

К концу упомянутой недели он мне позвонил, и мы ужинали в русском ресторане. Шел 1929 год, а в последний раз мы виделись в 1924-м. Выглядел он больным и измученным и был так бледен, что казался небритым, хотя только что побывал у парикмахера. Понизе затылка у него был фурункул, заклеенный розовым пластырем.

Он порасспросил меня немного о моей жизни, и вскоре мы оба почувствовали, что разговора не получается. Я осведомился, что случилось со славной девушкой, с которой он был в прошлый раз. «Девушкой? – переспросил он. – А, Клэр. С ней все в порядке. Мы вроде как бы женаты».

– Выглядишь ты неважно, – сказал я.

– Неважно так неважно. Пельмени есть будешь?

– Ты еще помнишь, что это такое?

– А почему бы мне не помнить? – сухо отозвался он.

Несколько минут мы ели в молчании. Принесли кофе.

– Как, ты сказал, называется это место? Блауберг?

– Блауберг.

– Там неплохо?

– Смотря, что считать «неплохо», – ответил он, напряжением мышц подавляя зевоту.

– Извини, – добавил он, – постараюсь отоспаться в поезде.

Он вдруг отодвинул мою манжету, чтобы взглянуть на часы.

– Половина девятого, – сказал я.

– Мне надо телефонировать, – пробормотал он и с салфеткой в руке зашагал через зал. Когда он минут через пять вернулся, салфетка наполовину свисала у него из кармана пиджака. Я извлек ее.

– Послушай, – он сказал, – мне ужасно жаль, но я должен идти. Совсем забыл, что у меня встреча.

«Меня всегда огорчало, – пишет Себастьян Найт в „Столе находок“, – что в ресторане люди не обращают внимания на живые мистери, разыгрываемые теми, кто подает им еду, принимает у них пальто и распахивает перед ними двери. Как-то раз я напомнил одному коммерсанту, с которым мы завтракали несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, была вата в ушах. Это его озадачило, он сказал, что никакой женщины не приметил... Человек, которому некогда разглядеть в спешке, что у шофера такси заячья губа, по мне, страдает одержимостью. Мне начинает казаться, что я окружен безумцами и слепцами, когда до меня доходит, что изо всей толпы лишь я один вижу: девушка, разносящая шоколад, чуть-чуть,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru совсем чуть-чуть, прихрамывает».

Мы вышли из ресторана и направились к стоянке таксомоторов. Старик со слезящимися глазами, раздававший какие-то печатные объявления, лизнув палец, протянул один такой листок не то Себастьяну, не то мне, не то нам обоим. Ни он, ни я этому призыву не вняли – два угрюмых мечтателя прошли мимо, не повернув головы.

– Ну, до свидания, – сказал я Себастьяну, подзывавшему мотор.

– Приезжай ко мне в Лондон как-нибудь, – сказал он и обернулся. – Подожди-ка, – добавил он, – так не годится. Я убогого обидел. – Он вернулся, держа в руке афишку, которую внимательно проглядел, прежде чем выбросить.

– Тебя подвезти? – спросил он.

Мне показалось, что ему до смерти надо от меня избавиться. «Нет, спасибо», – ответил я. Адреса я не расслышал – помню только, что он приказал шоферу ехать быстрее.

Когда он вернулся в Лондон... Увы, нить повествования рвется – я вынужден просить других людей связать ее концы.

Сразу ли Клэр поняла, что что-то случилось? Сразу ли она заподозрила, что именно? Стоит ли гадать, что она сказала Себастьяну, и что сказал он, и что она ему на это ответила? Думаю, не стоит... Шелдону, когда он их видел вскоре после приезда Себастьяна, показалось, что держится он как-то странно. Но такое бывало и раньше.

– В конце концов это стало меня тревожить, – рассказывал Шелдон. Однажды он спросил Клэр с глазу на глаз, все ли с Себастьяном благополучно.

– С Себастьяном? – переспросила Клэр с какой-то ужасной заторможенной улыбкой. – Себастьян спятил. Совсем спятил, – повторила она, расширив блеклые глаза, и добавила тихо: – Он перестал со мной разговаривать.

Тогда Шелдон повидал Себастьяна и спросил его, что случилось.

– А вас это касается? – осведомился тот с неприятной холодностью.

– Я симпатизирую Клэр, – сказал Шелдон, – и хочу знать, почему она бродит как потерянная душа. (Она являлась к Себастьяну каждый день и усаживалась в каком-нибудь малоподходящем углу, где прежде никогда не сидела. Иногда она приносила ему сластей, иногда – галстук. Сласти оставались нетронутыми, галстук безжизненно повисал на спинке стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала так же молча, как появлялась.)

– Так что же? – сказал Шелдон. – Покончим с этим, старина. Что вы с ней сделали?

Глава двенадцатая

Шелдон так от него ничего и не узнал – то небольшое, что удалось выяснить, было добыто у самой Клэр. По возвращении в Лондон Себастьян стал получать от дамы, с которой познакомился в Блауберге, письма, написанные по-русски. Оба стояли в одной и той же гостинице. Ничего, кроме этого, не было известно.

Спустя полтора месяца, в сентябре 1929 года, Себастьян снова уехал из Англии и отсутствовал до января. Где он был – неведомо. Шелдон предположил, что, скорее всего, в Италии – «все любовники туда едут». Особенно он на этом настаивал.

Не ясно, было ли у Себастьяна с Клэр решающее объяснение, или просто он, уезжая, оставил ей письмо. Она удалилась столь же незаметно, как возникла. Она сменила квартиру: прежняя была слишком близко к дому Себастьяна. Как-то раз, сумрачным ноябрьским днем, мисс Прэтт столкнулась с ней в тумане. Клэр шла домой из страховой конторы, где подыскала себе работу. После этого девушки стали видаться довольно часто, но имя Себастьяна почти не произносилось. Спустя пять лет Клэр вышла замуж.

«Стол находок», начатый в то время Себастьяном, – это своего рода привал на пути

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru его художественных изысканий: подведение итогов, подсчет потерь – материальных и людских, ориентировка на местности; звякают подковами, пощипывая траву во мраке, расседланные кони, неярко светит бивуачный костер, над головой звезды... Там есть короткая глава об авиационной катастрофе. Погиб пилот и все пассажиры, кроме одного. Уцелел пожилой англичанин, обнаруженный крестьянином неподалеку от места крушения: весь съезжившись, он сидит на камне – само воплощение беды и боли.

– Сильно расшиблись? – спрашивает крестьянин.

– Нет, – отвечает тот. – Зубы болят. Всю дорогу мучаюсь.

По полю разметано с полдюжины писем – остатки авиапочты, из них два деловых, необыкновенной важности, третье адресовано женщине, но начинается: «Уважаемый господин Мортимер, в ответ на Ваше письмо от 6-го незамедли...», и речь в нем идет о размещении заказа; четвертое – поздравление с днем рождения, пятое – шпионское, с иголкой тайны в стоге пустой болтовни, и, наконец, последнее – любовное, по ошибке вложенное в конверт с адресом торговой фирмы:

«Бедная любовь моя. Это будет больно. Пикник наш окончен, дорога темна и вся в ухабах, малютку в машине вот-вот вырвет. Что надо мужаться – скажет любой дурак, но и все, что я мог бы тебе сказать в поддержку и утешение, будет манная каша – ты меня понимаешь. Ты всегда меня понимала. Жизнь с тобой была волшебством, а для меня „волшебство“ – это волхвы, шербет, и шелест, и твое мягко-розовое „в“, и то, как твои губы подавались вперед на этом детском „ш“. Наша с тобой жизнь была аллитерацией, и, когда я думаю обо всех этих маленьких радостях, обреченных на смерть, потому что мы не можем их больше разделять, мне кажется, что и мы умерли тоже. Возможно, так оно и есть. Знаешь, чем огромней было наше счастье, тем туманнее делались его очертания, размывались края, и вот оно истаяло вовсе. Я не разлюбил тебя, но что-то во мне умерло, и мне уже не разглядеть тебя в тумане... Все это, впрочем, литература. Трусливая ложь. Никто так не малодушен, как поэт, ходящий вокруг да около. Ты, я думаю, догадалась, в чем дело: в роковом словосочетании „другая женщина“. С ней я безумно несчастлив – уж это чистая правда, и об этой стороне дела, думаю, хватит.

Не могу избавиться от чувства, что есть изначальная неправильность в самой природе любви. Друзья могут ссориться и расходиться, могут и близкие, но нет этой муки, этой боли и безысходности. Разве дружба бывает отмечена такой печатью обреченности? Отчего, в чем дело? Я не разлюбил тебя, но если я больше не могу целовать твое с трудом различимое родное лицо, то мы должны, должны расстаться. Почему это так? Что за загадочное свойство? Можно иметь тысячу друзей и только одну любимую. Гаремы – не в счет, речь же о танце, а не о гимнастических жимах и махах. Можно ли вообразить исполинского перса, который любит каждую из четырехсот своих жен так, как я – тебя? С двух уже начинается счет, которому не будет конца. Есть только одно число – единица, и любовь – лучшее тому подтверждение.

Прощай, бедная моя любовь. Ты незабываема и незаменима. Глупо было бы уверять, что любовь к тебе была чиста, а новая страсть – только фарс плоти. Все – плоть, и все – чистота. Знаю одно: с тобой я был счастлив, а теперь несчастен с другой. Жизнь будет продолжаться. На службе я буду перешучиваться с приятелями, с аппетитом ужинать (пока не заработаю несварения желудка), читать романы и писать стихи да поглядывать на курс акций – в общем, вести себя как раньше. Но это не значит, что без тебя я буду счастлив. Каждая малость будет напоминать о тебе – укоризненный вид мебели в комнате, где ты ласкала подушки и беседовала с каминной кочергой, каждая малость, которую вместе разглядывали, будет всегда казаться одной только створкой раковины, половинкой монеты, другая осталась у тебя. Прощай. Уйди, удались. Не пиши. Стань женой Чарли или другого хорошего человека с трубкой в зубах. Сейчас меня забудь – вспомни потом, когда минует горечь. Эта клякса – не от слез. У меня сломалось вечное перо – пишу паршивым карандашом в паршивом гостиничном номере. Тут невыносимо жарко, и я не добил того дела, которое обязан был довести „до приемлемого завершения“, как говорит этот осел Мортимер. Кажется, у тебя остались две-три мои книги – не важно. Пожалуйста, не пиши. Л.».

Если отвлекусь от всего того, что относится к личным обстоятельствам вымышленного автора, многое в этом письме, уверен, выдает чувства самого Себастьяна, – а может, и написано оно для Клэр? У него была странная привычка: даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями, желаниями и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru впечатлениями, с которыми носился сам. Не зашифрована ли в письме героя правда о его отношениях с Клэр? Не берусь назвать другого писателя, который так умел бы сбивать с толку своим мастерством – по крайней мере меня, желающего за автором видеть человека. Но проблески его признаний о себе едва отличимы от мерцающих огоньков вымысла. Что еще более удивительно и непонятно – откуда у человека, пишущего о своих истинных чувствах, хватает сил одновременно лепить – из самого предмета своей печали – измышленный, слегка, может быть, даже комический образ?

В начале 1930 года Себастьян вернулся в Лондон, где слег с тяжелейшим сердечным приступом. При всем том он умудрялся продолжать «Стол находок» – книгу, давшуюся ему, я думаю, легче других. Чтобы понятно было дальнейшее, заметим, что его литературными делами ведала до этого исключительно Клэр, и стоило ей сойти со сцены, они сразу оказались в страшном беспорядке. Часто Себастьян понятия не имел, как они обстоят и каковы в точности его отношения с тем или иным издателем. Рассеянный, предельно беспомощный, он настолько был не способен запомнить имя или адрес, запомнить, куда он положил что-то нужное, что стал попадать в самые нелепые положения. Клэр, по-девичьи забывчивая, в делах Себастьяна соблюдала, как ни странно, полный порядок и последовательность – но теперь воцарилось безумие. Себастьян не умел печатать на машинке, и нервы его были не в том состоянии, чтобы начинать учиться. «Потешная гора» стала печататься сразу в двух американских журналах, и Себастьян решительно не мог припомнить, как он умудрился продать ее одновременно в два места. Была еще запутанная история с человеком, который хотел по «Успеху» снять фильму и выплатил Себастьяну аванс (а тот слишком невнимательно читал письма, чтобы это заметить) за сокращенный и «усиленный» вариант, который Себастьяну не привиделся бы и в страшном сне. Вряд ли он даже заметил переиздание «Призматической оправы». Приглашения оставлялись им без ответа. Телефонные номера вечно оказывались не теми – ему легче было написать целую главу, чем пускаться в лихорадочные поиски конверта с нацарапанным на нем номером. А мысли его уже в другом месте – летят по следу ускользающей дамы сердца, пока он ждет у телефона, который звонит наконец, а то, не дождавшись, срывается на вокзал – и вот он перед нами, как его однажды увидел Рой Карсуэлл: изможденный мужчина в длинном пальто и шлепанцах садится в пульмановский вагон.

В эту пору и объявился г-н Гудмэн. Мало-помалу Себастьян передал ему все литературные дела и испытал огромное облегчение, обретя столь расторопного секретаря. «Обычно, – пишет г-н Гудмэн, – я заставлял его в постели. Он лежал в ней, как мрачный леопард» (чем не волк в бабушкином чепце из «Красной Шапочки?»). «Никогда в жизни, – читаем в другом месте, – я не видел человека, настолько всегда подавленного. Говорят, что французский литератор М. Пруст, с которого Найт сознательно или бессознательно брал пример, тоже обожал принимать эдакую скучающую „интересную“ позу...» И далее: «Найт был очень худ и бледен; у него были изнеженные руки, к которым он с чисто женским кокетством любил привлекать внимание. Как-то раз он признался, что добавляет в утреннюю ванну полфлакона французских духов, но вид у него при всем том был на редкость неухоженный. Как и прочие писатели-модернисты, Найт был непомерно тщеславен. Два раза я заставлял его за вклеиванием вырезок – наверняка это были рецензии на его книги – в роскошный дорогой альбом, который он держал в столе под замком, стыдись, вероятно, явить сей плод человеческой тщеты моему критическому оку... Он часто ездил за границу, дважды, пожалуй, в год, и уж не в развеселый ли Париж... Поездки эти он окружал, однако, сугубой таинственностью, напуская на себя эдакую байроническую томность. Почти уверен, что выезды на континент были частью его художественной программы... он был законченный poseur[20]».

Красноречие г-на Гудмэна достигает особой силы, когда он углубляется в более глубокие материи. Его задача – показать «роковой раскол между Найтом как художником и огромным грохочущим вокруг него миром» (в виде, надо полагать, круговой трещины). «Найта погубила его позиция чужака! – восклицает г-н Гудмэн и выщелкивает троеточие. – Отстраненность – воистину смертный грех в наш век, когда зашедшее в тупик человечество обращается к своим писателям и мыслителям, ожидая от них если не исцеления, то хотя бы сострадания к своим бедам и ранам. Башня из слоновой кости получает оправдание, только становясь радиостанцией или маяком... В такую эпоху... изнывающую под бременем неразрешимых проблем, когда... экономический кризис, демпинг... одуроченный простой человек... рост тоталитаризма... безработица... следующая мировая война... новые стороны семейной жизни... секс... устройство вселенной...»

Интересы г-на Гудмэна, как мы видим, широки.

«Итак, – продолжает он, – Найт решительно отказывался проявлять хоть какое-то любопытство к вопросам современности... Когда его просили присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-нибудь серьезном митинге или только присоединить свою подпись к более знаменитым именам под воззванием, утверждающим вечные истины или обличающим силы зла... он отказывался наотрез, несмотря на все мои увещевания и даже мольбы... Правда, в своей последней (и на редкость невразумительной) книге он возвращается на землю... но избранный им угол зрения и те стороны жизни, на которые он обращает внимание, – это совсем не то, чего серьезный читатель вправе ждать от серьезного писателя... Это то же, как если бы пытливному исследователю, взявшемуся изучать устройство и деятельность крупного предприятия, с замысловатыми околичностями продемонстрировали дохлую пчелу на подоконнике... Когда я обращал его внимание на какую-нибудь новую книгу, привлекающую меня жизненностью поставленных проблем, он ребячливо отвечал, что все это ахинея, или отделялся другим каким-нибудь не идущим к делу замечанием... Он не понимал, что его „соло“ – это еще не соль земли, и оно не сродни солнцу, как ошибочно полагал сей любитель латыни. Он не видел, что это – темный тупик... Впрочем, со своей повышенной впечатлительностью (помню, как он кривился, когда я, потягивая пальцы, щелкал суставами – дурная привычка, присущая мне в часы раздумий) он не мог не чувствовать, что что-то не в порядке... что он продолжает отсекал себя от Древа Жизни... что солярий не оснастить рубильником... Его боль, поначалу – искренняя реакция темпераментного юнца на жестокость мира, в который он был ввергнут, потом, в годы писательского успеха, – модная маска, теперь обернулась новой и страшной реальностью: невидимая рука переписала надпись у него на груди, гласящую уже не „Одинокий художник“, но – „Слепой“».

Высказываться по поводу пустословия г-на Гудмэна значило бы оскорблять пронизательность читателя. Если Себастьян слеп, секретарь его, уж во всяком случае, с восторгом ухватился за роль лающего и рвущегося вперед поводыря. Рой Карсуэлл, писавший в 1933 году портрет Себастьяна, говорил мне, что умирал от смеха, слушая Себастьяновы рассказы о г-не Гудмэне. Он так бы и не собрался отделаться от этой велеречивой личности, если бы эта последняя не стала слишком много на себя брать. В 1934 году Себастьян писал из Канн тому же Рою Карсуэллу, как он ненароком обнаружил (ибо редко перечитывал свои книги), что г-н Гудмэн заменил один эпитет в свановском издании «Потешной горы». «Я его вышиб», – добавил он. От упоминания этой маленькой подробности г-н Гудмэн скромно воздерживается. Истощив свой запас впечатлений и придя к выводу, что подлинной причиной смерти Себастьяна явилось осознание им своей «человеческой, а стало быть, и художественной несостоятельности», он бодренько замечает, что от своих секретарских обязанностей отказался, перейдя в новую сферу деятельности. Больше я книгу г-на Гудмэна упоминать не стану. Я ее упразднил.

Но чем больше я смотрю на портрет работы Карсуэлла, тем явственней мне видится в глазах Себастьяна, хоть и печальных, некая искорка. Художник восхитительно передал темную влажность зеленовато-серого райка с еще более темным ободком и намеком на созвездия золотой пыли вокруг зрачка. Веки тяжелые, может быть, слегка воспаленные, на отблескивающем белке лопнула, похоже, веточка сосуда. Эти глаза и само лицо написаны так, словно отражены на манер Нарцисса в чистой воде: впалая щека подернута рябью – трудами водяного паучка, который замер на миг, а вода несет его обратно. Увявший лист пристроился на отражении чела, прорезанного складками напряженного внимания. Темные волосы свалились на лоб и чуть-чуть смяты другой набежавшей полоской ряби, а прядь на виске поймала влажный солнечный луч. Меж прямых бровей залегла борозда, другая тянется от носа к плотно сжатому сумрачному рту. Кроме лица, почти ничего нет на портрете. Шея скрывается в переливчатой тени, а торс словно бы сходит на нет. Фон – таинственная синева с нежной вязью веточек в одном из углов. Это – Себастьян, он глядит на собственное отражение в пруду.

– Я хотел дать намек на присутствие женщины – позади него или где-то выше... скажем, тень руки... что-то такое... Но побоялся, что получится не живопись, а рассказ.

– Да, только, кажется, никто ничего о ней не знает. Даже Шелдон.

– Она разбила его жизнь, вот и все.

– Да, но мне этого мало. Я хочу знать все. Иначе образ останется незавершенным, как ваша картина. Да нет, портрет прекрасный, и сходство безукоризненно, и этот

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
пльвущий паучок мне страшно нравится, особенно его косолапая тень там, на самом дне. Но ведь тут как бы мимолетное отражение лица. Посмотреться в воду может каждый.

– А вы не думаете, что ему это особенно удавалось?

– Понимаю вас. Но эту женщину я все равно должен отыскать. Она недостающее звено в его эволюции, и это звено я должен заполучить. Это научная необходимость.

– Держу пари на эту картину, что вы ее не найдете, – сказал Рой Карсуэлл.

Глава тринадцатая

Первым делом надлежало установить ее личность. С чего начать поиски? Какими данными я располагаю? В июне 1929 года Себастьян жил в Блауберге в отеле «Бомон» и там с нею познакомился. Она русская. Никакими другими нитями я не располагал.

Я разделяю отвращение Себастьяна к почте во всех ее видах. Мне проще проехать тысячу миль, чем написать самое короткое письмо, потом искать конверт, искать нужный адрес, покупать нужную марку, отправлять письмо и потом ломать голову, вспоминая, подписал я его или нет. Кроме того, дело было деликатное, и о переписке не могло быть речи. После месячного пребывания в Англии я навел справки в туристском бюро и в марте 1936 года выехал в Блауберг.

Ему тут больше не бывать, размышлял я, глядя на сырые пашни, где в длинных космах белого тумана смутно плыли прямые тополя. Городок под красной черепицей притулился у подножья покато́й серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения Богом забытой станции, где из стоящего на запасном пути телячьего вагона доносилось грустное мычанье невидимых коров, и стал подниматься по пологому склону – туда, где за влагою пахнувшим парком маячила целая гроздь санаторий и гостиниц. Люди почти не попадались, был «несезон», и я вдруг с тревогой подумал, что гостиница, чего доброго, окажется закрытой.

Этого не случилось – удача еще не настолько меня покинула.

Дом с ухоженным садом, окруженный готовыми зацвести каштанами, выглядел довольно славно. Вмещал он на вид не более пятидесяти человек – это меня взбодрило: сужался круг поиска. Управляющий оказался седовласым господином с подстриженной бородкой и черными бархатными глазами. Я начал издалека.

Сперва я сказал, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, очень здесь понравилось, да и сам я подумываю на лето приехать в эту гостиницу. Вероятно, мне следовало снять номер, обосноваться, втереться, так сказать, в доверие, а особые расспросы отложить до более благоприятного момента, но почему-то мне показалось, что все можно уладить немедленно. Он сказал – да, он помнит, был англичанин, жил тут в 1929 году, каждое утро требовал ванну.

– Он ведь нелегко сходил с людьми, не так ли? – спросил я как бы между прочим.  
– Всегда, поди, гулял в одиночестве?

– Да, по-моему, он был с отцом, – ответил управляющий неуверенно.

Мы некоторое время бились, распутывая трех или четырех англичан, случившихся за последние десять лет в отеле «Бомон». Я понял, что он не очень-то помнит Себастьяна.

– Буду с вами откровенен, – заговорил я без дальнейших околичностей. – Мне нужен адрес дамы, приятельницы моего брата, которая одновременно с ним здесь находилась.

Управляющий слегка приподнял брови, и у меня возникло неприятное чувство, что я дал маху.

– Зачем? – спросил он.

(«Может, дать ему взятку?» – пронеслось у меня в голове.)

– Знаете, – я сказал, – я готов оплатить ваши хлопоты, если вы подберете нужные

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
мне сведения.

– Какие сведения? – спросил он. (Глупый был старикан и подозрительный, – да не прочтет он этих строк.)

– Я надеюсь, – продолжал я терпеливо, – что вы будете настолько добры, что поможете мне найти адрес дамы, которая останавливалась тут в июне двадцать девятого, тогда же, когда и господин Найт.

– Какой дамы? – спросил он казуистическим тоном гусеницы из «Алисы в Стране чудес»{59}.

– Я точно не знаю ее имени, – сказал я нервно.

– Как же тогда я, по-вашему, ее найду? – спросил он, пожимая плечами.

– Она русская, – сказал я. – Может, вы помните русскую даму, молодую. Ну, понимаете... красивую...

– Nous avons eu beaucoup de jolies dames[21], – сказал он, все более уходя в свой кокон. – Как можно упомянуть?

– Знаете, – сказал я, – проще всего было бы проглядеть ваши книги за июнь двадцать девятого и отобрать русские имена.

– Их наверняка окажется несколько, – возразил он, – как же вы сможете из них выбрать?

– Дайте мне имена с адресами, – сказал я, теряя надежду, – а там уж я разберусь.

Он глубоко вздохнул и покачал головой.

– Нет, – сказал он.

– Вы хотите сказать, что не регистрируете постояльцев? – спросил я, стараясь говорить спокойно.

– Как же без этого. В моем деле без порядка в таких вещах нельзя. Нет, все имена у меня налицо...

Он отошел вглубь комнаты и извлек откуда-то большой черный фолиант.

– Вот, – сказал он, – вот первая неделя июля тридцать пятого. Профессор Отт с супругой; полковник Самаин...

– Но позвольте, – сказал я, – мне не нужен июль тридцать пятого. Что мне нужно...

Он захлопнул книгу и понес ее обратно.

– Я только хотел вам показать... – сказал он, не оборачиваясь, – хотел показать... (щелкнул замок), что записи у меня в полном порядке.

Он вернулся к своей конторке и стал складывать лежащее на бюваре письмо.

– Лето двадцать девятого, – взмолился я. – Почему вы не хотите показать мне эти страницы?

– Потому что так делать не принято, – отвечал он. – Во-первых, я не хочу, чтобы совершенно посторонний человек беспокоил людей, которые были и будут моими постояльцами. Во-вторых, я не понимаю, почему вы так стремитесь разыскать даму, которую не хотите назвать. И в-третьих, я не хочу неприятностей. Мне и так хватает неприятностей. Тут в соседней гостинице в двадцать девятом году одна швейцарская парочка с собой покончила, – заключил он ни к селу ни к городу.

– Это ваше последнее слово? – спросил я. Он кивнул и поглядел на часы. Я повернулся и вышел, хлопнув дверью – насколько это возможно с этими чертовыми пневматическими устройствами.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Я медленно побрел к станции. Парк. Может, эту каменную скамейку под кедром Себастьян вспоминал перед смертью. А очертания вон того кряжа были, может быть, росчерком пера над каким-нибудь незабываемым вечером. Вся эта местность стала мне казаться громадным отвалом пустой породы с погребенным в ней черным алмазом. Какая ужасающая, нелепая, мучительная неудача! Свинцовая тяжесть совершаемого во мне усилия. Бездарные попытки уцепиться за тающие предметы. Почему прошлое так непокорно?

Что же теперь делать? Реку жизни, в плавании по которой я так жаждал пуститься, на одном из последних извивов затянул белый туман – совсем как дол, на который я сейчас глядел. Можно ли, несмотря на это, браться за книгу? Книгу с белым пятном. Мне представилась незавершенная картина – руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы...{60}

У меня было чувство, что я заблудился, что мне некуда идти. Я достаточно долго ломал голову, как отыскать последнюю любовь Себастьяна, чтобы видеть: другого способа установить ее имя нет. Ее имя! Заполучи я эти засаленные черные тома, я его опознал бы сразу. Не махнуть ли рукой и не заняться ли сбором кое-каких мелких деталей – тоже нужных, причем тут я хоть знал, куда обращаться.

В таком-то смятении ума сел я в неторопливый поезд, чтобы вернуться в Страсбург. Оттуда я, может быть, проследую дальше в Швейцарию... Но нет, я не мог осилить колющую боль провала, хотя усердно пытался погрузиться в прихваченную с собой английскую газету: помня о предстоящей мне работе, я, упражнения ради, старался читать только по-английски. А можно ли приступить к тому, замысел чего столь вопиюще неполон?

Я был один в купе (вещь обычная для второго класса на таких поездах), но недолго – на первой же станции вошел невысокий человек с кустистыми бровями и, поприветствовав меня на континентальный манер на густом горловом французском, уселся напротив. Поезд мчался прямо на закат. Внезапно я заметил, что мой визави глядит на меня с сияющей улыбкой.

– Прекрасный погода, – сказал он, снимая котелок и являя розовую макушку. – Ви англичанин? – спросил он, утвердительно кивая и улыбаясь.

– Сейчас, пожалуй, да, – отвечал я.

– Вижу, то есть я увидель, ви читаль английский газет, – сказал он, ткнув в газету перстом, потом сдернул желтую перчатку и ткнул снова (его, наверное, учили, что неприлично показывать пальцем в перчатке).

Я что-то пробормотал и отвел взгляд; не люблю дорожной болтовни, а сейчас был к ней особенно не расположен. Он проследил за моим взглядом. Садящееся солнце воспламенило многочисленные окна большого здания, которое медленно поворачивалось, демонстрируя постукивающему мимо поезду одну дымовую трубу, потом другую.

– Это есть фламбаум и Рот. Большой фабрика, завод. Бумага.

Возникла небольшая пауза. Он почесал свой большой блестящий нос и подался ко мне.

– Я был в Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкасл. – Он поглядел на большой палец, который не принял участия в счете.

– Да, – сказал он, – имел производство игрушек. До войны. И играл в немножко футбол, – добавил он, должно быть, заметив, что я гляжу на неровное поле с двумя удрученными воротами по краям – на одних не хватало перекладины.

Он заморгал; его усы оцетинились.

– Один раз, ви понималь, – сказал он и затрясся в беззвучном смехе, – один раз, ви понималь, я мяч прямо из аута бью.. забивать.. биль в ворота.

– Вот как, – вяло сказал я, – и попали?

– Ветер попалъ. Это была робинзонада.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Что было?

– Робинзонада. Отличная проделка. Да... Ви далеко ехаль? – осведомился он вкрадчивым свехучтивым тоном.

– Собственно... – сказал я, – этот поезд дальше Страсбурга не идет.

– Нет, я вообще имею... иметь в виду – ви путешественник?

Я ответил утвердительно.

– В куда? – спросил он, мотнув головой.

– Я думаю, что в прошлое, – ответил я.

Он кивнул, словно понял. Потом, снова наклонившись ко мне, коснулся моего колена и сказал: «Теперь я продаю кожа, кожанные, ви знаете, мячи – другие пускай играют! Старый! Силы нету! Еще собачий намордники... и все такой...»

Он опять легонько ударил меня по колену: «А раньше, прошлый год, четыре прошлый лет, я работаль в полиция. Нет-нет, не ать-два, не совсем... Ну, в штатски. Ви меня поняль?»

Я взглянул на него с внезапным интересом.

– Знаете что, – сказал я, – вы навели меня на мысль...

– Да, – сказал он, – если нужно добрый кожа, помощь, cigarette-étuis[22], подтяжки, консультация, боксерские перчатки...

– Пятое и, может быть, второе, – сказал я.

Он взял котелок, лежавший подле него, старательно его надел (кадык его при этом заходил вверх-вниз), потом, воссияв улыбкой, сдержнул его с поклоном.

– Меня зовут Зильберман, – сказал он, протягивая руку. Я ее пожал и тоже назвался.

– Имя не английский, нет! – вскричал он, ударяя себя по колену. – Русский! Гаврит парусски! Я еще слова знаю... стойте! Да... Ку-кол-ка! – это маленький кукла.

Он помолчал. Я так и этак вертел в голове мысль, которую он мне подал. Не обратиться ли в агентство частного сыска? А не мог бы сам этот человек мне помочь?

– Рыба! – вскричал он. – Тоже знаем. Это ведь рыба, так? и... Да. Брат, мили брат.

– Я подумал, – сказал я, – что, быть может, если я вам расскажу о своем трудном положении...

– Вот и все, – сказал он, вздыхая. – Я говорю (снова пошли в ход пальцы) литовский, немецкий, английский, французский (опять большой палец остался не у дел). Русский забыл! Ать-два! Совсем!

– Вы, может быть, смогли бы... – начал я.

– Все что хотите, – сказал он, – ремни, кошельки, записные книжки, идеи...

– Идеи, – подхватил я. – Понимаете, я пытаюсь кое-кого разыскать... одну русскую даму, я ее никогда не видел и даже имени ее не знаю. Все, что я знаю, – что она некоторое время жила в одном отеле в Блауберге.

– О, хороший место, отличный, – сказал господин Зильберман, вытягивая губы гузкой в знак нешуточного одобрения. – Вода хороший, прогулки, казино. Хотель, чтоб я что сделаль?

– Я бы прежде хотел узнать, что делают в таких случаях.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Лучше оставлять ее в покое, – сказал, не задумываясь, господин Зильберман. Он вытянул шею, и его кустистые брови зашевелились. – Забыть ее, бросить из головы. Опасно есть, польза нет. – Он стряхнул что-то с моего колена, кивнул и откинулся на диванчике.

– Речь не о том, – сказал я. – Вопрос не «зачем», а «как».

– На всякий «как» свой «зачем», – сказал господин Зильберман. – Ви видите... видите ее бильд, то есть фото, а теперь сами хотите найти она сама. Это не любовь. Да! Пустой дело!

– Да нет же, – вскричал я, – все совсем не так. Я понятия не имею, какая она собой. Видите ли, ее любил мой покойный брат, и я хочу, чтобы она мне о нем рассказала. Все очень просто.

– Печально, – сказал господин Зильберман и покачал головой.

– Я хочу написать о нем книгу, – продолжал я, – меня интересует каждая черточка его жизни.

– Какой болезнь? – резким голосом спросил господин Зильберман.

– Сердце, – отвечал я.

– Сердце – скверно. Много-много предупреждений, потом несколько генеральный... генеральных...

– Генеральных репетиций смерти. Это точно.

– Да. А лет сколько?

– Тридцать шесть. Он писал книги, печатался под фамилией матери. Найт. Себастьян Найт.

– Вот сюда запишите, – сказал господин Зильберман, протягивая мне новенькую, необыкновенно славную записную книжку с прелестным серебряным карандашиком внутри. Раздалась маленькая пулеметная очередь, он аккуратно вырвал страничку, положил ее в карман и снова протянул книжечку мне.

– Нравится, нет? – спросил он с озабоченной улыбкой. – Позволить маленький подарок.

– Право же, – начал я, – это так с вашей стороны...

– Пустяк, пустяк, – сказал он, помахивая рукой. – Ну, так что ви хотите?

– Мне нужен, – отвечал я, – полный список гостей отеля «Бомон» за июнь двадцать девятого. И кое-какие о них сведения, по крайней мере о дамах. Нужны адреса. Я хочу быть уверен, что какая-нибудь русская дама не укрылась за европейской фамилией. Потом я выберу самую вероятную или вероятных, и...

– И пробовал до них добраться, – сказал, кивая, господин Зильберман. – Хорошо! Отлично! Все гости у меня тут (он показал на свою ладонь), очень просто. Прошу ваш адрес.

Он вытащил другую записную книжку, на этот раз весьма потрепанную, с исчириканными страницами, которые вываливались из нее, словно осенние листья. Я добавил, что не тронусь из Страсбурга, пока мы с ним не встретимся.

– В пятницу, – сказал он, – в пятницу, строго в шесть.

И этот удивительный человек, вновь откинувшись назад, сложил ручки и смежил глаза, как будто сделанное дело поставило каким-то образом точку в нашей беседе. Его лысое чело стала исследовать муха, но он даже не шелохнулся. Продремал он до самого Страсбурга. Там мы расстались.

– Пойдите, – сказал я, пожимая ему руку, – вы должны назвать ваш гонорар... Я

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru хочу сказать: я готов заплатить, сколько вы сочтете нужным... Может, вы бы хотели получить аванс...

– Ви мне прислать ваша книга, – сказал он, подняв толстый указательный палец. – И оплатить возможных трат, – добавил он, понизив голос, – р-разумеется!

Глава четырнадцатая

Так у меня в руках оказался список сорока трех особ, и имя Себастьяна (С. Найт, 36 Оук Парк Гарденз, Лондон, ЮЗ) вдруг приобрело, затерявшись в нем, некое странное очарование. Приятным сюрпризом оказалось и то, что против каждой фамилии был проставлен адрес: Зильберман пояснил поспешно, что приезжающие в Блауберг частенько умирают. Из сорока двух незнакомцев и незнакомок тридцать восемь были, как он выразился, «никакой вопрос». Правда, среди последних три дамы, все незамужние, носили русские фамилии, но две были немки, третья – из Эльзаса, и все они часто стояли в гостинице. Была еще загадочная девушка Вера Разин, однако Зильберман не только точно знал, что она француженка, но также что она танцовщица и любовница страсбургского банкира. Еще была пожилая чета из Польши, которую мы без колебаний отставили. В числе остальных тридцати двух, не подлежащих обсуждению, было двадцать мужчин; из них только восемь были женаты – по крайней мере, привезли жен (Эмму, Хильдегард, Паулину и т. д.), как на подбор солидных, клялся Зильберман, пожилых и донельзя нерусских.

Итак, оставалось четыре фамилии.

Мадемуазель Лидия Богемская, живущая в Париже. Она провела в отеле девять дней в начале пребывания там Себастьяна, и управляющий ничего о ней не помнил.

Мадам де Речной уехала в Париж накануне отъезда Себастьяна туда же. Управляющему запомнилась как шикарная молодая дама, щедро раздававшая чаевые. Французская частица указывала на ее принадлежность к особому типу моих соотечественников, любящих подчеркивать свое дворянство, хотя ставить «de» перед русской фамилией не только глупо, но и незаконно. Может быть, это авантюристка, а может, жена сноба.

Хелене Гринштейн. Фамилия еврейская, но не немецко-еврейская, несмотря на германообразность: «и» в «грин», заменившее природное «ю», выдавало русскую почву. Она приехала всего за неделю до Себастьяна и еще три дня оставалась после его отъезда. По словам управляющего, это была красавица. Приезжала она однажды и до этого, а жила в Берлине.

Хелене фон Граун{61}. Чисто немецкое имя. Между тем управляющий совершенно уверен, что она несколько раз пела по-русски. Он добавил, что она чрезвычайно собой хороша и у нее превосходное контральто. Она пробыла месяц и уехала в Париж пятью днями раньше Себастьяна.

Вместе с четырьмя адресами я дотошно записал и все эти подробности. Искомой могла оказаться любая из четверки. Я сердечно поблагодарил господина Зильбермана, сидевшего передо мной со шляпой на сведенных коленях. Он вздохнул и поглядел на носки своих черных сапожек под старыми мышастыми гетрами.

– Я сделалъ это, – сказал он, – потому что ви мне симпатичный. Но... – он устремил на меня взгляд своих светло-карих глаз, лучившихся приятнью, – но думаю, без польза. Нельзя видеть обратна сторона луны. Пожалуйста, не ищите эта женщина. Что прошло, то ушло. Она не помнилъ ваш брат.

– Ничего, я ей напомню, – мрачно сказал я.

– Как ви желаль, – сказал он, расправляя плечи и застегивая скюртук. Он поднялся. – Удачная путешествия, – сказал он без привычной улыбки.

– Постойте, мистер Зильберман, мы должны кое-что уладить. Сколько я вам должен?

– Это есть правильно, – сказал он, усаживаясь обратно. – Момент. – Он развинтил вечное перо, набросал несколько цифр, потом стал их разглядывать, постукивая по зубам колпачком. – Да, шестьдесят восемь франков.

– Почему так мало, – начал я. – Вы, может быть...

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Стойте, – вскричал он, – ошибка! Вы охраняют записной книжка, который я даль?

– Ну да, – сказал я. – Вообще-то я уже начал в ней писать. Я думал...

– Тогда не шестьдесят восемь! – сказал он, поспешно исправляя подсчеты. – Тогда... тогда только восемнадцать, потому что книжка цена пятьдесят. Итого восемнадцать франков: путевой расход...

– Но позвольте, – начал я, слегка изумленный его арифметикой.

– Да, вот теперь коррект, – сказал господин Зильберман.

Я нашел двадцатифранковую монету, хотя, если бы он только позволил, с радостью дал бы ему в сто раз больше.

– Ага, теперь я вам должник... Да, точно. Восемнадцать и два будет двадцать. – Он наморщил брови. – Значит, двадцать. Это ваш. – Он положил сдачу на стол и удалился.

Интересно, как я пошлю ему свой труд, когда его закончу: адреса этот забавный человек не оставил. Голова моя слишком была переполнена, чтобы об этом вспомнить. Но если он наткнется когда-нибудь на «Истинную жизнь Себастьяна Найта», мне хотелось бы, чтобы он знал, как я благодарен ему за помощь. И за книжечку тоже. В ней уже и сейчас много записей, а когда она совсем заполнится, я заменю страницы.

После ухода господина Зильбермана я не торопясь изучил все четыре адреса, добытые им как по волшебству, и решил начать с берлинского. Если там меня постигнет разочарование, у меня останется возможность заняться парижской троицей, не предпринимая еще одной долгой поездки, невыносимой от мысли, что это – последняя ставка. Напротив, если удача придет с первой попытки, тогда... Впрочем, неважно... Судьба щедро вознаградила мое решение.

Снег крупными мокрыми хлопьями косо летел вдоль Пассауэр-штрассе в западной части Берлина, на которой я разыскал некрасивый старый дом, чья физиономия наполовину пряталась под маской лесов. Как только я постучал в окошко привратничкой, кисейная занавеска отдернулась, створка распахнулась и растрепанная старуха угрюмо мне сообщила, что фрау Хелене Гринштейн действительно здесь живет. Я направился вверх по лестнице, испытывая холодящую дрожь душевного подъема. «Гринштейн» – гласила медная табличка на двери.

Безмолвный подросток в черном галстуке с опухшим бледным лицом открыл мне дверь и, даже не спросив, кто я, повернулся и куда-то пошел по коридору. Вешалка в маленькой прихожей ломилась от одежды. На столике между двумя цилиндрами лежал букет мокрых от снега хризантем. Так как никто не появлялся, я постучал в одну из дверей, потом распахнул ее и прикрыл снова. Я успел разглядеть темноволосую девочку, крепко спавшую на диване под кротовой шубкой. Еще с минуту я постоял в прихожей. Вытер лицо, все еще мокрое от снега. Высморкался. И наконец рискнул двинуться по коридору. Из распахнутой двери доносилась русская, вполголоса, речь. В двух больших комнатах, соединенных подобием арки, былолюдно. Мое появление не вызвало ни малейшего интереса – всего два или три лица повернулись без внимания в мою сторону. На столе стояли стаканы недопитого чая и блюдо, полное крошек. В углу кто-то читал газету. Дама в серой шали сидела за столом, подперев щеку рукой, – на ее запястье скатилась слеза. Еще два-три человека неподвижно сидели на диване. Девочка, похожая на ту, что спала на диване, гладила пожилую собаку, свернувшуюся в кресле. В соседней комнате, где тоже сидели и расхаживали люди, кто-то начал то ли хохотать, то ли задыхаться, а может быть, ни то и ни другое. Мальчик, открывший мне дверь, прошел мимо со стаканом воды, и я спросил его по-русски, нельзя ли мне поговорить с госпожой Хелене Гринштейн.

– Тетя Елена, – обратился он к затылку темноволосой стройной женщины, склоненной над пожилым господином в кресле.

Она подошла ко мне и пригласила в небольшую гостиную по ту сторону коридора. Она была очень молода и изящна, ее продолговатые нежные глаза на запудренном личике заканчивались, казалось, на висках. На ней был черный джемпер. Руки были так же грациозны, как и шея.

– Как это ужасно, – прошептала она.

Я довольно глупо ответил, что, наверное, зашел в неподходящее время.

– Ах, а я подумала... – Она взглянула на меня. – Присядьте. Мне показалось, что ваше лицо я только что видела на похоронах... Нет? Понимаете, умер муж моей сестры... Нет-нет, сидите. Ужасный был день.

– Не буду вас беспокоить, – сказал я. – Я лучше пойду... Я просто хотел поговорить с вами о моем родственнике... с которым вы, кажется, были знакомы... в Блауберге... но это не так важно...

– В Блауберге? Я там была два раза, – сказала она. Ее лицо передернулось – где-то в соседних комнатах зазвонил телефон.

– Его звали Себастьян Найт, – сказал я, глядя на ее нежные дрожащие ненакрашенные губы.

– Нет, я никогда этого имени не слышала, – сказала она. – Нет.

– Он был наполовину англичанином, – сказал я. – Он писатель.

Она покачала головой и обернулась к двери, которую распахнул печальный мальчик – ее племянник.

– Соня приедет через полчаса, – сказал он. Она кивнула, и он ушел.

– Вообще я в гостинице ни с кем не была знакома, – добавила она.

С новыми извинениями я стал откланиваться.

– А как же ваше имя? – спросила она, направив на меня затуманенный кроткий взор, напомнивший мне Клэр. – Вы, кажется, назвались, но я что-то сегодня плохо соображаю... Ах! – воскликнула она, когда я ответил. – Знакомая фамилия. Кажется, в Петербурге один человек с такой же фамилией был убит на дуэли. Так это ваш отец? Вот как! Постойте! Кто-то, не помню кто... буквально на днях об этом вспоминал. Как странно... Так всегда и бывает – такие совпадения. Вспомнила... Розановы... они знали вашу семью...

– У моего брата был одноклассник Розанов.

– Вы их найдете в телефонной книге, – торопливо продолжала она, – понимаете, я их не так уж хорошо знаю, а сейчас вообще не в состоянии что-нибудь искать.

Ее кто-то позвал, и я в одиночестве побрел обратно в прихожую. Там я нашел пожилого господина, который, усевшись на моем пальто, задумчиво курил сигару. Сперва он никак не мог взять в толк, чего я хочу, потом рассыпался в пылких извинениях.

Мне стало немного жаль, что Елена Гринштейн – не та, кого я искал. Той, что принесла Себастьяну столько горя, быть она, конечно, никак не могла. Женщины этого типа строят, а не разбивают жизнь мужчины. Вот и теперь она терпеливо восстанавливает потрясенный горем дом, да еще нашла возможным выслушать явившегося к ней по прямо-таки безумному делу совершенно ненужного пришельца. И не только выслушала – еще и навела на след, по которому я тотчас устремился. Хотя ни к Блаубергу, ни к загадочной незнакомке эти люди отношения не имели, они раскрыли передо мной драгоценные страницы жизни Себастьяна. Ум, более систематический, нежели мой, поместил бы их вначале, но мои поиски рождают свою собственную магию и свою логику, и если мне даже кажется порой, что окружающая реальность – лишь канва для прихотей сновидения, в которое перерастают эти розыски, я не могу не признать, что меня влекло по верному пути, и в своих попытках рассказать о жизни Себастьяна мне остается лишь следовать тем же ритмическим извивам.

В том, что встреча, связанная с первой юношеской любовью Себастьяна, оказалась причастна к отзвукам его последней темной страсти, соблюден, кажется, закон некоей странной гармонии. Два лада его жизни вопрошают друг друга, и ответ –

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru сама жизнь; ближе не подойти к человеческой правде. Ему было шестнадцать, ей столько же. Гаснет свет, поднимается занавес, открывая летний русский пейзаж: излучина реки, наполовину затененная елями, растущими на крутом глинистом обрыве и своими густо-черными отражениями почти достающими другого берега – низкого, солнечного и манящего, усыпанного болотными цветами и серебристыми пучками трав. Себастьян, коротко стриженный, с непокрытой головой, в свободной шелковой рубашке, обтягивающей ему то лопатки, то грудь, когда он наклоняется вперед и откидывается в ярко-зеленой лодке, с наслаждением налегает на весла. У руля сидит девушка, но мы ее раскрашивать не станем – просто абрис, белый силуэт, не прописанный живописцем. Темно-синие стрекозы медленно и прерывисто летают туда и обратно, садятся на плоские листья кувшинок. Стрижи то и дело выпархивают из своих дырок-гнезд в красной глине обрыва, запечатлевшей имена, даты и даже лица. У Себастьяна ослепительные зубы. Вот он перестает грести, оглядывается, и лодка с шелковым шелестом врежется в камыши.

– Никудышный ты кормчий, – говорит он.

Декорация меняется: другая излучина той же реки.

Тропинка сбегает к воде, останавливается и, подумав, сворачивает, чтобы описать петлю вокруг грубо сколоченной скамейки. Еще не совсем вечер, но воздух уже золотится, и мошки исполняют свой простенький туземный танец в солнечном луче, процеженном сквозь листву осины, которая, забыв наконец про Иуду, на диво недвижима.

На скамейке сидит Себастьян и вслух читает английские стихи по тетради в черной обложке. Вдруг он умолкает: чуть левее над водой показалась златовласая головка наяды, длинные пряди струятся следом. И вот на другой берег вылезает из реки обнаженная фигура, сморкается, зажимая одну ноздрю большим пальцем: это длинноволосый сельский священник. Себастьян продолжает читать стихи сидящей рядом девушке. Художник еще не раскрасил белого пространства, если не считать загорелой худенькой руки, тронутой по внешней стороне светящимся пушком от запястья до локтя.

Картина опять меняется, как в Байроновом сне{62}. Ночь. В небе тесно от звезд. Спустя много лет Себастьян напишет, что ночное небо вызывает у него такое же болезненное чувство брезгливости, как, например, вид внутренностей в распоротом брюхе животного. Но тогда эта мысль еще не была им высказана. Очень темно. Там, где подразумевается аллея парка, не видно ни зги. Громоздящиеся пласты мрака, где-то кричит сова. Черная бездна, в которой вдруг начинает двигаться маленький зеленоватый кружочек: светящийся циферблат (в зрелые годы Себастьян ручных часов не терпел).

– Тебе действительно пора? – произносит его голос.

Последняя перемена: клином летят журавли, их нежные стоны растворяются высоко в бирюзово-голубом небе над порывшей березовой рощей. Себастьян снова не один; он сидит на пепельно-сером стволе поваленного дерева. Велосипеду, поблескивающему спицами в зарослях орляка, дан отдых. Проплывает огромная бабочка, садится на зарубку пня, веером разложив бархатные крылья. Завтра обратно в город, в понедельник – в гимназию.

– Так это конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеться? – спрашивает он во второй или третий раз. Ответа нет. – Ты и вправду влюблена в этого студента?

Силуэт сидящей девушки так и остается нераскрашенным, если не считать руки: загорелые тонкие пальцы играют с велосипедным насосом. Рукояткой насоса рука пишет на мягком песке слово «да», пишет по-английски, чтобы смягчить удар.

Занавес падает. Да, это конец. Такая малость, но сердце разбито. Больше он не спросит товарища, сидящего за соседней партой: «Ну, как твоя сестра?» Нельзя будет спрашивать старую мисс Форбс, которая иногда еще заходит, про ее ученицу. И как станет он будущим летом ходить по тем же дорожкам и смотреть на закат и съезжать к реке на велосипеде? (А оно, это лето, почти целиком было потрачено на увлечение футуристом Паном.)

Так удачно все совпало, что к вокзалу Шарлоттенбург, где я должен был сесть на

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru парижский скорый, вез меня не кто иной, как брат Наташи Розановой. Я сказал, что странно было беседовать о давнем лете в сказочной России с его сестрой – ныне полненной матерью двух мальчиков. Он ответил, что как нельзя более доволен своей работой в Берлине. После нескольких неудачных попыток я снова навел его на разговор о школьных годах Себастьяна.

– У меня ужасная память, – сказал он, – и вообще я слишком занят, чтобы из-за всякой ерунды предаваться сантиментам.

– Но вы, конечно же, помните, – сказал я, – какой-нибудь такой необыкновенный случай. Мне все интересно.

Он засмеялся: «Или вы не потратили уйма часов на разговоры с моей сестрой? Вот кто прошлое обожает. Она сказала, что вы ее собираетесь вывести в вашей книге такой, как тогда, и ей прямо не терпится».

– Ну, пожалуйста, попробуйте что-нибудь вспомнить, – настаивал я упрямо.

– Да говорю я вам, что ничего не помню, странный вы человек. Это совершенно бесполезно. Да и рассказать-то нечего, кроме обычной чепухи про списывание, зубрежку да всякие прозвища учителей. Вообще-то, неплохое было время... Только, знаете, ваш брат... как бы это сказать... в гимназии вашего брата не очень-то любили...

#### Глава пятнадцатая

Как мог заметить читатель, до сих пор я старался сводить на нет свое присутствие в этой книге, избегая ссылок на обстоятельства собственной жизни, хотя те или иные штрихи прояснили бы, возможно, всю картину моего расследования. Так что не стану и сейчас вдаваться в деловые затруднения, которые обнаружились по моем возвращении в Париж, где я жил более или менее оседло: к розыскам моим они никакого отношения не имеют, и если я и упомянул их походя, то лишь затем, чтобы подчеркнуть: тема последней любви Себастьяна настолько меня захватила, что я с радостью выкинул из головы все мысли о последствиях, какие могли повлечь для меня столь долгие каникулы.

Я не жалел, что начал с берлинского следа, – там мне, по крайней мере, представился нежданный случай заглянуть еще в одну главу Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно имя вычеркнуто, у меня оставалось еще три возможности. Заглянув в телефонную книгу, я убедился, что имена «Граун (фон), Хелене» и «Речной, Польша» («де», как я заметил, отсутствовало) соответствуют полученным мною парижским адресам. Перспектива встретиться с мужьями была малоприятна, но неминуема. Третья дама, Лидия Богемская, не числилась ни в одном из двух справочников, то есть ни в телефонной книге, ни в другом шедевре Боттэна{63}, где абоненты указаны по адресам. Не беда, я знаю, где она когда-то жила, разыщу. Свой Париж я знаю хорошо, и мне сразу стало ясно, в какой последовательности делать визиты, чтобы уложить их в один день. Хочу добавить, если читатель удивлен моей манерой брать быка за рога, что я так же не люблю звонить по телефону, как и писать письма.

Дверь, в которую я постучал, открыл худой высокий пышноволосый человек в рубашке без воротничка, но медная подгалстучная запонка была на месте. В руке он держал шахматную фигуру – черного коня. Я поздоровался с ним по-русски.

– Входите, входите, – сказал он радостно, словно меня ждал.

– Меня зовут так-то, – сказал я.

– А меня, – вскричал он, – Пал Пальч Речной. – И он от души рассмеялся, словно отпустил добрую шутку. – Прошу вас, – сказал он, указывая фигурой на распахнутую дверь.

Он провел меня в скромную комнату со швейной машиной в углу и разлитым в воздухе собирательным запахом тесьмы и льняного белья. Боком к столу, накрытому клеенчатым шахматным полем с клетками, слишком тесным для фигур, сидел плотный мужчина. Он глядел на них искоса, а торчавший из угла его рта пустой мундштук глядел в другую сторону. Хорошенький мальчик лет четырех или пяти елозил коленями по полу в окружении маленьких автомобильчиков. Пал Пальч с размаху опустил своего коня на стол, и у того отлетела голова. Черные тщательно

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru привинтили ее обратно.

– Присаживайтесь, – сказал Пал Палыч. – Это мой двоюродный брат, – добавил он.

Черные поклонились. Я сел на третий, он же последний, стул. Дитя подошло ко мне и молча протянуло новенький красно-синий карандаш.

– Я могу взять твою ладью, – сказали мрачно Черные, – но у меня есть ход получше.

Он приподнял ферзя и остороженько втиснул его в толчею желтоватых пешек, одну из которых олицетворял наперсток.

Пал Палыч молнией спикировал на ферзя и взял его слоном, после чего разразился оглушительным хохотом.

– А вот теперь, – сказали невозмутимо Черные, когда Белые кончили хохотать, – ты и попался как кур в ошип. Шах, голуба.

Пока шел спор, а Белые пытались взять ход назад, я огляделся. Я заметил портрет, изображающий то, что было когда-то императорской семьей. И усы знаменитого генерала, лет пять назад похищенного Москвой{64}. Еще я заметил явственную пружинную анатомию клопиного цвета кушетки, на которой, боюсь, спали все трое – муж, жена и ребенок. Цель посещения показалась мне вдруг нелепой до безумия. Еще я почему-то вспомнил цепочку фантазмагорических визитов Чичикова. Мальчик стал специально для меня рисовать автомобиль.

– К вашим услугам, – сказал Пал Палыч (он проиграл – Черные складывали в старую картонную коробку фигуры, – за вычетом наперстка).

Я произнес тщательно заготовленную фразу, что хотел бы видеть его жену, поскольку она была в дружбе... ммм... с моими немецкими друзьями (я боялся раньше времени упоминать имя Себастьяна).

– Тогда вам придется обождать, – сказал Пал Палыч. – Она ушла в город по делам. Думаю, скоро вернется.

Я решил ждать, хоть и чувствовал, что вряд ли мне сегодня удастся наедине побеседовать с его женой. Однако у меня была надежда искусными расспросами сразу же выяснить, знала ли она Себастьяна, а уж потом мало-помалу ее разговорить.

– А пока суд да дело, – сказал Пал Палыч, – хлопнем-ка мы немножко коньячку.

Ребенок, удовлетворившись выказанным мной интересом к его рисункам, направился к дядюшке, который немедленно посадил его к себе на колени и начал с невероятной скоростью весьма недурно рисовать очень красивую гоночную машину.

– Вы просто художник, – сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Пал Палыч, полоскавший стаканы в крохотной кухоньке, захохотал и крикнул через плечо:

– Да он вообще гений! Играет на скрипке, стоя на голове, перемножает телефонные номера за три секунды, он умеет писать свое имя перевернутыми буквами, да так, что не отличишь.

– А еще он такси водить умеет, – сказал ребенок, болтая тонкими грязными ножками.

– Я с вами пить не буду, – сказали Черные, когда Пал Палыч вернулся, неся стаканы. – Мы лучше с мальчиком прогуляемся. Где его одежды?

Отыскали пальто мальчишки, и они отправились. Пал Палыч стал разливать коньяк, говоря: «Вы должны меня извинить за эти стаканы. В России я был богатым, потом, десять лет назад, в Бельгии снова разбогател, а потом разорился. Будьте здоровы».

– Ваша жена шьет? – спросил я, чтобы не дать мячу остановиться.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Да вот, стала дамской портнихой... – сказал он со счастливым смехом. – А я наборщик, но меня только что уволили. А жена, наверное, сейчас вернется. Я и не знал, что у нее есть знакомые немцы, – добавил он.

– По-моему, – сказал я, – они познакомились в Германии. Или в Эльзасе?

Он с воодушевлением наполнял свой стакан, но вдруг замер и уставился на меня, приоткрыв рот.

– Тут какая-то ошибка! – воскликнул он. – Это, наверное, моя первая жена. Варвара Митрофанна, та, кроме Парижа, сроду нигде не была. Не считая, конечно, России. Она сюда попала прямо из Севастополя через Марсель. – Он осушил свой стакан и захохотал.

– Недурной коньячок, – сказал он, с любопытством меня разглядывая. – А мы с вами раньше встречались? Или вы мою первую знали?

Я отрицательно покачал головой.

– Тогда вам повезло, крупно повезло! – вскричал он. – А ваши приятели-немцы отправили вас искать ветра в поле. Так что и не ищите, все равно не найти.

– Почему? – спросил я, сильно заинтригованный.

– Потому что, едва мы разошлись – а это было давненько, – я ее сразу потерял из виду. Кто-то ее видел в Риме, кто-то – в Швеции, но все это сомнительно. Мне-то совершенно все равно – здесь она или у черта в ступе.

– А вы не могли бы мне посоветовать, как ее искать?

– Не имею представления, – сказал он.

– А общие знакомые?

– Это ее знакомые, не мои, – сказал он, пожимая плечами.

– Может, у вас есть какая-нибудь фотография?

– Послушайте, – сказал он, – к чему это вы клоните? Что, ее ищет полиция? Я ведь, знаете, не удивился бы, если б узнал, что она международная шпионка. Мата Хари!{65} Она той же породы. То есть абсолютно. И потом... Понимаете, она ведь не из тех женщин, чтобы взять да и выкинуть из головы, когда она влезет вам в печенки. Она меня высосала просто дочиста, во всех смыслах. И душу из меня вытянула, и деньги. Я бы ее убил... Но этим пусть Анатолий занимается{66}.

– А кто он? – спросил я.

– Анатолий? Ну, палач наш. Так вы, значит, не из полиции? Нет? Впрочем, это ваше дело. А меня она, по правде сказать, довела до умопомешательства. Я с ней познакомился, знаете ли, в Остенде. Было это, дайте вспомнить... в двадцать седьмом году. Ей тогда было двадцать. Нет, и двадцати не было. Я знал, что у нее и любовник, и всякое такое, но мне было наплевать. Она так понимала, что жизнь – это пить коктейли, плотно ужинать этак часа в четыре утра, танцевать шимми, или как там это называется, осматривать бордели – это парижские хлыщи завели такую моду, – покупать дорогие платья и поднимать тарарам в гостинице, когда ей покажется, будто прислуга украла мелочь, которую потом сама же находит в ванной комнате... И прочее в том же духе, – вы это все найдете в любом дешевом романчике: это же типаж, типаж. Еще она любила выдумать себе редкую болезнь, чтобы поехать с ней на какой-нибудь модный курорт, а уж там...

– Пойдите, – сказал я, – мне это важно. В июле двадцать девятого она была в Блауберге, причем она...

– Точно. Только это было уже под самый конец нашего супружества. Мы тогда жили в Париже и вскоре расстались, а я потом еще целый год ишачил в Лионе на заводе. Понимаете, я был просто разорен.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Вы имеете в виду, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину?

– Нет, ничего такого я не знаю. Видите ли, мне не кажется, чтобы она прямо уж так меня обманывала, что называется, на всю катушку. По крайней мере, я старался так думать, ведь около нее всегда вертелось стадо мужчин, и она, конечно, была не прочь, чтобы ее поцеловали, но я бы с ума сошел, если бы позволил себе ломать над этим всем голову. Раз, помнится...

– Простите, – я снова его прервал, – а вы уверены, что никогда не слышали о ее знакомом-англичанине?

– Англичанине? Вы вроде про немцев говорили. Нет, не знаю. Американец, по-моему, был один молодой в Сан-Максиме в двадцать восьмом году. Так он, когда Нинка с ним танцевала, всегда прямо сознание терял. А в Остенде и англичане могли быть, да и мало ли где еще. Но меня, по правде сказать, не очень-то интересовало подданство ее воздыхателей.

– Вы, значит, совершенно уверены, что про Блауберг ничего не знаете... ну, а дальше?

– Нет, – ответил он, – не думаю, чтобы кто-нибудь мог ее там прельстить. Тогда у нее как раз был очередной недуг, а она в таких случаях питается одним лимонным соком со льдом и огурцами и говорит о смерти, о нирване и тому подобном. У нее был пунктик насчет Лхасы{67} – ну, вы знаете, что я имею в виду.

– Не назовете ли ее точное имя? – попросил я.

– Ну, когда мы с ней познакомились, ее звали Нина Туровец{68}, а уж как там на самом деле... нет, я считаю, вам ее не найти. Мне, между прочим, часто думается, что ее просто никогда не было. Я Варваре Митрофанне про нее рассказывал, она говорит, что это я посмотрел плохую фильму и увидел дурной сон. Вы что, уже уходите? Она вот-вот вернется... – Он поглядел на меня и захохотал (он, по-моему, перебрал своего коньячку). – Ой, я забыл, – сказал он. – Вам же не эта моя жена нужна. И кстати, – добавил он, – бумаги у меня в полном порядке. Могу вам показать carte de travail[23]. А если вы ту найдете, я бы тоже не прочь на нее взглянуть, пока ее не посадили. А может, лучше не надо.

– Благодарю вас за беседу, – говорил я, когда мы с чуть излишним жаром жали друг другу руки – сначала в комнате, потом в коридоре, потом в дверях.

– Это вам спасибо, – кричал Пал Палыч. – Мне, вы знаете, очень нравится про нее рассказывать. Жалко вот, не уцелело ни одной карточки.

Мгновение я стоял задумавшись. Все ли я из него выжал?... К нему-то уж всегда можно будет еще раз наведаться... Не могло ли быть случайного снимка в какой-нибудь курортной газете с автомобилями, мехами, собаками, модами сезона на Ривьере? Я и спросил его об этом.

– Все может быть, – ответил он. – Она как-то выиграла приз на маскараде, но где, не помню. Для меня тогда все города были как один большой ресторан и танцулька. – Он покачал головой, бурно рассмеялся и захлопнул дверь. По лестнице мне навстречу поднимались Черные вместе с мальчиком.

– В некотором царстве, – говорили Черные, – жил-был автогонщик, и была у него белочка, и вот однажды...

#### Глава шестнадцатая

Сперва я решил, что добился желаемого, что теперь мне, по крайней мере, известно, кто любовница Себастьяна; но очень скоро я остыл. Неужели ею могла быть первая жена этого болтуна, размышлял я в такси, направляясь по следующему адресу. Стоит ли, в самом деле, дальше идти по этому следу, слишком уж правдоподобному? Разве образ, набросанный Пал Палычем, сам за себя не говорил? Капризная ветреница, порушающая жизнь глупца. Но не Себастьяна же? Я подумал о его остром отвращении к прямолинейной трактовке добра и зла, к страданиям заемного образца и усладам готового пошива. Женщина такого сорта стала бы немедленно действовать ему на нервы. О чем бы они могли разговаривать, даже если бы она умудрилась познакомиться в отеле «Бомон» с этим спокойным, необщительным, рассеянным англичанином? Сразу оценив, что у нее за душой, он, без сомнения,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru начал бы избегать встреч. Он, помнится, говаривал, что бойкие девы умом непрытки, что ничего нет скучнее, чем охочая до развлечений красotka. И даже больше: если внимательно приглядеться к самой что ни на есть прехорошенькой особе, покуда она источает сироп банальности, в ее красоте наверняка отыщется какой-нибудь маленький изъян, отвечающий изъяну ее мышления. Он, может, был и не прочь отведать яблока греха, ибо, исключая грехи против синтаксиса, к идее греха был равнодушен; но получить взамен яблочное желе, патентованное и разложенное по банкам, увольте. Он мог простить женщине легкомыслие, но дутую таинственность – никогда. Бедовая девчонка, захмелевшая от пива, его бы позабавила, а вот от намеков какой-нибудь grande cocotte[24], что ей до смерти хочется покурить гашиша, его бы передернуло. Чем больше я размышлял, тем менее вероятным все это выглядело. В любом случае не стоило заниматься сей особой, не проверив двух других вариантов.

Вот почему я с таким нетерпением переступал порог щеголеватого дома в весьма шикарной части Парижа, к которому меня подвез таксомотор. Горничная сказала, что мадам нет дома, но при виде моего разочарования попросила немного подождать и вернулась со словами, что, если мне угодно, я могу поговорить с мадам Лесерф[69], подругой мадам фон Граун. Ко мне вышла хрупкая маленькая дама с бледным лицом и мягкими черными волосами, – думаю, мне еще не случалось видеть столь ровной бледности. На ней было глухое черное платье, а в руке она держала длинный черный мундштук.

– Так вы хотите видеть мою подругу? – спросила она, и в ее хрустально-прозрачном французском мне почудилась восхитительная старосветская обходительность.

Я представился.

– Да, я видела вашу карточку, – сказала она. – Вы ведь русский, не правда ли?

– Я пришел по очень деликатному делу, – пояснил я. – Но скажите прежде, прав ли я, полагая, что мадам Граун – моя соотечественница?

– Mais oui, elle est tout ce qu'il y a de plus russe[25], – ответствовала она своим нежным звенящим голосом. – Муж ее был немец, но он тоже говорил по-русски.

– О, – сказал я, – прошедшее время тут очень кстати.

– Вы можете быть со мною откровенны, – сказала мадам Лесерф. – Я обожаю деликатные поручения.

– Я родственник, – продолжал я, – английского писателя Себастьяна Найта – он умер два месяца назад, и я надеюсь написать его биографию. У него была близкая приятельница, он с ней познакомился, когда в двадцать девятом году отдыхал в Блауберге. Я пытаюсь ее отыскать. Вот, кажется, и все.

– quelle drôle d'histoire![26] – воскликнула она. – А что бы вы хотели от нее услышать?

– Да все, что ей заблагорассудится... Но должен ли я понимать... вы действительно думаете, что мадам Граун и есть та дама?

– Очень возможно, – сказала она, – хоть и не помню, чтобы я от нее когда-нибудь слышала это имя... как вы сказали?

– Себастьян Найт.

– Нет, не слыхала. Но все же вполне возможно. У нее всегда заводятся друзья, где бы она ни жила. Il va sans dire[27], – добавила она, – вам следует поговорить с ней самой. Уверена, вы найдете ее очаровательной. Какая, однако, странная история, – повторила она, глядя на меня с улыбкой. – Зачем вам писать о нем книгу и как получилось, что вы не знаете имени этой дамы?

– Себастьян Найт был человек довольно скрытный, – пояснил я. – А ее письма, которые у него хранились... понимаете, он пожелал, чтобы после его смерти они были уничтожены.

– Правильно, – сказала она, оживляясь, – я его вполне понимаю. Всегда жгите

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
любвные письма. Прошлое – самое благородное горячее. Не хотите ли чаю?

– Нет, – отвечал я. – Что бы я хотел, так это узнать, когда можно видеть мадам Граун.

– Скоро, – ответила мадам Лесерф. – Сейчас ее нет в Париже. Почему бы вам не зайти завтра? Да, это наверное будет в самый раз. Она может вернуться уже сегодня вечером.

– Прошу вас, – сказал я, – расскажите немного о ней.

– Что ж, это нетрудно, – сказала мадам Лесерф. – Она хорошо поет. Ну, знаете, цыганские песни. Она необыкновенная красавица. Elle fait des passions[28]. Я ужасно ее люблю; когда я бываю в Париже, для меня в этой квартире всегда есть комната. Вот, кстати, ее портрет.

Она бесшумно и неторопливо прошлась по устланной толстым ковром гостиной и сняла с рояля большую обрамленную фотографию. С минуту я рассматривал полуотвернутое от зрителя изысканно-красивое лицо. Мягкий изгиб щеки и пропадающий взлет брови – очень русские, подумал я. На нижнем веке и налитых темных губах лежало по блику. Выражение лица показалось мне странной смесью мечтательности и коварства.

– Да, – сказал я. – Да...

– Так это она? – испытующе спросила мадам Лесерф.

– Возможно, – отвечал я, – и мне не терпится ее увидеть.

– Я попробую разведать сама, – сказала мадам Лесерф с очаровательным видом заговорщицы. – По-моему, гораздо достойнее написать книгу про людей, которых знаешь, чем сделать из них котлетный фарш, а потом подавать это как беллетристику!

Я поблагодарил ее и попрощался на французский лад. Ручка у нее была на удивление маленькая, и, когда я чуть сжал ее ненароком, она поморщилась, так как на среднем пальце носила большое кольцо с острым камнем. Я тоже о него укололся.

– Завтра в это же время, – сказала она с нежным смехом.

Очаровательное спокойствие, бесшумная походка. Я ничего еще не узнал, но чувствовал, что успешно продвигаюсь вперед. Оставалось еще очистить совесть в отношении Лидии Богемской. Когда я пришел по имевшемуся у меня адресу, консьерж сказал, что она уже несколько месяцев назад как съехала, но как будто бы квартирует в отельчике напротив. Там мне заявили, что она недели три как переехала на другой конец города. Я спросил своего осведомителя, не русская ли она. Он отвечал утвердительно.

«Привлекательная брюнетка?» – спросил я, пользуясь испытанным приемом Шерлока Холмса. «Точно так», – отвечал он, больше чтобы отвязаться (правильный ответ был бы: «да нет же, уродливая блондинка»). Спустя полчаса я входил в угрюмого вида здание неподалеку от тюрьмы Сантэ. Дверь на мой звонок открыла толстая багровощекая матрона с ярко-оранжевыми завитыми волосами. Ее накрашенные губы были опушены темной порослью.

– Могу ли я говорить с мадемуазель Лидией Богемской? – спросил я.

– C'est moi[29], – ответила она с невероятным русским акцентом.

– Тогда я сейчас кое-что принесу, – пробормотал я, поспешно удаляясь. Иногда мне кажется, что она так и ждет до сих пор в дверях.

Когда я на следующий день снова пришел в дом мадам фон Граун, горничная провела меня уже в другую комнату – подобие будуара, всеми силами старавшегося выглядеть обворожительно. Я еще накануне успел заметить, что в квартире очень жарко, а поскольку погода стояла хоть и явно сырая, но никак не холодная, такой разгул центрального отопления показался мне чрезмерным. Ждать меня заставили довольно долго. На пристенном столике валялось несколько французских романов, не совсем новых и в большинстве увенчанных литературными премиями, а также изрядно

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru почитанный «Сан-Микеле» д-ра Акселя Мунте{70}. В застенчивой вазе стояли гвоздики. В комнате было еще немало хрупкой дребедени – возможно, совсем недурной и недешевой, но я всегда разделял почти патологическую нелюбовь Себастьяна ко всему фарфоровому и стеклянному. Дело венчал прикинувшийся мебелью лакированный предмет, где прятался, судя по всему, кошмар из кошмаров – радиоприемник. Подводя итоги, Хелене фон Граун можно было, пожалуй, расценить как особу «культурную и со вкусом».

Наконец дверь отворилась, и в комнату стала бочком пробираться вчерашняя дама – именно бочком, то и дело оборачиваясь к чему-то, что оказалось скулящим черным бульдогом с лягушачьей мордой, который, как видно, вовсе не хотел сюда идти.

– Осторожно, сапфир, – предостерегла она, подавая маленькую холодную руку.

Она уселась на синий диванчик и подтащила тяжелого пса.

– *Viens, mon vieux, viens*[30]. – Дыхание у нее еще не успокоилось. – Совсем без Элен зачах, – добавила она, с удобством устраивая зверя в подушках. – Такая жалость, я считала, что она приезжает сегодня утром, но она позвонила из Дижона и сказала, что до субботы ее не будет. (Нынче был вторник.) Страшно сожалею, но я не знала, как вам сообщить. Вы очень разочарованы? – спросила она, глядя на меня. Она положила подбородок на сплетенные пальцы, ее острые локти в обтягивающем бархате упирались в колени.

– Что ж, – сказал я, – если вы мне еще что-нибудь расскажете про мадам Граун, я, может быть, утешусь.

Не знаю почему, но атмосфера этого места как-то настраивала на книжные обороты.

– Более того, – сказала она, поднимая палец с острым ноготком, – *j'ai une petite surprise pour vous*[31]. Но сначала чай.

Я понял, что чайной церемонии на сей раз не избежать, – и действительно, горничная уже вкатывала столик со сверкающим сервизом.

– Сюда, пожалуйста, Жанна, – сказала мадам Лесерф. – Вот так. А теперь вы со всей откровенностью должны мне назвать, *tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé*[32]. Наверное, если вы жили в Англии, то хотите сливок. Знаете, вы похожи на англичанина.

– я предпочитаю быть похожим на русского, – сказал я.

– У меня, боюсь, нет русских знакомых, кроме, понятно, Хелене... Печенье, по-моему, довольно забавное...

– Так что же у вас за сюрприз? – спросил я. У нее была странная манера пристально на вас глядеть, но не в глаза, а ниже, словно у вас крошка на подбородке или что-то такое, что надобно вытереть. Для француженки она была мало подкрашена, и я подумал, что ее черные волосы и прозрачная кожа очень привлекательны.

– Ах, – сказала она, – когда Хелене звонила, я задала ей один вопрос, и... – Она остановилась, явно забавляясь моим нетерпением.

– И она ответила, – сказал я, – что никогда такого имени не слышала.

– Нет, – сказала мадам Лесерф, – она засмеялась, но я-то знаю этот ее смех.

Тут я, кажется, встал с места и заходил по комнате.

– Видите ли, – сказал я после паузы, – тут не совсем до смеха. Ей известно, что Себастьян Найт умер?

Мадам Лесерф прикрыла бархатные черные глаза в безмолвном «да» и снова поглядела на мой подбородок.

– Вы с ней виделись в последнее время – я имею в виду, в январе, когда газеты писали о его смерти? Разве она не была опечалена?

– Мой друг, вы удивительно наивны, – сказала мадам Лесерф. – Любовь бывает разная, и печаль бывает разная. Допустим, Хелене – та, кого вы ищете. Но из чего явствует, что она любила его настолько, чтобы горевать о его смерти? А может, она и впрямь его любила, но у нее свои взгляды на смерть, которые исключают всякую истерику? Что мы об этом знаем? Все это ее личное дело. Я думаю, что она сама вам все расскажет, а до этого не очень-то благородно так на нее нападать.

– Я вовсе не нападаю, – воскликнул я. – Очень жаль, если это прозвучало обидно. Но рассказывайте же. Как давно вы ее знаете?

– Да мы с ней до нынешнего года редко виделись – она, знаете, много путешествует, – а когда-то мы тут, в Париже, ходили в один лицей. Ее отец, по-моему, русский художник. Она была еще очень молода, когда вышла замуж за этого дурака.

– Какого дурака? – спросил я.

– Своего мужа, конечно. Большинство мужей дураки, но тот был hors concours[33]. К счастью, длилось это недолго. Попробуйте мои. – Она протянула мне и зажигалку. Бульдог забурчал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе калачиком, освобождая для меня место. – Вы, кажется, невеликий знаток женщин? – спросила она, поглаживая собственную пятку.

– Меня интересует одна, – сказал я.

– А сколько вам лет? – продолжала она. – Двадцать восемь? Я угадала? Нет? Значит, вы старше меня. Ну, неважно. Так что я говорила?.. Да, знаю я о ней немало – кое-что от нее самой, кое-что от других. Она в своей жизни любила одного-единственного человека, да и то женатого, причем еще до своего замужества, когда она была, заметьте, совсем подростком, и он от нее, кажется, просто устал. Потом у нее было несколько романов, но они уже не имели значения. Un cœur de femme ne ressuscite jamais[34]. Потом случилась еще одна история – она мне всю ее рассказала от начала до конца, – история довольно грустная.

Она засмеялась. Зубы ее казались великоватыми для маленького бледного рта.

– У вас такой вид, будто вы сами влюблены в мою подругу, – заметила она с издевкой. – Я вас, кстати, хотела спросить: как вы раздобыли этот адрес, вернее, что побудило вас искать Хелене?

Я рассказал ей про четыре адреса, полученные в Блауберге, и назвал имена.

– Вот это да! – воскликнула она. – Вот это энергия! Voyez-vous ça![35] И в Берлин ездили? Она еврейка? Какая прелесть? И других вы тоже нашли?

– Одну я повидал, – сказал я, – и с меня хватило.

– Которую? – заходясь от смеха, спросила она. – Которую? Речную?

– Нет. Ее бывший муж женат на другой женщине, а той и след простыл.

– Вы прелесть, прелесть, – сказала мадам Лесерф, утирая глаза платком и снова заливаясь смехом. – Так и вижу, как вы вламываетесь к невинной чете. Нет, ничего забавнее я никогда не слышала. И как его жена? Спустила вас с лестницы?

– Давайте оставим эту тему, – сказал я довольно решительно.

Ее веселье начинало меня раздражать. У нее, похоже, было присущее французам юмористическое отношение к матримониальной сфере, в другую минуту и я бы его разделил, но тут мне почудилось, что такое игриво-развязное отношение к моему расследованию как-то принижает память Себастьяна. Это чувство росло, мне стало казаться, что и вся моя затея такова, что своей неловкой ловлей призрака я каким-то образом сгубил самую возможность составить представление о последней любви Себастьяна. А может, его как раз бы позабавила гротескная сторона исследования его собственной жизни? Может быть, объект биографии усмотрел бы в них особый найтовский выверт, вполне искупающий промахи биографа?

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Пожалуйста, простите, – сказала она, кладя свою ледяную руку на мою и глядя исподлобья. – Не будьте таким недотрогой.

Она поспешно встала и направилась к этой штуковине из красного дерева в углу. Она склонилась к ней, и не успел я полюбоваться ее тонким, как у девочки, станом, как понял, что она собирается сделать.

– Умоляю, только не это! – воскликнул я.

– Вот как? – сказала она. – А я думала, музыка вас умиротворит. Да и просто создаст атмосферу для беседы. Нет? Ну, как хотите.

Бульдог встал, встряхнулся и снова лег на место.

– Умница моя, – протянула она вкрадчивым голосом.

– Вы хотели что-то рассказать, – напомнил я.

– Да, – отозвалась она и снова уселась со мною рядом, одну ногу подсунув под себя и расправляя юбку. – Видите ли, я не знаю, кто был этот человек, но, как я поняла, был он не из легких. По словам Хелене, ей нравилась его внешность, руки и манера речи. И она решила, что это будет потеха – сделать его своим любовником. Потому что, понимаете, он выглядел таким высококобым, а ведь так, знаете ли, забавно, когда эдакий утонченный холодный умник вдруг опускается на все четыре лапы и виляет хвостиком. Чем вы опять недовольны, *cher Monsieur*?[36]

– Бога ради, что это вы такое рассказываете? – вскричал я. – Когда... где и когда все это было?

– *Ah non merci, je ne suis pas le calendrier de mon amie. Vous ne voudriez pas?*[37] Я же не выпытываю у вас имена и даты. Да если б она их и называла, я бы сразу забыла. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов – я рассказываю, что знаю, а не то, что вам хочется узнать. По-моему, он вам не родственник, потому что вы на него совсем не похожи – насколько можно, конечно, судить по ее рассказам и по тому, что я вижу перед собой. Вы живой, хороший мальчик, а про него уж никак не скажешь «хороший». Когда же он почувствовал, что влюбляется в Хелене, то сделался совершенно несносен. Нет, ни в какого сентиментального щенка он, против ожидания, не превратился. Он ей злобно говорил, что она никудышная дрянь, а потом целовал ее, дабы убедиться, что она не фарфоровая статуэтка. А она ею никогда и не была. И тут он понял, что жить без нее не может, а она поняла, что довольно наслушалась рассказов о его снах, снах во снах и снах во снах его снов. Заметьте, я никого не осуждаю. Может, оба правы, а может, ни один, но понимаете, моя подруга совсем не та заурядная женщина, какой он ее считал, это абсолютно другой случай. Она о людях, о жизни и смерти знает капельку больше, чем он, по его убеждению, знал сам. Он был из тех, кто считает, что современные книги – чушь, молодежь – сплошь дураки, а все оттого, что слишком был поглощен своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других людей. Нельзя даже себе представить, говорила она, что у него за вкусы и причуды, а как он высказывался о религии... думаю, просто возмутительно. «А моя подруга такая жизнерадостная, вернее, была, – *très vive*[38], ну, вы понимаете. Но стоило ему появиться – и она чувствовала, как превращается в прокисшую старуху. Дело еще в том, что он никогда с ней подолгу не оставался. Придет à l'improviste[39], плюхнется на пуф, руки положит на набалдашник трости, даже перчаток не снимет, сидит и мрачно смотрит. Вскоре она подружилась с другим человеком, который ее боготворил и был к ней бесконечно внимательнее, добрее и отзывчивее, чем тот, кого вы ошибочно считаете братом, не злитесь, пожалуйста. Оба они были ей, в общем, безразличны, и она рассказывала, как уморительно вежливы были эти двое друг с другом, когда встречались. Она любит путешествовать, но только она найдет хорошее местечко, чтобы отдохнуть от забот, как он опять застит пейзаж – усядется за стол у нее на веранде и твердит, что она никудышная дрянь и что он жить без нее не может. А то еще пустится в рассуждения перед ее друзьями – *les jeunes gens qui aiment à rigoler*[40], – такие, знаете, длинные и непонятные, насчет формы пепельницы или про окраску времени, и вот, смотришь, все разошлись, а он сидит на стуле один-одинешенек, сам себе глупо улыбается или считает себе пульс. Жаль, если он и впрямь ваш родственник, потому что вряд ли у нее остались приятные воспоминания от этих дней. Под конец это стало для нее сущим наказанием, она ему даже запретила прикасаться к себе, потому что от возбуждения его мог хватить удар. И вот раз

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru она узнает, что он приезжает ночным поездом, и тогда она просит молодого человека, который на все готов ради нее, встретить его и передать, что она его больше не хочет видеть, а если он станет добиваться встречи, то ее друзья расценят это как назойливое домогательство и поступят с ним соответственно. Наверное, это не очень красивый поступок, но она сочла, что в конечном счете так будет лучше и для него. И это сработало. Он даже перестал посылать ей свои обычные умоляющие письма, которых она, впрочем, все равно не читала. Да нет же, речь явно идет совсем о другом человеке, и если я вам все это рассказываю, так это исключительно для того, чтобы дать вам представление о самой Хелене, не о ее любовниках. Она была такая жизнелюбивая, всех готовая приветить, прямо лучилась этой *vitalité joyeuse qui est, d'ailleurs, tout-à-tait conforme à une philosophie innée, à un sens quasi-réligieux des phénomènes de la vie*[41]. и что получилось в итоге? Все мужчины, которых она любила, приносили ей тягостное разочарование, все женщины, за редким исключением, оказывались попросту кошками, а лучшие годы прошли в попытках найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Впрочем, познакомитесь с ней – сами увидите, преуспел ли мир.

Довольно долго мы молчали. Увы, сомнений не оставалось: это был образ Себастьяна, правда чудовищный, – но ведь и получил я его из вторых рук.

– Да, – сказал я, – я непременно должен ее увидеть по двум причинам: во-первых, я ей хочу задать один вопрос, всего один. А во-вторых...

– Да? – спросила мадам Лесерф, отпивая холодный чай, – что же во-вторых?

– Во-вторых, я не в силах понять, чем такая женщина могла привлечь моего брата, – хочу увидеть ее своими глазами.

– Вы хотите сказать, – отозвалась мадам Лесерф, – что, на ваш взгляд, она ужасная роковая женщина? *Une femme fatale*?[42] Но все дело в том, что это не так. Она просто золото.

– Да нет же, – сказал я, – не роковая и не страшная. Скорее, если угодно, умная. Только... нет, надо посмотреть самому...

– Поживем – увидим, – сказала мадам Лесерф. – А теперь слушайте, у меня есть предложение. Боюсь, если вы заглянете в субботу, Хелене будет в такой спешке – она всегда в спешке, – что она попросит вас прийти в воскресенье, забыв, что в воскресенье она собирается на неделю ко мне в деревню. И вы опять ее упустите. Одним словом, думаю, лучше всего для вас будет тоже ко мне приехать. Уж там-то вы с ней встретитесь совершенно точно. Так что приезжайте с утра в воскресенье, а пробудете сколько захотите. У нас четыре свободных комнаты, я думаю, вам будет удобно. И потом, знаете, если я с ней сначала сама немножко поговорю, она будет подготовлена к вашей беседе. *Eh bien, êtes-vous d'accord*?[43]

#### Глава семнадцатая

Как странно, раздумывал я: налицо словно бы фамильное сходство между Ниной Речной и Еленой фон Граун – по крайней мере, между портретами, нарисованными мужем первой и подругой второй. Выбирать было особенно не из чего: Нина пуста и тщеславна, Елена коварна и жестока, та и другая вздорны; обе не в моем вкусе, как, я думаю, и не во вкусе Себастьяна. Любопытно, познакомились ли обе дамы в Блауберге. Они могли бы поладить, но это в теории, на самом же деле, вероятно, обменивались бы шипением и плевками. Зато теперь можно больше не искать Речную, и это – большое счастье. То, что мне порассказала о любовнике своей подруги молодая француженка, едва ли могло быть случайным совпадением. Что бы я ни пережил, слушая, как она обращалась с Себастьяном, мне трудно было удержаться от радости, что расследование близится к концу и я избавлен от невыносимой задачи откапывать первую жену Пал Пальча, которая с одинаковым успехом могла пребывать в тюрьме или в каком-нибудь Лос-Анджелесе.

Поскольку это был последний мой шанс, я попытался подстраховать свою встречу с Еленой фон Граун и, совершив неслыханное усилие, послал ей письмо по парижскому адресу, чтобы она прочла его по возвращении. Письмо было совсем короткое: я просто уведомлял, что приглашен ее подругой в Леско и принял приглашение единственно с целью ее увидеть. Я добавил, что хочу обсудить с ней кое-какие важные литературные дела. Последняя фраза была не вполне искренней, зато, по-моему, завлекательной. Я так и не понял, шла ли речь в давешнем телефонном разговоре с Дижоном, что я хочу с ней встретиться. Я безумно боялся, что в

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru воскресенья мадам Лесерф мне ласково сообщит, что Елена вместо Парижа отправилась куда-нибудь в Ниццу. Отослав это письмо, я по крайней мере счел, что сделал все от меня зависящее, чтобы свидание состоялось.

Я выехал в девять утра, чтобы к двенадцати, как договорились, быть в Леско. Садясь в поезд, я вдруг с содроганием осознал, что буду проезжать через Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Никогда не забуду, как мне пришлось однажды сюда добираться. Но память отказывалась что-либо узнавать: когда поезд на минуту остановился у платформы Сен-Дамье, одна лишь вывеска заверяла меня, что я здесь бывал. Сам городок выглядел таким простым, обыденным, степенным по сравнению с искаженным, словно из какого-то сна, образом, удержанным моей памятью. Или этот образ исказился теперь?

Когда поезд тронулся, я испытал странное облегчение от того, что больше не блуждаю призрачными тропами, по которым ступал два месяца назад. Стояла прекрасная погода, и всякий раз, когда поезд останавливался, я слышал, казалось, легкое неровное дыхание весны, еще с трудом различимой, но уже несомненной. «Кордебалет, переминаясь на зябнувших ногах, ожидает в кулисах», – выразился как-то Себастьян.

Мадам Лесерф жила в огромном ветшающем доме. Десятка два старых больших деревьев исполняли обязанности парка. С одной стороны подступали поля, с другой – увенчанный фабрикой холм. Все почему-то имело какой-то пыльный, усталый, обносившийся вид; потом, когда я узнал, что дому всего лет тридцать с небольшим, я еще более подивился его старообразности. На ведущей к подъезду дорожке мне попался господин, торопливо скрипевший по гравию мне навстречу. Он остановился и пожал мне руку.

– Enchanté de vous connaître[44], – сказал он, смерив меня меланхоличным взглядом.

– Моя жена вас ждет. Je suis navré[45], но в это воскресенье я должен быть в Париже.

Это был довольно обыкновенный средних лет француз, с усталыми глазами и автоматической улыбкой. Мы обменялись еще одним рукопожатием.

– Mon ami[46], вы опоздаете на поезд, – донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерф, и он послушно посеменил прочь.

Сегодня на ней было бежевое платье, она ярко покрасила губы, но даже не подумала что-то сделать с прозрачной бледностью лица. На солнце ее волосы отдавали сизым, и я поймал себя на мысли, что передо мной, в конце концов, очень хорошенькая женщина. Мы прошли через две или три комнаты, имевшие такой вид, словно они негласно поделили между собой обязанности большой гостиной. В этом неприятном, путаном доме мы были, похоже, совершенно одни. На зеленом шелковом канapé валялась шаль; она в нее закуталась.

– Холодно, – сказала она. – Что я ненавижу, так это холод. Дотроньтесь до моих рук. Они согреваются только летом. Присаживайтесь, скоро нас позовут к столу.

– Когда точно она приедет? – спросил я.

– Ecoutez[47], – сказала мадам Лесерф, – вы можете хоть ненадолго о ней забыть и поговорить о чем-нибудь другом? Ce n'est pas très poli, vous savez[48]. Расскажите что-нибудь о себе. Где вы живете, что делаете?

– Так будет она здесь сегодня?

– Да будет, упрямец вы эдакий, Monsieur l'entêté[49]. Будет всенепременно. Не будьте таким нетерпеливым. Вам известно, что женщинам не очень нравятся мужчины с idée-fixe?[50] А как вам показался мой муж?

Я отвечал, что он, должно быть, намного ее старше.

– Он очень мил, только ужасно скучный, – смеясь, продолжала она. – Я нарочно его отослала. Мы год женаты, а уже словно близимся к брильянтовой свадьбе. И дом этот я терпеть не могу. А вы что скажете?

Я отвечал, что вид у него капельку допотопный.

– Не то слово. Когда я впервые его увидела, он казался новехоньким, но с тех пор захирел и стал осыпаться. Я как-то пожаловалась своему доктору, что, стоит мне дотронуться до каких-нибудь цветов, кроме гвоздик и нарциссов, они тут же вянут. Странно, правда?

– И что он ответил?

– Что он не ботаник. Была когда-то персидская царевна вроде меня{71}. Она сгубила весь дворцовый сад.

Пожилая и довольно мрачная служанка заглянула в дверь и кивнула хозяйке.

– Пойдемте, – сказала мне мадам Лесерф. – Судя по вашему виду, vous devez mourir de faim[51].

В дверях мы столкнулись, потому что, когда я шел за ней следом, она вдруг остановилась и поглядела назад. Она вцепилась мне в плечо, и ее волосы коснулись моей щеки.

– Экий вы неуклюжий, – сказала она. – Я забыла свои пилюли.

Она вернулась за ними, и мы отправились через весь дом на поиски столовой. Наконец мы ее отыскали. Это была гнетущая комната; окно-фонарь в последнюю минуту, казалось, передумало и робко попыталось снова превратиться в обыкновенное. В две разные двери тихо вплыли две фигуры. Пожилая дама была, насколько я понял, кузиной господина Лесерфа. Речь ее не выходила за пределы вежливого мурлыканья при передаче блюд. Другой вошедший был довольно привлекательный мужчина в брюках гольф, с церемонным выражением лица и необычной седой прядью в редких светлых волосах. За всю трапезу он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерф представила нас друг другу по-своему, одним торопливым жестом, не потрудившись назвать имен. Я заметил, что она не обращает на блондина никакого внимания, будто он сидит за другим столом. Кушанья, хоть и хорошо приготовленные, были какие-то случайные. Вино, однако, оказалось превосходным.

Когда приборы отстучали первое блюдо, блондин закурил папиросу и удалился. Через минуту он вернулся, неся пепельницу. Мадам Лесерф, до этого поглощенная едой, сказала, взглянув на меня:

– Так вы, стало быть, в последнее время много путешествовали? А вот я ни разу не была в Англии, все как-то не получалось. Прескучное, должно быть, место. On doit s'y ennuyer follement, n'est ce pas?[52] Да еще туманы... И ни тебе искусства, ни музыки... Этот кролик приготовлен по-особому, надеюсь, вам понравится.

– Кстати, – сказал я, – чуть не забыл: я написал вашей приятельнице письмо, что буду здесь... нечто вроде напоминания.

Мадам Лесерф положила нож и вилку. Вид у нее был удивленный и раздосадованный.

– Как! – воскликнула она.

– Что ж тут плохого? Или вы думаете...

Мы молча доели кролика. Последовал шоколадный крем. Светловолосый господин аккуратно сложил салфетку, вставил в кольцо, встал и, слегка поклонившись хозяйке, удалился.

– Кофе будем пить в зеленой гостиной, – сказала мадам Лесерф служанке.

– Я на вас страшно зла, – сказала она, едва мы уселись. – Думаю, вы все испортили.

– Что же такого я сделал? – спросил я.

Она отвернулась. Маленькая тугая грудь ее вздымалась. (Себастьян где-то пишет, что такое бывает только в романах, но вот доказательство, что он не прав.) Еще,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru кажется, подрагивала голубая прожилка на бледной, почти девичьей шейке (тут я менее уверен). Ресницы трепетали. Да, она определенно была хороша. Не южанка ли? Например, из Арля. Нет, выговор парижский.

– Вы родом из Парижа?

– Благодарю, – сказала она, не глядя на меня. – Это ваш первый вопрос обо мне самой. Но это не искупает вашей вины. Глупее вы поступить не могли. Попробую, может быть... Извините, сейчас вернусь.

Я уселся поудобнее и закурил. Косой солнечный луч кишел пылинками: к ним добавились спирали табачного дыма и легко закружились, словно готовые всякий миг угодливо сложиться в живую картину. Не хотел бы, повторяю, тревожить эти страницы ничем относящимся ко мне лично; но мне кажется, что читателя (а кто скажет – может быть, и призрак Себастьяна) позабавит, если я скажу: в голове у меня мелькнула мысль с ней переспать. Это было действительно странно – она ведь одновременно и раздражала меня, вернее, ее речи. Я почувствовал, что теряю власть над собой. Однако к ее возвращению я мысленно встряхнулся.

– Ну вот, вы добились, – сказала она. – Хелене нет дома.

– Tant mieux[53], – отвечал я. – Она, должно быть, в пути, а вы, право же, должны меня понять: мне безумно не терпится ее увидеть.

– Но для чего, скажите на милость, вам понадобилось ей писать? – вскричала мадам Лесерф. – Вы ее даже не знаете. Я ведь вам обещала, что сегодня она здесь будет. Можно ли требовать большего? А если вы мне не верите, если решили меня проверять – alors vous êtes ridicule, cher Monsieur[54].

– Да нет же, – чистосердечно отвечал я, – мне это и в голову не приходило. Я просто думал... как говорят у нас в России, каши маслом не испортить.

– Какое мне дело до каши... и до России, – сказала она.

Что мне было делать? Я взглянул на ее руку, лежавшую возле моей. Рука слегка подрагивала, – она была в таком легком платье... по моему позвоночнику тоже пробежала дрожь, вызванная отнюдь не холодом. Поцеловать ей руку? Нужен ли с нею галантный ритуал, не буду ли я выглядеть полным дураком?

Она вздохнула и поднялась с места.

– Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули, так что даже если она приедет... ну, не важно. Видно будет. Хотите осмотреть наши владения? Мне кажется, снаружи теплее, чем в этом печальном доме.

«Владения» состояли из сада и рожицы, которые я уже успел приметить. Стояло безветрие. Черные ветви, кое-где уже подернутые зеленью, казалось, вслушивались в свою потаенную жизнь. На всем лежала тень уныния и скуки. Таинственный садовник выкопал яму и ушел, оставив лопату ржаветь у кирпичной стены, возле которой он накидал кучу земли. Я припомнил, не знаю уж почему, одно недавнее убийство: убийца зарыл жертву в точно таком же саду.

После затянувшегося молчания мадам Лесерф произнесла:

– Вы, судя по всему, очень любили вашего сводного брата, если столько носитесь с его прошлым. Отчего он умер? Самоубийство?

– Да нет, – сказал я. – У него было больное сердце.

– А мне казалось, вы говорили, что он застрелился. Это было бы куда романтичнее. Я буду разочарована, если герою вашей книги придет конец в постели. Летом у нас здесь цветут розы, вон там, где эта слякоть. Но чтоб я тут провела еще хоть одно лето – увольте!

– Мне бы и в голову не могло прийти хоть в чем-то фальсифицировать его жизнь, – сказал я.

– Ну конечно, конечно. Я знала человека, который издал письма покойной жены и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru дарил потом знакомым. Почему вы думаете, что биография вашего брата кому-нибудь будет интересна?

– Вам доводилось читать... – начал было я, но в эту минуту у ворот остановился шикарный, хоть и изрядно замызганный автомобиль.

– Боже правый, – сказала мадам Лесерф.

– Может, это она? – воскликнул я.

Из машины выбралась дама – и прямо в лужу.

– Да, это она, – сказала мадам Лесерф. – Только оставайтесь, пожалуйста, здесь.

Она побежала по дорожке, маша рукой, расцеловала приезжую, потом повела ее куда-то влево, и обе они исчезли за кустами. Я заметил их еще раз, когда, обойдя сад, они стали подниматься по ступенькам, потом скрылись в доме. Практически от Елены фон Граун у меня остались в памяти только незастегнутая меховая шубка да яркий шарф.

Я отыскал каменную скамеечку и на ней уселся. Я был возбужден и скорее собой доволен, ибо наконец-то настиг добычу. На скамейке лежала чья-то тросточка – я потыкал ею о влажную бурую землю. Успех! Нынче же вечером, как только я с ней поговорю, вернусь в Париж, и... В эти мысли втерся чужак – подкидыш, трепещущий уродец, юркнул и смешался с толпой... А надо ли вечером уезжать? Как она звучала, эта задыхающаяся фраза во второразрядном рассказе Мопассана? «Я забыл книгу»{72}. Но кажется, и я забываю про свою.

– Вот вы где, – раздался голос мадам Лесерф. – А я уже решила, что вы уехали.

– Ну как, все благополучно?

– Менее всего, – отвечала она спокойно. – Не знаю, что вы ей там написали, но она решила, что речь идет об одном кинематографическом начинании, которое она пробует затеять. Говорит, что вы ее загнали в ловушку. Теперь извольте делать, что я скажу. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра вы с ней не заговаривайте, но оставайтесь здесь и будьте по отношению к ней предельно любезны. Она обещала мне все рассказать, а потом, может, и вы с ней поговорите. Идет?

– Ужасно мило, что вы взяли на себя столько хлопот, – сказал я.

Она присела рядом со мной на скамейку, а поскольку скамейка была очень короткая, а я – как бы это сказать – скорее крепкого сложения, наши плечи соприкоснулись. Я облизал губы и тростью, которая оставалась у меня в руке, стал чертить на земле.

– Что это вы рисуете? – спросила она и кашлянула.

– Свои мысленные волны, – глупо ответил я.

– Когда-то, – проговорила она вкрадчиво, – я поцеловала одного мужчину только за то, что он умел писать свое имя перевернутыми буквами.

Палка выпала у меня из рук. Я уставился на мадам Лесерф. Я разглядывал ее белый гладкий лоб, ее фиалково-темные веки, которые она опустила, должно быть неверно истолковав мой взгляд, крохотную бледную родинку на бледной щеке, тонкие крылья носа, верхнюю губу, поджавшуюся, когда она опустила свою темную головку, ровную белизну шеи, покрытые лаком розовые ногти на тонких пальцах. Когда она подняла голову, ее странно бархатные глаза – раек чуть выше обычного – глядели прямо на мои губы.

Я поднялся с места.

– Что это с вами? – сказала она. – Что вы такое подумали?

Я покачал головой. Впрочем, она была права. Я и в самом деле подумал кое о чем, что требовало немедленного решения.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Как, мы уже идем в дом? – спросила она, когда мы двинулись по дорожке.

Я кивнул головой.

– Но она спустится еще не скоро. Скажите, почему вы дуетесь?

Тут я, кажется, остановился и снова на нее уставился. На этот раз – на ее стройную фигурку в облегающем платье цвета буйволовой кожи.

Я двинулся дальше в тяжелом раздумье, и вся в солнечных пятнах дорожка, казалось, хмурится мне в ответ.

– Vous n'êtes guère aimable[55], – сказала мадам Лесерф.

На веранде стоял стол и несколько стульев. За столом сидел давешний светловолосый молчун и исследовал механизм своих часов. Садясь, я неловко задел его локоть, и он уронил какой-то винтик.

– Бога ради, – сказал он по-русски в ответ на мои извинения (э, да он русский? Отлично, это мне поможет).

Мадам Лесерф стояла к нам спиной, что-то напевая себе под нос и отбивая такт носком по каменному полу. Тогда я повернулся к своему молчаливому соотечественнику, нежившему свои поломанные часы, и тихо произнес по-русски:

– А у ней на шейке паук...{73}

Рука нашей дамы взлетела к затылку, она повернулась на каблук.

– Что? – спросил недогадливый мой земляк, подняв взгляд. Потом он посмотрел на даму, неловко усмехнулся и снова занялся часами.

– J'ai quelque chose dans le cou[56]... я же чувствую! – воскликнула мадам Лесерф.

– Между прочим, – сказал я, – я как раз говорил этому русскому господину, что и мне показалось, будто у вас паучок на шее сидит. Но я ошибся, это была игра света.

– Может, заведем граммофон? – спросила она находчиво.

– Очень сожалею, но мне, видимо, пора. Вы ведь не обидитесь на меня?

– Mais vous êtes fou![57] – вскричала она. – Вы разве не хотите увидеть мою подругу?

– Как-нибудь, надеюсь, в другой раз, – сказал я успокаивающим тоном, – в другой раз.

– Объясните, – сказала она, выходя за мной в сад, – что случилось?

– Это было очень остроумно, – сказал я на нашем могучем, правдивом, свободном языке, – было очень остроумно заставить меня поверить, что вы говорите о вашей подруге, хотя вы все время говорили о себе. Этот маленький розыгрыш мог бы длиться очень долго, если бы судьба не толкнула вас под локоток и вы бы не попались с поличным. Дело в том, что я случайно знаю двоюродного брата вашего бывшего мужа, того самого, что умеет ставить перевернутую подпись. И я устроил небольшое испытание. И после того как вы нечаянно отозвались на брошенную в сторону русскую фразу...

Нет, ничего такого я ей не сказал. Откланявшись, я просто пошел прочь из сада. Пошлю ей экземпляр этой книги, и она поймет.

Глава восемнадцатая

Вопрос, который я хотел задать Нине, так и не был задан. Я хотел спросить: посещала ли ее когда-нибудь мысль, что этот изможденный человек, чье присутствие столь ее тяготило, – один из самых замечательных писателей своего времени? Но что было бы пользы в подобном вопросе? Книги для такой женщины – пустой звук: собственная жизнь кажется ей не менее увлекательной, чем сто романов. Если бы ее

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru приговорили целый день просидеть под замком в библиотеке, ее, пожалуй, нашли бы мертвой уже к полудню. Я совершенно уверен, что Себастьян никогда не упоминал при ней о своем сочинительстве: это было бы то же, что говорить летучей мыши про солнечные часы. Так что пусть летучая мышь кружит и трепыхается в густеющем сумраке – неуклюжая пародия ласточки.

В эти последние, самые печальные годы своей жизни Себастьян написал свой бесспорный шедевр – «Двусмысленный асфодель»{74}. Где и как он его писал? В читальном зале Британского музея (вдали от недреманного ока г-на Гудмэна). За столиком в дальнем углу парижского бистро (не из тех, какое облюбовала бы его метресса). В шезлонге под оранжевым зонтиком где-нибудь в Каннах или Жуане{75}, где она его бросила, отправившись куда-то кутить со своей сворой. В зале ожидания безымянной станции между двумя сердечными приступами. В гостинице под звон перебиваемой во дворе посуды. Во множестве других мест, о которых могу лишь догадываться.

Сюжет прост: человек умирает, на протяжении книги вы ощущаете, как он идет ко дну; его мысли и воспоминания, проявляясь, подобно вдохам и выдохам неровного дыхания, то с большей, то с меньшей отчетливостью, проходят сквозь нее, одни образы свертывая, другим ненадолго давая ожить на ветру, а иной выбрасывая на берег, где он, подрагивая с минуту, живет своей жизнью, но вот седые волны сносят его обратно в пучину, где он тонет или странно преобразуется. Человек умирает, и он – герой повести; но если другие персонажи кажутся вполне реалистичными (в найтовском, по крайней мере, смысле), то читателя продолжают держать в неведении, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертная ложе, и ложе ли это. Он – сама книга; и книга умирает в конвульсиях, подтягивая призрачное колено. Мыслеобразы чередой выносятся на берег сознания, и мы следим за явленным нам существом или предметом: за разбросанными обломками чьей-то потерпевшей крушение жизни, за медлительными фантазмами, влачащимися по земле, раздвигающими многоочитые крылья. Но все эти чужие жизни – не более чем заметки на полях к основному сюжету. Мы наблюдаем, как добряк Шварц, старый шахматист, присев на стул в некоей комнате в некоем доме, обучает мальчика-сироту ходить конем; встречаем толстуху из Богемии с седой прядью в намертво покрашенных волосах; слушаем запальчивую речь бледного бедолаги, обличающего тиранию перед внимательным шпиком в пивном заведении с дурной славой. Высокая прелестная примадонна, торопясь, наступает в лужу – пропали ее серебряные туфельки. Девушка с нежным рисунком губ, одетая в траур, утешает рыдающего старца. Профессор Нуссбаум, швейцарский ученый, в половине четвертого утра выстрелом из пистолета убивает в гостиничном номере свою молодую любовницу, потом себя. Эти люди, да и другие тоже, приходят и уходят, распахивая и затворяя двери, живя ровно столько, сколько освещен их путь, и всех по очереди поглощают волны главной темы: человек умирает. Вот он как будто шевелит рукой или кладет поудобней голову на подразумеваемую подушку, – стоит ему шевельнуться, как чья-то жизнь, за которой мы только что следили, сходит на нет, сменяется другой. Временами он вспоминает о себе самом, и тогда мы чувствуем, что движемся по стержню романа. «Теперь, когда уже поздно и лавки Жизни закрыты, он стал жалеть, что так и не купил книги, которую всегда хотел иметь; что не пережил железнодорожного крушения, землетрясения, пожара; что не увидел Дацзяньлу{76} в Тибете, не слышал стрекота синеперых сорок в ветвях китайской ивы; что не заговорил с той школьницей с бесстыжими глазами, невесть куда державшей путь через пустынную поляну; что не засмеялся, когда неуклюже пыталась пошутить застенчивая дурнушка, и другие вокруг промолчали тоже; что упускал возможности, поезда и намеки; что не подал монетки уличному старику-музыканту, который туманным днем, в позабытом городе, сам для себя наигрывал вибрирующую мелодию на скрипке».

Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплести, заставляя их обнаруживать скрытое значение, только через последовательность волн и выражаемое: так устроен китайский буй – волнение на воде рождает в нем музыку. В «Двусмысленном асфоделе» этот прием доведен до совершенства. Важны не сами части, важно, как они сочетаются.

Есть, видимо, своя система и в том, как автор описывает физический процесс умирания (ступени во мрак): с точки зрения мозга, тела, легких. Сначала мозг выстраивает определенную иерархию идей – идей о смерти. Вот мнимоглубокомысленные пометы, нацарапанные на полях одолженной книги (в сцене с философом): «Притяжение смерти: физический рост наоборот, вроде удлинения тысячей капли, которая наконец срывается в пустоту». Мысли религиозные и поэтические: «...болото грубого материализма и золотые парадизы тех, кого

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru преподаватель Парк{77} называет оптимистиками...» «Но умирающий знал, это идеи не настоящие, что лишь одну сторону понятия „смерть“ можно признать реально существующей: эту сторону – выдергивание с корнем, расставание, медленно уходящий вдаль причал жизни с трепещущими платками, – о да, ведь он уже по ту сторону, раз видит уходящий берег; но нет, не совсем, раз он еще мыслит». (Так пришедший проводить друга может оставаться на палубе до самого отхода – от этого он не станет пассажиром.)

Мало-помалу демоны физического страдания погребают под терриконами боли всякую мысль, всякое любование, надежду, упование, память, сожаление. Спотыкаясь, влачимся по омерзительной местности, уже не заботясь о направлении, потому что все – мука и нет ничего, кроме муки. Прием выворачивается наизнанку. Мысли и образы, светившиеся тем слабее, чем дальше мы забредали по их следам в тупики, сменились медленным натиском диких, страшных нелепых видений, берущих нас в кольцо осады: история замученного ребенка; повесть изгнанника о жестокой стране, откуда он бежал; а вот тихий сумасшедший с подбитым глазом; вот фермер, пинающий своего пса – свирепо, похотливо. Наконец угасает и боль. «Он настолько ослаб, что потерял интерес даже к смерти», – так «храпят потные люди в набитом вагоне третьего класса; так школьник засыпает над нерешенной задачей». «Я устал, устал... шина катится, катится своим ходом, вилляя, замедляя бег...»

И тут книгу внезапно заливают волна света:

«...словно кто-то рывком распахнул дверь, и люди в комнате повскакали с мест и, жмурясь, лихорадочно собирают свои пожитки». Чувствуется, что мы на рубеже какой-то абсолютной правды, разящей величием и в то же время в своей совершенной простоте почти домашней. Словесная магия виртуозно владеющего ею автора вселяет в нас уверенность, что ему известна правда о смерти и сейчас он ее расскажет. Вот-вот, к концу этой фразы или к середине следующей, ну, может, капельку дальше мы узнаем такое, от чего изменятся все наши представления, как если бы выяснилось, что с помощью особых, доселе не применявшихся движений рук можно летать. «Самый тугой узел – это, в конце концов, лишь извили бечевы; неподатливый для ногтей, он все равно сводится к простому переплетению петель. Пальцы кровоточат – а узел уже распутан взглядом. Он (умирающий) и есть тот узел, который развязался бы сразу, сумеи он найти и проследить нужную нить. И не он один – распутано было бы все, все, что он только мог себе представить на языке наших детских понятий о пространстве и времени, причем то и другое – загадки, измышленные человеком именно как загадки и в этом виде к нам возвращающиеся: бумеранги глупости... Вот наконец он ухватился за что-то подлинное, ничего общего не имеющее с мыслями, чувствами или опытом, вынесенными из детского сада жизни».

«Абсолютное решение», ответы на все вопросы жизни и смерти были запечатлены во всем, что он только знал в этом мире: так путешественник начинает понимать, что исследуемая им дикая страна – не случайное скопище природных явлений, а страница книги, где все эти леса и горы, поля и реки разместились так, чтобы составить осмысленную фразу; гласная озера переходит в согласную плавного склона; извилистая дорога пишет свое послание почерком округлым и четким, как почерк отца; деревья общаются в пантомиме, понятной тем, кто выучил азбуку их жестов... Так путник по слогам читает пейзаж, прозревая его смысл, и точно так же замысловатый рисунок человеческой жизни сводится к монограмме, теперь вполне ясной для внутреннего взора, расплетающего перевитые литеры. И проступившее слово потрясет простотой смысла; но еще поразительнее, может быть, то, что, живя земной жизнью, где рассудок взят в железное кольцо, в плотно пригнанную оболочку сна о себе самом, никто даже случайно не продельвает этого нехитрого кульбита мысли, вмиг высвобождающего пленный дух, дарующего великое понимание. Загадка решена.

«И поскольку значение всего сущего засияло сквозь внешние формы, многие мысли и события, прежде казавшиеся донельзя важными, съезжились если не до ничтожества – ничтожного больше ничего не осталось, – то уж, во всяком случае, до масштабов мыслей и событий, которым ранее в важности было отказано». И вот уже такие сияющие в нашем мозгу исполины, как наука, искусство и религия, выпали из привычной классификации и, взявшись за руки, радостно уравнились и слились. Точно так же и вишневая косточка, и крохотная ее тень на крашеном дереве источенной червями скамейки, и обрывок бумаги, и любая малость из миллионов и миллионов им подобных выросли до диковинных размеров. Переиначенный и пересозданный мир раскрыл свой смысл душе, и это было столь же естественно, как

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru их собственное дыхание.

Сейчас этот смысл будет полностью для нас раскрыт: слово будет сказано – и вы, и я, и каждый человек в этом мире хлопнет себя по лбу: «Какие же мы были олухи!» На этой последней излучине книги автор, похоже, мгновение медлит, словно взвешивая, разумно ли выпускать правду наружу. Он словно поднял голову, встал, оставив умирающего, за чьими мыслями он следовал, и, отвернувшись, задумался: идти ли за ним до конца? Шепнуть ли слово, которое взорвет уютную тишину нашего рассудка? Шепнуть. Мы, что называется, далеко зашли, слово уже сложилось и будет произнесено. И вот мы снова обращаемся к размытым очертаниям ложа, склоняемся над сереющим, словно парящим телом – ниже, ниже... но минута сомнения оказалась роковой: человек умер.

Он умер, а мы так ничего и не узнали. Асфодель на том берегу столь же сомнителен, как и прежде. В руках у нас мертвая книга. Или мы ошиблись? Иногда я переворачиваю страницы Себастьянова шедевра, и мне кажется, что «абсолютное решение» тут, что оно скрывается на какой-то слишком бегло прочитанной странице или сплелось с другими словами, чей привычный вид меня морочит. Я не знаю другой книги, рождающей подобное ощущение, – а может быть, автор именно этого и хотел?

Живо припоминаю день, когда я увидел в английской газете объявление о выходе «Двусмысленного асфоделя». Она мне попала на глаза в холле парижской гостиницы, где я ждал человека, которого наша фирма обхаживала в интересах некоей сделки. Обольститель из меня неважный, да и само дело представлялось мне не столь многообещающим, как моим нанимателям. И, сидя в уединении зловещего холла и читая в издательской рекламе так красиво набранную рублеными литерами благородно-черную фамилию Себастьяна, я еще острее позавидовал его судьбе. Я не знал, где он, мы ведь не виделись по меньшей мере шесть лет, мне было невдомек, что он болен и несчастен. Напротив, это книжное объявление показалось мне воплощением благоденствия, – я вообразил его в сияющем зале какого-то клуба, руки в карманах, уши горят, влажно блестя глаза, на губах играет улыбка, а все присутствующие толпятся вокруг него с бокалами в руках, смеются его шуткам. Это была дурацкая картина, но она засела в сознании колеблющимися белыми пятнами пластронов, черными – смокинг, янтарными – бокалов с вином и лиц, четких, как на цветных снимках с обложек иллюстрированных журналов. Я решил заполучить эту книгу, едва она выйдет в свет; другие его книги я тоже всегда добывал сразу, но эту почему-то особенно не терпелось. В этот момент вошел человек, которого я ждал. Это был англичанин, и довольно начитанный. Пока мы, прежде чем перейти к делу, несколько минут разговаривали о том о сем, я невзначай ткнул в газетное объявление и спросил его, читал ли он что-нибудь Себастьяна Найта. «Кое-что читал, – ответил он. – Что-то „Призматическое“ и „Стол находок“». Я спросил его мнение. Он сказал, что это неплохо, только автор – ужасный сноб, по крайней мере в смысле интеллектуальном. Я спросил, что это значит, и он ответил, что ему кажется, будто Найт все время играет в какую-то выдуманную им самим игру, а правила от партнеров скрывает. Он добавил, что предпочитает книги, заставляющие думать, а к найтовским это не относится – они злят и ставят в тупик. После этого он заговорил о другом здравствующем писателе, которого ставил куда выше Найта. Я воспользовался паузой, чтобы перейти к делу. Переговоры оказались менее удачными, чем надеялась фирма.

«Двусмысленный асфодель» вызвал много рецензий, в большинстве пространных и вполне лестных, однако проскальзывали намеки, что книга написана утомленным пером, а это не то же ли самое, что назвать автора старым занудой? Я даже уловил легкую жалость, словно они знают о писателе что-то неприятное и тягостное, чего в самой книге будто бы и нет, но что повлияло на их оценку. Один критик зашел совсем уж далеко, написав, что читал книгу «со смешанным чувством, ибо сидеть у постели умирающего – вещь довольно неприятная для читателя, толком не знающего, кто же сам автор – больной или врач». Почти все рецензенты давали понять, что книга несколько длинновата, что многие места темны и непонятно даже, чем именно они раздражают. Все хвалили Себастьяна Найта за «искренность», что бы сие ни значило. Интересно, что бы сказал Себастьян.

Свой экземпляр я одолжил приятелю, который продержал его несколько недель, а потом, так и не прочтя, забыл в поезде. Я купил другой и больше никому не давал. Да, из всех его книг – это моя любимейшая. Не знаю, заставляет ли книга «думать», и, если нет, горевать не стану. Мне она нравится такой, как она есть. Мне нравится ее повадка. И я говорю себе иногда, что перевод ее на русский язык – не такое уж и неподъемное дело.

#### Глава девятнадцатая

Я более или менее сумел воссоздать события 1935 года – последнего года жизни Себастьяна. Умер он в самом начале тридцать шестого, и, глядя на эту цифру, я не могу избавиться от мысли о сокровенном сходстве между человеком и датой его смерти. «Себастьян Найт, сконч. в 1936...» Эта дата кажется мне отражением его имени в подернутом рябью пруду. В извилах последних трех цифр есть нечто сродни ускользающим чертам Себастьяновой сущности... Тут я попытаюсь, как часто делал по ходу этой книги, выразить мысль, которая ему бы понравилась... Если там и здесь мне не удалось уловить хотя бы тень его мысли, если здесь и там бессознательная работа рассудка не подтолкнула меня к верному повороту в ему принадлежащем лабиринте, значит, мое сочинение потерпело постыдный провал.

Выход «Двусмысленного асфоделя» весной тридцать пятого совпал с последней попыткой Себастьяна увидеть Нину. После того как кто-то из ее молодых набриолиненных громил передал ему, что она желает раз и навсегда от него избавиться, он вернулся в Лондон и пробыл там месяца два, в своих бедных попытках обмануть одиночество появляясь на людях как можно чаще. То там, то здесь можно было встретить его худую, скорбную, безмолвную фигуру – он не снимал кашне даже в самой натопленной гостиной, доводил хозяек до отчаяния рассеянностью и кротостью, с какой уклонялся от всяких попыток его расшевелить, потом удалялся в разгар приема, а то еще бывал застигнут в детской над какой-нибудь игрой-головоломкой. Как-то раз Хелен Прэтт, проводив Клэр до книжного магазина неподалеку от Черинг-Кросс, продолжала было свой путь, как вдруг почти столкнулась с Себастьяном. Пожимая ей руку, он чуть зарделся, потом дошел с ней до входа в подземку. Она была рада, что он не появился минутой раньше, а еще более – что не стал трогать прошлого. Вместо этого он пустился в замысловатую историю о том, как накануне вечером два незнакомца пытались его окопачить в покер.

– Рад, что вас встретил, – сказал он, прощаясь. – Видимо, ее можно найти и здесь.

– Кого – ее? – не поняла мисс Прэтт.

– Я ведь направлялся (он назвал книжный магазин), но, кажется, эта книга есть вон в том киоске.

Он ходил на спектакли и концерты, пил среди ночи горячее молоко у кофейных лотков с шоферами такси, трижды, говорят, смотрел одну и ту же фильму – совершенно неинтересный «Зачарованный сад». Месяца два спустя после его смерти – это было через несколько дней после того, как я выяснил, кто была на самом деле мадам Лесерф, – я наткнулся на эту фильму во французском синема и высидел сеанс с одной лишь целью: пытаюсь понять, чем же он так привлек Себастьяна. Где-то посередине картины действие переносится на Ривьеру, идут кадры с нежащимися на солнце купальщиками. Не было ли среди них Нины? Вон то голое плечо – не ее ли? Девушка, оглянувшаяся на камеру, по-моему, довольно похожа, но ведь солнечного крема, загара и козырька над глазами более чем достаточно, чтобы полностью преобразить мелькнувшее лицо. Целую неделю в августе он очень болел, однако не дал доктору Оутсу уложить себя в постель. В сентябре он поехал за город к каким-то едва знакомым людям, – они пригласили его просто из вежливости, когда он случайно упомянул, что видел фотографию их дома в журнале «Пратлер»{78}. Целую неделю он бродил по довольно холодному обиталищу, где все прочие гости были близко между собой знакомы, потом как-то утром, забыв смокинг и умывальные принадлежности, прошагал десять миль до станции и преспокойно вернулся в Лондон. В начале ноября он обедал с Шелдоном в его клубе и был до того неразговорчив, что его друг недоумевал, зачем он вообще явился. Дальше наступает провал. Он, несомненно, отправился за границу, но мне с трудом верится, чтобы он думал о новых попытках увидеться с Ниной, хотя, возможно, неугомность его и питалась смутной надеждой такого рода.

Большую часть зимы 1935 года я провел в Марселе, занимаясь кое-какими делами своей фирмы. В середине января нового, 1936 года я получил от Себастьяна письмо, написанное по-русски, что было необычно.

«Я, как видишь, в Париже и явно застряну здесь на какое-то время. Если можешь меня навестить – навести; если нет – не обижусь; похоже, однако, что лучше бы навестить. У меня оскомины от множества мучительных обстоятельств, а пуще всего

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru – от узора покинутой мной, подобно змее, выползины, и ныне я черпаю поэтическую усладу в том обычном и очевидном, мимо чего всю жизнь по той или иной причине проходил мимо. Мне, например, хотелось бы расспросить тебя, что ты подельвал все эти годы, и рассказать о себе: надеюсь, ты распорядился собой лучше, чем я. Последнее время часто вижу старого доктора Старова{79}, который пользовал тамап (так Себастьян называл мою мать). Как-то ввечеру мы случайно повстречались на улице, когда мне пришлось присесть на подножку чужого автомобиля, чтобы перевести дух. Он, видать, считает, что после смерти тамап я так и прозябаю в Париже, и я принял его версию моего эмигрантского существования, ибо что-либо объяснять мне показалось слишком сложным. Если выйдет так, что тебе попадутся кое-какие мои бумаги, сожги их немедленно; они, правда, слышали голоса в (одно или два нечитаемых слова: что-то вроде „Дот чету“?{80}), но теперь должны подвергнуться аутодафе. Я их хранил и давал им ночлег, поскольку безопаснее позволить им спать, дабы, умерщвленные, они не зачастили к нам в качестве призраков. Как-то ночью, почувствовав себя особенно смертным, я подписал им приговор, по нему ты их и опознаешь. Я поселился было в той же гостинице, что и всегда, но теперь переехал за город, в некое подобие санатории, см. обратный адрес. Это письмо было начато с неделю назад и до слова „жизнь“ предназначалось совсем иному лицу. Далее каким-то образом оказалось, что оно обращено к тебе, – так в незнакомого дома застенчивый гость заводит несообразно долгий разговор с приведшим его туда родственником. Ты уж прости, если я тебе докучаю, но мне как-то не очень нравятся эти голые ветви и сучья в моем окне».

Письмо, конечно, меня расстроило, но настоящего беспокойства не вызвало – я ведь не знал, что Себастьян с 1926 года страдает неизлечимым недугом и что последние пять лет состояние его стремительно ухудшалось. Должен со стыдом признаться, что моя естественная озабоченность приглушалась мыслью о том, что Себастьян был очень нервным и мнительным и всегда, когда ему нездоровилось, впадал в излишний пессимизм. Я не имел, повторяю, и малейшего понятия о его сердечной болезни и потому сумел убедить себя, что он просто утомлен. И все-таки: он был болен, он просил меня приехать, просил тоном совершенно для меня новым. Никогда, кажется, он не нуждался в моем присутствии, но теперь положительно молил о нем. Это тронуло меня и озадачило, и, зная я всю правду, я вскочил бы в первый же поезд. Письмо прибыло в четверг, и я сразу решил, что поеду в Париж в субботу, а в воскресенье вечером отправлюсь обратно, зная, что фирма моя едва ли обрадуется, если я устрою себе отпуск на критической стадии того дела, за коим я, как считалось, присматривал в Марселе. Чем писать да объяснять, решил я, пошлю ему телеграмму в субботу утром, как только буду знать, смогу ли выехать самым ранним поездом.

И той же ночью я увидел на диво неприятный сон. Мне снилось, что я в большой полутемной комнате, которую сновидение торопливо обставило всякой всячиной из нескольких домов, смутно мне знакомых, но с пробелами и странными подментами вроде, например, той полки, что была одновременно пыльным шоссе. Напоминало это комнату не то крестьянского дома, не то деревенской гостиницы: эффект деревянных стен и дощатой обшивки. Мы ждем Себастьяна, он должен вернуться из какого-то долгого путешествия. Я сижу на чем-то вроде упаковочного ящика; здесь же и моя мать, мы сидим за столом, за которым пьют чай еще двое – мой сослуживец и его жена, причем Себастьян никогда их не знал, и все же постановщик снов их здесь усадил – просто чтобы заполнить сцену.

Ожидание наше тревожно, нас давят неясные предчувствия, и я понимаю, что остальные знают больше моего, но ужасно боюсь спросить, почему мою мать так беспокоит перепачканный глиной велосипед, который никак не лезет в платяной шкаф: дверцы не желают закрываться. На стене висит изображение парохода, волны на картинке двигаются подобно вереницам гусениц, пароход качается, и это раздражает меня, но я вспоминаю, что есть почтенный обычай – вывешивать такие картинки, когда ждут возвращения путника. Себастьян может появиться в любую минуту, и деревянный пол у двери посыпан песком, чтобы он не поскользнулся. Мать моя куда-то удалилась, захватив измазанные глиной шпоры со стременами, которые не нашла куда спрятать. Та неотчетливая чета тоже тихо упразднена, и, как только я остаюсь один в комнате, дверь наверху в галерее отворяется и возникает Себастьян, он медленно спускается по ненадежной лестнице прямо вниз. Волосы его всклокочены, он без пальто, – тут я понимаю, что он прилег отдохнуть с дороги и только что встал. Пока он спускался, застывая на каждой ступеньке, готовый продолжить движение с той же ноги, рука на деревянном поручне, – вернулась моя мать, и, когда он оступает и съезжает на спину, она помогает ему встать. Смеясь, он направляется ко мне, но я чувствую, он чего-то стыдится. Он бледен и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru небрит, однако выглядит сравнительно бодро. Мать, держа в руке серебряную чашку, садится на что-то, оказавшееся носилками, поскольку ее уносят двое мужчин, которые, как с улыбкой сообщил мне Себастьян, по субботам ночуют в доме. Вдруг я замечаю, что у него на левой руке надета черная перчатка, что он ни разу этой рукой не воспользовался и пальцы ее неподвижны; и я, в брезгливом ужасе, боюсь, боюсь до дурноты, что он может ею неосторожно меня коснуться. Я уже успел понять: к его запястью прикреплено что-то неестественное, его оперировали, он стал жертвой какого-то ужасного происшествия. Мне делается ясно, откуда этот оттенок жути в его облике, во всей атмосфере его возвращения, но он, хотя, по-моему, и заметил, как меня передернуло, продолжает чаепитие. Моя мать, воротясь на минуту за забытым ею наперстком, сразу уходит обратно – носильщики торопят. Себастьян спрашивает, пришла ли маникюрша, он хочет быть готовым к банкету. Я пытаюсь уклониться от этой темы, поскольку самая мысль о его изувеченной руке для меня нестерпима, и тут уже вся комната видится мне состоящей из обкусанных ногтей, а девушка (я ее знал, но, странно, образ ее уже улетучился) прибывает со своим маникюрным набором и садится перед Себастьяном на табурет. Он просит меня не смотреть, но я не могу отвести взгляда. Я вижу, как он расстегивает черную перчатку, как медленно стаскивает ее и как из нее вываливается содержимое – лавина крошечных рук, вроде передних лапок мыши, сиреневато-розовых и мягких, – и они сыплются на пол, а девушка в черном опускается на колени. Я наклоняюсь, чтобы разглядеть, что она делает, и вижу, как она собирает эти маленькие руки и кладет на блюдо. Я поднимаю взгляд, но Себастьян исчез, наклоняюсь снова – девушка тоже исчезла. Мне ясно, что я больше ни на миг не могу оставаться в этой комнате. Я поворачиваюсь и уже нащупываю щеколду, но сзади раздается голос Себастьяна; похоже, он доносится из самого дальнего, самого темного угла – только теперь это угол исполинского амбара; из продырявленного мешка у моих ног бежит струйка зерна. Я не могу разглядеть брата и так страстно рвусь наружу, что колотящая меня дрожь нетерпения забывает его слова. Мне понятно, что он зовет меня, говорит что-то очень важное, обещая сказать кое-что и поважней – лишь бы я пошел в угол, где он сидит – или лежит, – скованный тяжелыми мешками, завалившими ему ноги. Я делаю движение – и тут раздается его последний, громкий, настойчивый зов – фраза, лишившаяся смысла по извлечении из сна, там, во сне, прогремела, полная такой ослепительной важности, такого неистового желания разрешить для меня какую-то чудовищную загадку, что я все-таки кинулся бы к Себастьяну, не будь уже наполовину за пределами сна.

Я знаю – простая галька, оставшаяся на ладони после того, как рука, нырнув в воду по плечо, ухватила сиявший на бледном песке драгоценный камень, и есть тот желанный самоцвет, хоть он и превратился в гальку, обсохнув на солнце повседневности. И я почувствовал, что бессмысленная фраза, звучавшая в моей голове в миг пробуждения, была на самом деле искаженным переводом какого-то ошеломляющего откровения; и пока я лежал на спине, вслушиваясь в знакомые уличные звуки, в дурацкое музыкальное радиокрошево, услаждавшее чей-то ранний завтрак в комнате у меня над головой, колючий холод ужасного предчувствия вогнал меня почти в физическую дрожь, и я решил телеграфировать Себастьяну, что выезжаю сегодня же. В припадке идиотского благоразумия, которое вообще-то редко меня посещает, мне показалось, что надо бы осведомиться в марсельском отделении нашей фирмы, могут ли они обойтись без моего присутствия. Выяснилось, что не только не могут, но что вряд ли я даже сумею отлучиться на выходные дни. В эту пятницу после изматывающего дня я пришел домой очень поздно. С полудня меня дожидалась телеграмма, но так непостижимо владычество каждодневных сует над хрупким откровением сна, что я ухитрился забыть его озабоченный шепот и, вскрывая телеграмму, ждал всего лишь деловых новостей.

«Состояние Севастьяна безнадежно приезжайте немедленно д-р Старов». Телеграмма была на французском, но «в» в имени Себастьяна отражало его русскую форму. Непонятно почему, я прошел в ванную и на миг остановился перед зеркалом. Потом схватил шляпу и кинулся вниз. На вокзале я оказался без четверти двенадцать. Поезд, отходящий в 0.02, прибывал в Париж на следующий день около половины третьего.

Тут я обнаружил, что мне не хватает на билет второго класса, и с минуту терзался сомнениями: не лучше ли вернуться, взять денег и вылететь в Париж первым же аэропланом. Но стоявший под парами поезд представлял слишком большое искушение. И, как почти всегда в жизни, я пошел по пути наименьшего сопротивления. А о том, что письмо Себастьяна осталось у меня в столе и я не помню его адреса, я с ужасом вспомнил лишь тогда, когда поезд тронулся.

Глава двадцатая

В набитом купе было темно, душно и полно ног. По стеклам сбегали капли; сбегали не прямо, а прерывистыми, сомневающимися зигзагами, то и дело замирая на бегу. В черном стекле отражался сине-лиловый ночник. Поезд стонал и метался, пронзая ночь. Как же все-таки называется эта санатория? Как-то на «М». Как-то на «М». Как-то на... Колеса сбились с устоявшегося ритма, но немедленно подхватили потерянный мотив. Я, конечно, могу узнать адрес у доктора Старова. Сразу же по приезде позвонить ему с вокзала. Тяжкий ботинок чьего-то сновидения попытался встрять между моих лодыжек, потом не спеша ретировался. Что Себастьян имел в виду под «той же, что и всегда, гостиницей»? Я вообще не мог припомнить, где он в Париже останавливается. Старов, тот знает. Мар... Ман... Мат... Успею ли? Соседское колено надавило на меня, тем отмечая переключение с одного вида храпа на другой, более печальный. Застану ли его в живых? Суждено ли мне быть рядом при его последнем дне? Суждено ли мне... при последнем дне... суждено ли мне... Он должен мне что-то сообщить, что-то бесконечно важное. Темное качающееся купе, набитое раскоряченными куклами, казалось мне уголком давешнего сна. Что он мне скажет перед смертью? Дождь плевал и бил в стекло; с краю пристроился и сразу растаял призрак снежинки. Некто передо мной медленно вернулся к жизни – похрустел газетой, почавкал во тьме, потом закурил, и круглый огонек устоялся на меня, как глаз цыклопа. Я должен, обязан успеть. Зачем я не бросился на аэродром, едва получил письмо? Я был бы уже с Себастьяном! От какой болезни он умирает? От рака? От грудной жабы, как его мать? Как часто бывает с людьми, в суете не думающими о религии, я спешно придумал мягкого, теплого, слезами затуманенного Бога и зашептал самодельную молитву. О, дай мне успеть, дай ему продержаться до моего прихода, дай мне узнать его тайну. Вот уже все стало снегом: на стекле выросла серая борода. Тот, кто чавкал и курил, уже снова спал. Не попытаться ли вытянуть ноги, на что-нибудь их положить? Пылающими ступнями я произвел разведку, однако ночь сплошь состояла из костей и плоти. Вотще алкал я себе чего-нибудь деревянного под икры и лодыжки. Мар... Матамар... Мар... Далеко ли это от Парижа? «Д-р Старов». Д-р Александр Александрович Старов. Поезд громычал на стрелках, повторяя эти «д-р». Какая-то неведомая станция. Едва поезд остановился, в соседнем купе стали слышны голоса, кто-то рассказывал нескончаемую историю. Донесся звук отъехавшей двери; какой-то угрюмый пилигрим откатил и нашу, да понял, что дело безнадежно. *Etat désespéré*[58]. Я обязан успеть. Как долго этот поезд стоит на станциях! Сосед справа вздохнул и попытался протереть стекло, но оно осталось туманным, снаружи чуть подцвеченным желтизной. Поезд снова тронулся. Позвоночник ныл, кости налились свинцом. Я попытался закрыть глаза и задремать, но изнанка век была выстлана текучим узором, крошечные световые узелки проплывали на манер инфузорий, зарождаясь в одном и том же углу. По-моему, я узнал в их очертаниях станционный фонарь, давным-давно оставшийся позади. Потом добавилась раскраска, и ко мне стало поворачиваться розовое лицо с большими газельими глазами, его сменила корзина цветов, потом Себастьянов небритый подбородок. Я больше не мог выносить этот оптический рог избытка и с бесконечными замысловатыми маневрами, напоминающими балетные па в замедленной фильме, выбрался в ярко освещенный и холодный коридор. Покурив, я побрел в конец вагона и некоторое время раскачивался над грязной рокошущей дырой в его тылу, потом прибрел обратно и выкурил еще одну папиросу. Ничего и никогда в жизни я не хотел так истощено, как застать Себастьяна живым, склониться над ним, разобрать его слова. Его последняя книга, мой недавний сон, загадочность его письма – все наполняло меня уверенностью, что с его уст должно сорваться какое-то невероятное откровение. Если они еще будут шевелиться. Если я не опоздаю. В простенке между окон висела карта, увы, никак не связанная с маршрутом следования. Из глубины оконного стекла глядел мой темный двойник. *Il est dangereux... E pericoloso*...[59] мимо прошмыгнул солдат с воспаленными глазами, и мое запястье, коснувшись его рукава, несколько секунд чудовищно зудело. Я жаждал смыть с себя следы грубого мира и предстать перед Себастьяном в холодной ауре чистоты. Я не смел оскорбить его обоняние миазмами рода человеческого, с которым он покончил дела. О, я застаю его в живых! Будь Старов уверен, что успеть невозможно, он бы иначе составил телеграмму. Телеграмма прибыла в полдень. Боже, в полдень! Прошло уже шестнадцать часов, а когда я еще достигну Мат... Мар... Рам... Рат... Нет, первая буква «М», а не «Р». Смутный силуэт имени промелькнул и растаял, прежде чем я успел всмотреться. Не возникла бы еще проволочка из-за денег. Надо будет заскочить с вокзала ко мне на службу, разжиться какой-то суммой. Это в двух шагах. До банка дальше. Не живет ли кто-нибудь из моих многочисленных друзей поблизости от вокзала? Нет, все обитают в двух русских кварталах Парижа – в Пасси или вокруг Порт-Сен-Клу. Погасив третью папиросу, я пошел искать менее населенное купе: к тому, которое я покинул, никакой багаж, слава Богу, меня не привязывал, но вагон был набит, а

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
идти через весь состав у меня не хватало пороху. Не могу сказать, было ли купе, куда я втиснулся, прежним или новым: оно было так же полно ступней, колен, локтей – разве что не такой сырный дух. Отчего я так и не навестил Себастьяна в Лондоне? Он не раз меня приглашал. Почему я так упрямо его избегал? Эти кувшинные рыла глумились над его гением... особенно один старый дурак, чью дряблую шею мне прямо-таки нестерпимо хотелось свернуть. Ага, необъятное чудовище, заколыхавшееся слева, оказалось женщиной: боролись пот и одеколон, последний проигрывал. Ни одна душа в вагоне не знает, кто такой Себастьян Найт. Та глава из «Стола находок», столь скверно переведенная в журнале «Cadran»? Или в «La Vie Littéraire»? Или я опоздал, опоздал, и Себастьян уже мертв, а я все сижу на этой окаянной скамье, ее издевательски тощая обивка не обманет моих ноющих ягодиц. Скорее, скорее, умоляю! Почему вы считаете, что эта станция заслуживает остановки? И такой долгой! Мимо, мимо! Уф – давно бы так.

Мало-помалу тьма выродилась в сероватую муть, и за окном стал угадываться укрытый снегом мир. Я ужасно замерз в своем тонком дождевике. Из мглы стали проступать лица моих попутчиков, словно их понемногу расчищали от слоев паутины и пыли. У сидевшей рядом женщины был термос кофе, с которым она нянчилась прямо-таки с материнской любовью. Я чувствовал, что весь взмок и ощущал себя зверски небритым. Думаю, если бы щетина моей щеки коснулась шелка кашне, я бы лишился чувств. Единственное среди грязно-серых туч облако цвета окорока подкрашивало в блекло-розовый цвет полосы тающего снега на трагически безлюдных нагих полях. Вывернулась откуда-то и минуту скользила вдоль поезда дорога; как раз перед тем, как ей отвернуть в сторону, мелькнул велосипедист, вилявший среди снега, слякоти и луж. Куда он ехал? Кто он? Никто никогда не узнает.

Кажется, примерно час я дремал – или, по крайней мере, сумел затемнить свое внутреннее зрение. Когда я открыл глаза, мои попутчики ели и разговаривали, а меня так затосило, что я выбрался из купе и с головой пустой, как это убогое утро, остаток пути промаялся на откидном сиденье. Поезд, как оказалось, сильно запаздывал, вроде бы из-за ночной выюги, так что мы прибыли в Париж только без четверти четыре пополудни. Я шел по перрону, стуча зубами, и на миг ощутил глупый соблазн потратить два-три звеневших в моем кармане франка на какой-нибудь крепкий напиток, но вместо этого поспешил к таксофону. Листая пухлую засаленную книгу в поисках доктора Старова, я старался не думать, что вот сейчас узнаю, жив ли еще Себастьян. Старкаус, cuirs, peaux[60]; Старлей, jongleur, humoriste[61]; Старов... ага, есть: Jasmín 61–93[82]. Уже приступив к отвратной процедуре, я забыл окончание номера, снова вступил в борьбу с книгой, набрал его вторично и, застыв, с минуту слышал зловещие гудки; кто-то распахнул дверь будки и отступил с гневным ворчанием. Диск возобновил трескотню возвратных вращений – пятое, шестое, седьмое, – и вот опять гнусавое гуденье: пи... пи... пи... Почему я такой невезучий? «Закончили?» – спросил все тот же персонаж, злобный старец с бульдожьей рожей. Нервы мои были натянуты до предела, и я заорал на хрыча. По счастью, освободилась соседняя будка, и он захопнулся в ней. Я продолжал попытки и наконец преуспел. Женский голос ответил, что доктора нет, но в половине шестого с ним можно будет связаться по такому-то номеру. Когда я появился в своей конторе, то вызвал там, не могу не отметить, легкое изумление; я показал своему начальнику телеграмму, причем он выказал меньше сочувствия, чем разумно было бы ожидать, и начал въедливо расспрашивать о марсельских делах. Требуемые деньги были все же выданы, и я оплатил таксомотор, дожидавшийся у дверей. Было без двадцати пять – предстоял битый час ожидания.

Я зашел побриться, торопливо позавтракал и в двадцать минут шестого набрал полученный мной номер. Мне ответили, что доктор ушел домой, но через четверть часа вернется. У меня не хватило терпения ждать, и я набрал домашний номер. Уже знакомый женский голос ответил, что он только что ушел. Прислонившись к стенке (на сей раз это была кабинка в каком-то кафе), я долбил ее карандашом. Неужели я так и не доберусь до Себастьяна? Кто эти досужие ослы с их надписями «Бей жидов!», «Vive le front populaire!»[62] и срамными рисунками? Какой-то неизвестный художник начал было зачернять квадратики – шахматная доска, ein Schachbrett, un damier... Мозг озарился вспыхкой, слово вспрыгнуло на кончик языка: Сен-Дамье! Я выскочил вон и остановил такси. Отвезите меня в Сен-Дамье, где бы это ни было! Шофер неспешно развернул карту, некоторое время ее изучал, потом ответил, что по таким дорогам поездка займет часа два, не меньше. Я спросил, не считает ли он, что лучше поехать поездом. Этого он не знал.

– Что ж, едем, только скорее, – сказал я и, ныряя в автомобиль, сбил с головы

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru шляпу.

Потребовалось немало времени, чтобы выбраться из Парижа. На нашем пути возникали все существующие препятствия, и, думаю, мало что в жизни мне случалось так сильно ненавидеть, как руку полицейского на перекрестке. Из последней пробки мы выдрались наконец на длинную и темную дорогу, обсаженную деревьями, но и здесь скорость казалась мне недостаточной. Отодвинув стеклянную перегородку, я взмолился поднажать. Шофер ответил, что дорога слишком скользкая и раз-другой нас уже сильно занесло. После часа езды он остановился, чтобы спросить дорогу у полицейского, ехавшего на велосипеде. Они долго разглядывали карту ажана, потом шофер извлек свою, они стали их сличать. Мы где-то не туда свернули и теперь должны были возвращаться не меньше чем на две мили. Я снова постучал в стекло: автомобиль просто еле полз. Он потряс головой, даже не обернувшись. Я взглянул на часы, было почти семь. Мы остановились у заправочной колонки, и мой шофер вступил в доверительный разговор с ее хозяином. Я не мог понять, где мы, но, поскольку дорога теперь тянулась вдоль обширных полей, я стал надеяться, что мы приближаемся к цели. Дождь долбил и хлестал стекла, и, когда я снова попросил прибавить ходу, шофер разозлился и ответил многословной грубостью. Беспомощный и онемелый, я обмяк на своем сиденье. Проплыла размазня освещенных окон... Может быть, мне вообще не добраться до Себастьяна? Если я и попаду в Сен-Дамье, застану ли его в живых? Несколько раз нас обгоняли другие машины, и я обратил на это внимание моего водителя. Он не ответил, но вдруг остановился и яростным движением распахнул свою дурацкую карту. Уж не снова ли он сбился с пути, поинтересовался я. Он промолчал, но выражение его толстого загривка стало зловещим. Мы снова тронулись, и я заметил не без удовольствия, что мы движемся гораздо быстрее. Мы проехали под железнодорожным мостом и подрулили к какой-то станции. Покуда я соображал, не Сен-Дамье ли это, водитель выпрыгнул со своего места и рывком распахнул мою дверь.

– Ну? – спросил я. – А теперь в чем дело?

– Вы все-таки поедете поездом, – сказал шофер. – Я не собираюсь ради вас гробить машину. Это ветка на Сен-Дамье, и вам еще повезло, что вы сюда добрались.

Мне повезло больше, чем он думал, – поезд подошел через несколько минут. Станционный смотритель заверил, что к девяти я буду в Сен-Дамье. Эта последняя часть моего пути была самой мрачной. Я был один в купе, и тут на меня напал непонятный столбняк: несмотря на все свое нетерпение, я ужасно боялся задремать и проехать станцию. Поезд часто останавливался, и я всякий раз покрывался испариной, пытаюсь найти и разобрать название платформы. В какой-то миг я испытал ужасное чувство, будто проспал невесть сколько и вот внезапно разбужен каким-то толчком. Взглянул на часы – четверть десятого. Проехал? Я готов был уже сорвать стоп-кран, но, ощутив, что поезд замедляет ход, выглянул в окно и увидел, как проплыла мимо и замерла освещенная надпись: «Сен-Дамье».

Четверть часа плутаний темными тропами и, судя по шуму ветвей, сосновым лесом вывели меня к больнице Сен-Дамье. За дверьми зашаркали, засопели, и тучный старик в заношенных войлочных шлепанцах и плотном сером свитере вместо униформы впустил меня внутрь. Я попал в контору, едва освещенную голой электрической лампочкой в пыльном полукоcone. Старик, часто мигая, воззрился на меня; его оплывшее лицо противно лоснилось со сна. Не знаю почему, я начал шепотом:

– Я приехал повидать мосье Себастьяна Найта. Найт.

Что-то пробурчав, он тяжело опустился за письменный стол – лампочка оказалась прямо над его головой.

– Поздновато для посещений, – пробормотал он себе под нос.

– Мне телеграфировали, – сказал я, – что мой брат очень болен. – Произнося это, я заметил, как пытаюсь этими словами устранить всякое сомнение, что Себастьян жив.

– Какую вы назвали фамилию? – спросил он со вздохом.

– Найт, – сказал я. – Это английская фамилия, она пишется не так, как произносится: К, п, и, г, н, т. Кнайт – Найт.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Все иностранные фамилии надо заменять номерами, – проворчал служитель. – Было бы куда проще. Тут прошлой ночью умер один больной... как его...

Меня пронзила ужасная мысль, что речь идет о Себастьяне. Значит, не успел?

– Вы что, хотите сказать... – начал я, но он покачал головой и перевернул несколько страниц гроссбуха.

– Нет, – рявкнул он, – английский мосье не умирал, К... К... К...

– Потом «п» – начал я. – К, п, і, g...

– C'est bon, c'est bon[63], – перебил он, – К, п, К, g... n... Я, извольте видеть, не идиот. Номер тридцать шесть.

Он нажал кнопку звонка и с зевком откинулся на стуле. Я мерял шагами комнату, одолевая неподвластную мне дрожь. Наконец вошла сестра милосердия, и ночной страж указал ей на меня со словами:

– Тридцать шестая.

Следуя за сестрой сперва белым коридором, потом коротким лестничным маршем, я не удержался от вопроса: «Как он?»

– Я не знаю, – отозвалась она, подводя меня к другой сестре, читавшей книгу за маленьким столиком в конце второго белого коридора, который был точным подобием первого.

– Посетитель в тридцать шестую, – сказала моя проводница и исчезла.

– Но английский месье спит, – сказала сестра, круглолицая молодая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком.

– Ему лучше? – спросил я. – Понимаете, я его брат, я получил телеграмму...

– Кажется, ему немного лучше, – сказала сестра с самой очаровательной из улыбок, какую только можно вообразить. – Вчера утром у него был очень-очень серьезный сердечный приступ. Сейчас он спит.

– Знаете, – сказал я, вручая ей десяти- или двадцатифранковую монету, – я приду, конечно, и утром, но мне хотелось бы зайти в палату и немножко возле него побыть.

– Только его нельзя будить, – сказала она с новой улыбкой.

– Что вы, что вы. Посажу минутку рядом, и все.

– Даже не знаю, – сказала она. – Заглянуть, конечно, можно, но только очень тихо.

Она подвела меня к тридцать шестой палате. Мы вошли в крошечную комнатку, почти чулан, с диванчиком: внутренняя дверь была приотворена – она легонько ее подтолкнула. Несколько секунд я вглядывался во тьму. Сперва я слышал только стук своего сердца, но потом различил быстрое, еле уловимое дыхание. Я напряг зрение: кровать наполовину загоразивало что-то вроде ширмы, но все равно было слишком темно, чтобы разглядеть Себастьяна.

– Вот, – шепнула сестра, – я оставлю дверь чуть приоткрытой, а вы можете тут посидеть на диване.

Она зажгла синий ночник и вышла, оставив меня одного. У меня мелькнул дурацкий порыв полезть в карман за портсигаром. Руки мои тряслись, но я был счастлив. Он жив. Он мирно спит. Так это сердце, вот оно что. Совсем как его мать. Ему лучше, есть надежда. Я подыму на ноги кардиологов всего мира, чтобы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, легкий звук дыхания вселили в меня чувство надежности и покоя, волшебным образом сняли напряжение. Я сидел, сцепив руки и вслушиваясь, размышляя обо всех этих улетевших годах, о наших кратких редких встречах, и знал, что, как только он сможет меня выслушать, я обязательно ему

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru скажу, что, нравится ему или нет, я теперь буду при нем неотлучно. Мой странный сон, моя вера в то, что брат должен перед смертью поделиться со мной какой-то важной истиной, – все это сразу отступило в область неопределенного и умозрительного, будто потонуло в теплой волне человеческого, без затей, чувства, в приливе любви, которую я испытывал к спящему там, за полуоткрытой дверью. Как мы сумели настолько отдалиться? Почему я всегда был так глуп, замкнут и стеснителен во время наших мимолетных парижских свиданий? Сейчас я уйду, скоротаю ночь в гостинице, а может, комнатка для меня найдется прямо в больнице до тех пор, пока я смогу его увидеть... На миг мне показалось, что слабый ритм дыхания замер; спящий проснулся и, прежде чем соскользнуть обратно в сон, издал чуть слышный чмокающий звук. Дыхание возобновилось, но так тихо, что, сидя и вслушиваясь, я едва мог отличить его от собственного. О, я поведаю ему бесконечно много – о «Призматической оправе», «Успехе», «Потешной горе», об «Альбиносах в черном», «Обратной стороне луны», о «Столе находок» и о «Двусмысленном асфоделе», – ведь все эти книги я знаю так, будто написал их сам. А он выскажется в ответ. Как мало я знаю его жизнь! Но сейчас с каждым мигмом что-то для меня прояснялось. Эта чуть приоткрытая дверь обеспечивала нам наилучшую мысленную связь. Это кроткое дыхание рассказало мне о нем больше, чем все, что я знал прежде. Если бы я мог еще и закурить, счастье мое было бы полным. Я слегка изменил позу, в диване застонала пружина, и я испугался, что потревожил его сон. Но нет, тихий звук не нарушился, – следуя неверной колеей, то проваливаясь в пустоту, то опять выныривая, он, казалось, крался окраинами времени, стоически пробираясь через ландшафт, образуемый символами тишины – темнотой, портьерами, источником голубого света у моего локтя.

Наконец я встал и вышел на цыпочках в коридор.

– Я боялась, – сказала медсестра, – что вы его разбудите. Ему нужен сон.

– Скажите, – спросил я, – когда придет доктор Старов?

– Как вы сказали? – переспросила она. – А, русский доктор. Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne[64]. Завтра утром он будет здесь.

– Видите ли, – сказал я, – мне бы хотелось тут где-нибудь остаться на ночь. Как вы думаете...

– С доктором Гинэ вы можете поговорить и сейчас, – продолжала сестра спокойным приятным голосом. – Он живет рядом. Так вы, значит, брат? А завтра еще мать приедет из Англии, n'est-ce pas?[65]

– Ах нет, – сказал я. – Мать его давно умерла. А скажите мне, как он днем – говорить может? Очень мучается?

Она нахмурилась и как-то странно на меня посмотрела.

– Но ведь... – проговорила она. – Что-то не соображу... Будьте добры, как ваша фамилия?

– Понимаю, – сказал я. – Я ведь не объяснил. Мы сводные братья. Моя фамилия (я назвался).

– О-ля-ля! – воскликнула она, заливаясь краской. – Mon Dieu![66] Русский господин вчера умер, а вы навещали мсье Кигана...

Итак, я не увидел Себастьяна – по крайней мере живым. Но те несколько минут, что я провел, вслушиваясь, как мне казалось, в его дыхание, переменяли мою жизнь столь же решительно, как если бы Себастьян успел поговорить со мной перед смертью. В чем бы ни состояла его тайна, одну тайну усвоил и я, а именно: что душа – всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, что всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и в него вписаться. Наше смертное существование – это, быть может, ничем не ограниченная способность осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, нечувствительных к смене отяжеляющих ее взаимозаменяемых постояльцев. Вот почему я – Себастьян Найт. Мне кажется, будто я воплощаю его на освещенной сцене, а люди, которых он знал, приходят и уходят; нечеткие фигуры его немногих друзей – ученого, поэта, живописца – легко и беззвучно отдают свою почтительную дань; там – Гудмэн, плоскостопый фигляр с торчащей из-под жилета манишкой; вот – бледная аура над

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru склоненной головой Клэр, ее, плачущую, уводит участливая дева. Они движутся вокруг Себастьяна – вокруг меня, исполняющего его роль; в кулисах, припрятав кролика, дожидается выхода старый фокусник, а Нина, освещенная ярче всех, – та сидит на столе под нарисованной пальмой, держа фужер фуксином подкрашенной воды. И вот маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер захлопывает свою книгу, медленно гаснут огни. Конец, конец. Все они возвращаются к своей обыденной жизни (а Клэр в свою могилу), но герой остается, ибо мне не выйти из роли, нечего и стараться: маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Я – Себастьян, или Себастьян – это я, а может быть, оба мы – это кто-то, не известный ни ему, ни мне.

Просвечивающие предметы  
{84}

1

Вот персонаж, который мне нужен. Привет, персонаж! – Не слышит.

Возможно, если бы для каждого человека существовало определенное будущее, которое мозг, устроенный лучше, был бы в состоянии различить, то и прошлое не было бы столь соблазнительно, зовы будущего умеряли бы его власть. Наши персонажи могли бы усесться на самую середину качельной доски и только мотать головой направо и налево. Вот была бы потеха. Но нет у будущего той реальности, с какой рисуется прошлое и воспринимается настоящее. Оно – речевая фигура, мыслительный призрак.

Привет, персонаж! Что такое, не дергайте меня! Я же его не трогаю. Ну ладно. Привет, персонаж... (каждый раз все тише).

Как только мы сосредоточиваемся на любом предмете материального мира, что бы с ним ни творилось, само наше внимание произвольно погружает нас в его историю. Чтобы материя соответствовала моменту, новички должны учиться скользить по ее поверхности. Просвечивающие предметы, сквозь которые сияет прошлое!

Особенно трудно удержать в фокусе поверхность предметов, произведенных руками человеческими, да и природных объектов – самих по себе неизменных, но сильно потрепанных беспечной жизнью (вы совершенно справедливо представили себе камень на склоне холма, по которому бесчисленное число лет снуют бесчисленные мелкие существа). Новички со счастливым мычанием сквозь эту поверхность проваливаются и с детским самозабвением начинают упиваться историей вот этого камня, этой пустоши. Поясню. На материю, и естественную, и искусственную, наброшен тонкий покров непосредственной реальности, и всяк желающий пребывать внутри «сейчас», вместе с «сейчас» или над «сейчас» пусть, пожалуйста, не рвет эту натянутую пленку. Иначе окажется, что неопытный чудотворец, вместо того чтобы шествовать по водам, идет прямехонько ко дну на потеху глазющим рыбам. Это еще не все.

2

Выпрастывая угловатое тело из такси, доставившее его из Трю на этот захудалый горный курорт, персонаж наш, Хью Персон (искаженное «Петерсон», некоторые произносят «Парсон»), – голова в проеме для вылезавших карликов – поднял глаза вовсе не в ответ на жест, каким шофер, изображая услужливость, распахнул для него дверцу, а поверяя вид отеля «Аскот»{85} («Аскот»!) воспоминанием восьмилетней давности (пятая часть его жизни, пронизанная печалью). Эта жуткая постройка из бурого дерева и серого камня выставляла напоказ ставни вишнево-красного цвета – прикрыты были не все, – которые, по странной мнемонической аберрации, запомнились ему яблочно-зелеными. По обеим сторонам ведущей ко входу лестницы возвышались два железных столба с каретными фонарями, оснащенными электрическими лампочками. По ступенькам сбежал, спотыкаясь, лакей в фартуке, подхватил два чемодана и под мышку – обувную коробку, – все это шофер проворно выгрузил из зевнувшего багажника. Персон расплачивается с проворным шофером.

Неузнаваемый холл, конечно, такой же убогий.

У конторки, где надо было расписаться в книге и оставить паспорт, он осведомился по-французски, по-английски, по-немецки и снова по-английски, на месте ли старина Крониг, управляющий, чье обрюзгшее лицо и фальшивую веселость он помнил весьма отчетливо. Служащая (пучок русых волос, красивая шея) сказала, что нет, мосье Крониг от них перешел управляющим, представьте, в «Историю куры» (так ему

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru послышалось). В доказательство была предъявлена травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка, изображающая раскинувшихся в креслах клиентов, с надписью на трех языках, без ошибок лишь на немецком. Английская гласила: «Волшебная лжайка», – и словно нарочно лживая фотографическая перспектива растянула эту лужайку до невероятных размеров.

– Он в прошлом году умер, – добавила девушка (анфас она ничуть не напоминала Арманду, тем самым лишив цветной снимок «Астории» в Куре всякого интереса).

– Значит, никого не осталось, кто может меня помнить?

– Увы, никого, – сказала она с интонацией его покойной жены.

Еще она пожалела, что раз он не может ей сказать, какую он на третьем этаже занимал комнату, то она, в свою очередь, не может выполнить его просьбу, тем более что весь этаж заполнен. Персон, наморщив лоб, вспомнил, что номер у них был триста с чем-то с окнами на восток, – вида никакого, зато солнце здоровалось с ним на прикроватном коврик. Ему очень хотелось вселиться опять туда же, но по требованию закона, когда управляющий, пусть даже бывший, поступал так, как Крониг, все записи уничтожались (самоубийство, стало быть, воспринималось как вариант подлога). Ее помощник, красивый юноша с прыщевой шеей и подбородком, весь в черном, провел Персона в комнату на четвертом этаже, всю дорогу плясь, словно в телевизор, на уходившую вниз голубоватую глухую стену, меж тем как зеркало в лифте с не меньшим вниманием на несколько прозрачных мгновений отразило длинное, худое печальное лицо господина из Массачусетса, чуть-чуть выступающую челюсть и две симметричные складки вокруг рта, которые могли бы принадлежать какому-нибудь мужественному жокею или альпинисту, когда бы меланхолический наклон спины не противоречил такому чарующе-величавому образу.

Окно хоть и смотрело, как тогда, на восток, вид из него на этот раз был, и какой: колоссальный карьер, наполненный экскаваторами (замолкающими на конец субботы и воскресенья).

Лакей в яблочно-зеленом фартуке принес два чемодана и картонную коробку с надписью «По ноге» на обертке, и Персон остался один. Он знал, что гостиница свое отжила, но подобного все-таки не ожидал. *Bellevue chambre au quatrième* [67], слишком просторная для одного, для нескольких – чересчур тесная, лишена была всяких признаков комфорта. Он припомнил, что комната этажом ниже, где он, тридцатидвухлетний мужчина, плакал горше и чаще, чем за все свое печальное детство, хоть и тоже была уродлива, но все же не настолько хаотически нелепа, как нынешняя его обитель. Кровать – настоящий кошмар. Биде в «ванной» без ванны сгодилось бы цирковой слонихе в сидячем положении. Стульчак в поднятом состоянии не удерживался. Кран, захлебываясь, выпускал мощную струю ржавой воды, сменяющейся потом слабой струйкой обычной влаги, которую как следует не ценят, – текучее чудо, да, да, она заслуживает памятников, святилищ прохлады! Хью, выходя из этой постыдной уборной, прикрыл за собой дверь, но она, как глупый щенок, заскулила и последовала за ним в комнату. Теперь расскажем о наших трудностях.

З

Человек аккуратный, Хью Персон стал искать, куда сложить вещи, и обнаружил, что ящик старого, оттесненного в темный угол стола, на котором стояла похожая на каркас сломанного зонтика лампа без лампочки и абажура, плохо задвинут предыдущим постояльцем или слугой (на самом деле ни тем и ни другим) – последним, кто в него заглянул, чтобы проверить, не осталось ли в нем чего-нибудь (никто не заглядывал). Бедный мой Хью попытался втолкнуть его на место – тот сначала отказывался повиноваться, но потом, в ответ на случайный рывок (в добавление к энергии, накопленной предыдущими подталкиваниями), дал отдачу, выплюнув карандаш. Хью на него поглядел, потом положил обратно в ящик.

В нем не было гексагональной красоты его собратьев, сделанных из виргинского можжевельника или африканского кедра, с именем фабриканта, оттиснутым на серебряном наконечнике, – нет, это был самый простой, круглый, старый, лишенный каких-либо отличительных черт карандаш тускло-фиолетового цвета, из обычного соснового дерева. Десять лет назад его здесь забыл столяр, который, не успев досмотреть стол (не говоря о ремонте), отправился за каким-то инструментом, да так и не вернулся. Теперь внимание.

В мастерской у столяра, а еще задолго до этого в сельской школе карандаш

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru изнашивается до двух третей первоначальной длины. Потемневший отточенный деревянный конус цвета отливающей свинцом сливы и вовсе бы слился с туповатым грифельным кончиком, если бы тот не отсвечивал матовым блеском. Нож и медная точилка достаточно над ним потрудились, и при желании можно было бы восстановить всю запутанную историю последовательных срезов, стружки от которых – пока свежие, светло-коричневые с исподу, розовато-лиловые снаружи – теперь рассыпались на атомы пыли, разбросанные по свету, отчего ужас перехватывает горло, но надо быть выше этого, к такому привыкают быстро, есть вещи и пострашнее. Изготовлен он был по старинке, и чинить его было одно удовольствие. Вернувшись еще на энное количество лет назад (хоть и не доходя до года рождения Шекспира, когда был открыт графит){86}, чтобы дальше проследить историю нашей вещицы в направлении уже сегодняшнего дня, мы увидим, как девочки и старики смешивают очень мелко размолотый графит с мокрой глиной. Эту массу, эту паюсную икру закладывают в металлический цилиндр с голубым глазком – сафиром с просверленной в нем дырочкой, через которую и проталкивается графит. Он выходит непрерывной аппетитной колбаской (полюбуйтесь канашкой), словно хранящей форму пищеварительного тракта дождевого червя (нечего отворачиваться!). Теперь ее нарезают по длине карандаша (этим занимается старый Элиас Борроудэйл{87}, – сделав шаг в его сторону, мы его чуть не толкнули под локоть, но вовремя вернулись на место, чтобы не упустить из виду наш кусочек графита). Смотрите, как он печется, смотрите, как варится в жиру (следуют моментальные снимки кучерявого зарезываемого жиродателя, снимок мясника, снимок пастуха и его мексиканца-отца) и как прилаживают к нему деревянную оправу.

Занявшись теперь древесиной, не будем терять из виду наш бесценный кусочек свинца. Вот оно, дерево! Та самая сосна! Вот ее срубили. В дело идет только ствол – его очищают от коры. Мы слышим визг новоизобретенной электропилы{88}, глядим на высушиваемые и распиливаемые бревна. Вот та доска, из которой будет изготовлено тело карандаша, выпавшего из пустого ящика (который все еще открыт). Мы видим его в стволе, ствол в дереве, дерево в лесу, а лес в мире, который построил Джек. Об их присутствии мы узнаем по признакам, для нас совершенно ясным, хоть и лишенным имени, – описать их так же невозможно, как описать улыбку тому, кто никогда не видел улыбчивых глаз.

Так, мерцая, разворачивается вся эта маленькая драма – от кристаллов углерода и поваленной сосны до убогого этого орудия письма, этого просвечивающего предмета. Но, увы, трехмерный карандаш, на мгновение побывавший в пальцах у Хью Персона, от нас все-таки ускользает. Но сам Персон от нас не уйдет.

4

Это был его четвертый приезд в Швейцарию. Впервые он побывал тут восемнадцать лет назад, когда вместе с отцом приезжал на несколько дней в Трю. Спустя десять лет, в тридцатидвухлетнем возрасте, он вновь посетил этот старый город на озере, где успешно встряхнул свои чувства – полураскаяние, полуудивление, – отправившись взглянуть на гостиницу, в которой они останавливались. От безликой станции у озера, до которой он доехал по местной ветке, круто поднималась тропинка, переходящая в старую лестницу. Он помнил, что гостиница называется «Локэ», потому что это напоминало девичью фамилию его матери, происходившей из французской Канады, – Персон-старший пережил ее на неполный год. Еще он помнил, что гостиница эта, жалкая и некрасивая, стояла в унижительном соседстве с гораздо лучшим отелем, в окнах которого смутно белели столы и, как рыбы в аквариуме, сновали официанты. Ни той ни другого теперь не было, а на их месте возвышалась поблескивающая сталью постройка – Банк Блэ: полированные поверхности, стеклянные плоскости, растения в кадках.

Спал он там в некоем нерешительном подобии алькова, аркой и вешалкой отделенном от кровати отца. Ночь – всегда чудовище, но тут она была особенно ужасна. Дома у Хью всегда была своя комната, и эту братскую могилу сна он возненавидел, угрюмо надеясь, что во время последующих остановок в их путешествии по Швейцарии, маячившем перед ним, словно в цветном тумане, у них с отцом, как обещано, действительно будут отдельные спальни. Отец его, человек лет шестидесяти, ростом пониже, чем Хью, и плотнее, за недолгое время своего вдовства как-то неаппетитно состарился. Все его вещи обладали слабым, но совершенно определенным, безошибочно узнаваемым запахом. Он вздыхал и сопел во сне, а снились ему огромные, неподъемные кирпичи мрака, которые надо было поднять и оттащить с дороги, по ним он карабкался с замирающим чувством бессилия и отчаяния. В анналах путешествий по Европе, которые по совету домашних врачей совершают, чтобы развеять грусть одиночества, ушедшие в отставку старцы, едва ли

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
найдется одно-единственное, которое принесло бы хоть какую-то пользу.

Персон-старший всегда был «безруким», но то, как он последнее время шарил руками в пенной воде пространства, стараясь отыскать прозрачное мыло ускользящей материи, то, как он тщетно пытался завязать или развязать части одежды, которые требовалось застегнуть или расстегнуть, становилось определенно комичным. Хью и сам кое-что от этой неуклюжести унаследовал, однако новая эта ее преувеличенная форма его раздражала, словно без конца повторяющаяся пародия. Свой последний день в так называемой Швейцарии (то есть непосредственно перед событием, после которого все стало для него «так называемым») старик, руки-крюки, желая поглядеть, какая стоит погода, начал со сражения с жалюзи, и, успев, прежде чем шуршащая лавина свалилась обратно вниз, заметить мокрую мостовую, решил прихватить зонтик, как оказалось, плохо сложенный. Хью, раздувая ноздри, следил за его попытками поправить дело с безмолвным отвращением. Гнев был незаслуженный, ибо со множеством предметов – от живых клеток до погасших звезд – происходят время от времени разные небольшие злключения, оттого что руки их безымянных творцов не всегда умелы и бережны. Неприятно колыхавшиеся черные складки надо было уложить заново, но едва была поймана ленточка с кольцом (кружок, осязаемый большим и указательным пальцами), как в бороздах и межах пространства затерялась соответствующая пуговка. Понаблюдав немного за отцовскими неловкими хватками, Хью вырвал зонт у него из рук с такой резкостью, что старик, прежде чем ответить на эту внезапную неучтивость извиняющейся улыбкой, еще несколько секунд продолжал шарить руками в воздухе. Не произнося ни слова, Хью свирепо свернул и застегнул на пуговицу зонтик, принявший, по правде сказать, не лучший вид, чем тот, какой в конце концов придал бы ему отец.

Каковы были их планы на предстоящий день? – Завтракам же, где накануне ужинали, потом кое-какие покупки и долгий осмотр достопримечательностей. Изображение местного чуда природы, водопада Тара, украшало дверь уборной в коридоре, а в вестибюле висела большая его фотография. У конторки доктор Персон остановился и в своей обычной суетливой манере спросил, нет ли для него почты (которой он вовсе не ожидал). После недолгих поисков оказалось, что есть телеграмма на имя миссис Парсон, а для него ничего, кроме легкого шока, вызванного неполным совпадением. Возле его локтя оказался свернутый сантиметр, и он попытался обхватить им свои толстые бедра, то и дело теряя конец и объясняя тем временем угрюмому администратору, что собирается купить в городе пару летних брюк, а это надо делать с умом. Этот вздор показался Хью столь отвратительным, что он начал продвигаться к выходу, не дожидаясь, пока отец свернет серую ленту обратно.

5

После завтрака они подыскивали подходящего вида магазин. «Confections. Notre vente triomphale de soldes»[68]. «Триумфальная продажа наших ветродуев»{89}, – перевел отец, и Хью устало-пренебрежительно его поправил. Снаружи перед витриной на железной треноге стояла ничем не защищенная от усиливающегося дождя корзина со сложенными рубашками. Грянул гром. «Давай-ка заглянем сюда», – нервно произнес доктор Персон, чей страх перед электрическими разрядами был для сына дополнительным источником раздражения.

Случилось так, что Ирма, унылая и обозленная приказчица, в то утро одна работала в убогом магазинчике готового платья, куда Хью с неудовольствием проследовал за отцом. Сослуживцы ее, муж и жена, только что попали в больницу после случившегося в их скромной квартире пожара, хозяин отлучился по делу, а посетителей было больше, чем обычно по четвергам. Когда они вошли, она одновременно помогала сделать выбор трем старушкам, прибывшим из Лондона на туристском автобусе, и объясняла белокурой немке в трауре, где можно сделать фото для паспорта. Каждая из старушек по очереди прикладывала к груди одно и то же в цветочках платье, и доктор Персон стал тотчас же переводить их кудахтающий кокни на плохой французский. Девушка в трауре вернулась за позабытым ею пакетом, было распялено еще несколько платьев, изучено еще несколько ярлычков. Зашел новый покупатель с двумя детьми. Воспользовавшись паузой, доктор Персон спросил пару брюк. Ему было выдано несколько пар для примерки в соседней комнатке. Хью выскользнул из магазина.

Он бесцельно побрел, держась под защитой архитектурных выступов, – тщетно ежедневная газета, издающаяся в этом дождливом городе, взывала о возведении галерей в торговых кварталах. Хью решил посмотреть, что продают в сувенирном магазине. Его привлекла зеленоватая статуэтка лыжницы, изготовленная из

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru материала, который он не смог распознать через витрину (это был имитирующий арагонит «алюбастрик»{90}, а сделана и раскрашена была вещь из узника Грюмбельской тюрьмы, силачом-гомосексуалистом Арманом Рейвом, задушившим сестру-кровосмесительницу своего друга). Этот гребень в чехольчике из настоящей кожи, – может, действительно его? – нет, он моментально засорится, будешь потом целый час ковырять его тесные зубцы каким-нибудь маленьким лезвием вон того перочинного ножичка, дерзко выставившего напоказ свои внутренности. Хорошенькие наручные часы с собачкой на циферблате, всего двадцать два франка. Или купить (для соседа по университетскому общежитию) это деревянное блюдо с белым крестом посередине и всеми двадцатью двумя кантонами вокруг? Хью было тоже двадцать два года, и его всю жизнь преследовали символические совпадения.

Дин-дон колокольчика и мигающий красный свет на железнодорожном переезде объявили о надвигающемся событии: медленно и неумолимо начал опускаться шлагбаум.

А за приспущенной наполовину занавеской виднелись элегантные ножки в прозрачных черных чулках, принадлежащие сидящей внутри даме. Мы страшно торопимся схватить этот момент! Занавеска – в будке на тротуаре, оснащенной вертящимся стульчиком для высоких и низких и автоматом, делающим фотографии для паспорта или развлечения ради. Хью глянул на ножки, потом на рекламное объявление. Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур{91}:

Пока он, еще девственник, воображал эти рискованные позы, слились в одно два события: раздался грохот проносающегося мимо поезда, магниевая молния осветила кабинку. Уже знакомая нам блондинка в трауре, отнюдь не сраженная током, вышла, застегивая сумочку. Чью бы она ни желала увековечить кончину снимком светловолосой красоты в черном крепе, к третьему событию, одновременно случившемуся неподалеку, это не имело никакого отношения.

Может, пойти за ней – хороший был бы урок, – пойти за ней следом, а не тащиться глазеть на водопад: хороший урок для старика. Хью со вздохом и проклятием поворотил оглобли (когда-то недурная метафора) и вернулся в магазин. Как Ирма потом рассказывала соседям, ей показалось, будто старый господин ушел вместе с сыном, поэтому она сначала даже не могла понять, чего молодой человек от нее хочет, хоть он и бегло говорил по-французски. А поняв, посмеялась над собственной глупостью и поспешно повела Хью в примерочную, где, все еще весело смеясь, жестом, ретроспективно исполненным драматизма, откинула не коричневую – зеленую занавеску. Разброд и разобниение предметов в пространстве всегда комичны, и мало что может быть смешнее, чем три пары штанов, перепутавшихся на полу в застывшем танце, – коричневые слаксы, синие джинсы и старые серые фланелевые брюки. В тот миг, когда неуклюжий старый Персон сражался с зигзагом узкой брючины, пытаясь просунуть в нее ногу в ботинке, голова его наполнилась красным ревом. Умер он еще прежде, чем коснулся пола, словно падал с большой высоты, и теперь лежал на спине, вытянув одну руку, но так и не достав зонтика и шляпы, отразившихся в высоком зеркале.

6

Сей Генри Эмери Персон – отец нашего Персона – может быть описан и как милый, искренний, доброжелательный человек, и как жалкий обманщик – в зависимости от угла освещения и положения наблюдателя. Заламывание рук – постоянное занятие во мраке угрызений совести, в темнице невозвратного. Школьнику, будь он силен, как Бостонский душитель{92}, – покажи-ка руки, Хью, – все равно не совладать с одноклассниками, когда все они жестоко издеваются над его отцом. После двух-трех драк с самыми из них мерзкими он занял позицию более хитрую и более подленькую – позицию молчаливого полусогласия, ужасавшую его теперь, когда он вспоминал эти времена. По странному выверту сознания сам этот ужас отчасти примирял его с самим собой, доказывая, что он все-таки не полное чудовище. Теперь ему надо что-то делать со множеством вспоминаящихся ему грубостей, в которых он был виновен вплоть до последнего дня и с которыми разделяться столь же болезненно, как с очками и вставными челюстями, врученными ему в бумажном мешочке чиновником. Единственный разысканный им родственник – дядя из Скрантона – из-за океана посоветовал не отправлять тело домой, а кремировать за границей; на деле,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru однако, отвергнутая дядей процедура оказалась проще во много раз, и прежде всего потому, что позволила Хью практически тут же избавиться от страшного груза.

Все ему помогали. Хотелось бы в особенности поблагодарить за всемерную помощь, оказанную нашему бедному другу, Гарольда Холла, американского консула в Швейцарии.

Из двух сильных испытанных Хью ощущений одно было общего порядка, другое – особенного.

Первым его осенило чувство освобождения, подобное ветру, чистому и испуленному, выметающему сор из избы бытия. Особенно же его воодушевило, когда в потрепанном, но пухлом отцовском бумажнике он обнаружил три тысячи долларов. Как многие молодые люди сумрачного вдохновения, в толстой пачке денег ощущающие всю полноту незамедлительных угод, он был лишен как всякой практической заинтересованности, всякого желания разбогатеть, так и нравственных сомнений по поводу будущих средств к существованию (которые оказались незначительными, ибо обнаруженные им наличные составили более десятой части всего наследства). Он в тот же день переехал в гораздо лучшую женеvскую гостиницу, на ужин съел *homard à l'américaine*[69] и по улице, начинавшейся прямо за отелем, отправился искать первую в своей жизни проститутку.

По причинам оптического и физического порядка половой акт гораздо менее прозрачен, чем иные предметы, куда более сложные. Известно, впрочем, что в родном городе Хью ухаживал одновременно за тридцативосьмилетней матерью семейства и за ее шестнадцатилетней дочерью, но с первой ему не хватило мужской силы, а со второй – дерзости. Перед нами обыкновенный случай затянувшегося эротического зуда, привычки к одинокому его утолению, незабываемых снов. У приземистой толстушки, с которой он заговорил, на бледном, милом и вульгарном личике сияли глаза итальянки. Она повела его в одну из комнат подороже в омерзительных старых номерах, в тот самый «номер», где девяносто один, девяносто два, почти девяносто три года назад останавливался на пути в Италию некий русский писатель. Кровать – другая, с латунными шипами, была застелена, расстелена, накрыта сюртуком и снова застелена; на ней стоит полуоткрытый саквояж в зеленую клетку, а сюртук наброшен на плечи темноволосого всклокоченного путешественника в открывающей голую шею ночной сорочке; его мы застаем в раздумье, что вынуть из саквояжа, который будет выслан вперед почтовой каретой, и переложить в рюкзак, который он понесет по горам на своих плечах до итальянской границы. Он поджидает своего друга, художника Кандидатова, чтобы тут же вместе отправиться на одну из тех беззаботных прогулок, какие романтики совершают даже под морозящим августовским дождиком – в те неприспособленные времена дожди шли еще чаще; сапоги его, мокрые после десятимильного похода до ближайшей рулетки{93}, обиженно стоят за дверью, и он обернул ноги несколькими слоями газеты на немецком языке, на котором, между прочим, он лучше читает, чем по-французски. Главный сейчас вопрос, куда – в рюкзак или в сак – положить рукописи – черновики писем, неоконченный рассказ в черной клеенчатой тетради, куски философского сочинения в синем блокноте, купленном в Женеве, и множество разрозненных набросков романа с предварительным названием «Фауст в Москве». Сейчас, когда он сидит за этим сосновым столом, тем самым, на который потаскушка Персона бухнула объемистую сумку, через эту сумку как бы просвечивает первая страница сего «фауста» с энергично вымаранными строками и неряшливыми вставками, сделанными красными, черными и рептильно-зелеными чернилами. Вид этих писаний его захватывает, хаос на странице выстраивается в порядок, кляксы становятся прекрасными картинами, а пометки на полях – крыльями. И вместо того чтобы разбирать бумаги, он вытаскивает пробку из походной чернильницы и с пером наготове придвигается к столу. Но в эту самую минуту в дверь весело колотят. Дверь распахивается, потом захлопывается.

Хью Персон спустился следом за случайной подружкой по крутой лестнице и дошел с ней до ее излюбленного угла, где они расстались на много лет. Он надеялся, что девушка оставит его в номере до утра и тем самым избавит от ночлега в гостинице, где в каждом неосвещенном уголке одиночества поджидал его отец, но та, заметив, что ему охота задержаться, и неправильно поняв его намерения, грубо сказала, что не желает всю ночь без толку возиться с таким слабаком, и выставила вон.

Впрочем, заснуть ему мешал не призрак, мешала духота. Он настезь распахнул обе створки окна. С четвертого этажа ему была видна автостоянка; тонкий месяц был слишком бледным, чтобы осветить крыши домов, которые спускались к невидимому

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru озеру; свет из гаража выхватывал ступеньки пустынной лестницы, ведущей в хаос теней; все это показалось ему таким чуждым и угрюмым, что наш Персон, страдавший высотобоязнью, почувствовал, как земное тяготенье зовет его слиться с ночью и с отцом. В детстве он множество раз голышом бродил во сне, но тогда его оберегало знакомое окружение, а потом странная болезнь его оставила. Сегодня, на верхнем этаже незнакомой гостиницы, он был лишен всякой защиты. Он закрыл окно и присидел в кресле до рассвета.

7

В дни, а вернее сказать, в ночи своей младости, когда Хью страдал приступами сомнамбулизма, он выходил из комнаты в обнимку с подушкой и спускался вниз по лестнице. Просыпался он, помнится, в разных странных местах: на ступеньках, ведущих в погреб, или в чуланчике у входных дверей, среди галош и дождевиков, и, хотя мальчика эти босоногие путешествия не очень-то пугали, он не желал «быть привидением» и умолял запирающую спальню на ключ, что тоже не помогало, потому что тогда он через окно протискивался на покатующую крышу галереи, шедшую к спальному корпусу школьного общежития. Когда это случилось впервые, он проснулся, ощутив подошвами холодок черепицы, и обратно в темное свое гнездо пробирался, избегая столкновений со стульями и прочими предметами скорее по слуху. Старый глупый доктор посоветовал его родителям класть на пол возле его кровати мокрые полотенца, а в важных стратегических точках расставлять тазы с водой, – в результате он, обойдя в магическом сне все препятствия, оказался в обществе школьного кота на крыше, трясаясь от холода возле дымовой трубы. Вскоре после этой вылазки, однако, лунатические приступы стали случаться реже и в последние годы отрочества вовсе прекратились. Позднейшим отзвуком был странный случай сражения с ночным столиком. Произошло это, когда Хью учился в колледже и они с другим студентом, Джеком Муром (не родственником), жили в соседних комнатах недавно построенного Снайдер-Холла. После унылого дня зубрежки Джек посреди ночи был разбужен шумом из полугостиной-полуспальни. Он отправился узнать, в чем дело. Хью вообразил во сне, что ночной столик, трехногое существо (вытащенное из-под телефона в коридоре), начал сам по себе исполнять бешеный воинственный танец, какой он видел, когда другой подобный столик однажды был спрошен, скупает ли вызываемый дух (Наполеон) по весенним закатам на Святой Елене. Джек Мур обнаружил, что Хью, выпроставшись из постели, обеими руками вцепился в безобидный предмет и едва не сокрушил его, столь несуразным образом пытаясь успокоить его мнимую подвижность. Книги, пепельница, будильник, коробочка с таблетками от кашля – все было сметено на пол, терзаемое дерево скрипело и трещало в объятиях идиота. Джек Мур с трудом их разъединил. Хью, не просыпаясь, молча повернулся на другой бок.

8

В течение десяти лет, которым суждено было пройти между первыми двумя приездами Хью Персона в Швейцарию, он зарабатывал на жизнь разными скучными способами – удел многих блестящих молодых людей без особых амбиций или дарований, привыкающих отдавать малую часть своих способностей в услужение банальности и шарлатанству. Что они делают с другой, гораздо большей частью, прибежищем истинных чувств и мечтаний, – не совсем тайна (тайн ныне больше нет), но выяснение этого привело бы к таким открытиям и откровениям, с которыми встретиться лицом к лицу было бы слишком печально, слишком страшно. Недуги сознания – предмет, который специалисты должны обсуждать только со специалистами.

Он мог перемножать в уме восьмизначные числа, но двадцати пяти лет от роду утратил эту способность всего за несколько серых весенних ночей, когда с вирусным заболеванием лежал в больнице. Он напечатал в университетском журнале стихи – длинное бессвязное произведение с многообещающим началом:

Прославим многоточие... Закат  
Служил небесным озеру примером..  
Еще он написал письмо в лондонскую «Таймс», перепечатанное спустя несколько лет в антологии «Редактору: Сэр...», где было такое место:

Анакреон умер в восемьдесят пять лет, поперхнувшись предтечей вина{94} (как сказал другой иониец), а шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании{95}.

Окончив университет, он семь лет проработал секретарем и безымянным помощником одного знаменитого мошенника, покойного символиста Атмана{96}, неся полную

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru ответственность за примечания вроде следующего:

Кромлех (ср.: млеко, Milch, milk) – очевидно, символ Великой Матери, подобно тому как менгир{97} (mein Herr) означает мужское начало.

Потом он был какое-то время занят в производстве канцелярских принадлежностей, и выпущенное им вечное перо получило название «перо Персона». Это и осталось самым большим его достижением. Двадцатидевятилетним угрюмцем он поступил в большое издательство, где служил и библиографом, и ответственным за рекламу, и корректором, и помощником редактора, и старшим редактором, и угодником авторов. Усталый раб, он был отдан в услужение к миссис Флэнкард, пышнотелой претенциозной даме с красным лицом и глазами осьминога, чей огромный роман «Лось» был принят к изданию при условии, что будет решительно пересмотрен, безжалостно сокращен и частично переписан. Предполагалось, что заново написанные куски – по нескольку страниц в разных местах романа – заполнят черные кровоточащие пустоты между оставшимися главами, зияющие в подвергнутом безжалостному усечению тексте. Операцию эту произвела одна из коллег Хью, хорошенькая девушка с «конским хвостом», которая вскоре ушла из издательства. Писательского таланта у нее было еще меньше, чем у миссис Флэнкард, и теперь на Хью была взвалена обязанность не только залечивать нанесенные ею раны, но и выводить оставленные ею в неприкосновенности бородавки. Несколько раз он пил чай у миссис Флэнкард в ее прелестном загородном домике, украшенном почти исключительно полотнами ее покойного мужа – ранняя весна в гостиной, разгар лета в столовой, все красоты Новой Англии в библиотеке и зима – в спальне. В этой последней комнате Хью постарался не задерживаться, испытывая жуткое предчувствие, что миссис Флэнкард хочет быть изнасилованной прямо под палевыми снежинками мистера Флэнкарда. Как многие перезрелые, но все еще красивые дамы, имеющие какое-то отношение к искусству, она, казалось, совершенно не понимала, что огромный бюст, морщинистая шея и запах женской несвежести в смеси с одеколоном способны отвратить нервного мужчину. Он издал вздох облегчения, когда «наша книга» наконец вышла.

На волне коммерческого успеха «Лося» ему дали более почетное задание. Господин R., как его называли в издательстве (у того было длинное немецкое имя из двух половин с аристократической частицей между замком и утесом), писал по-английски значительно лучше, чем говорил. Ложась на бумагу, его английский приобретал форму, богатство и ту иллюзию выразительности, благодаря которым менее требовательные критики удочеренной им страны называли его выдающимся стилистом.

В переписке господин R. бывал неприятен, груб и обидчив. Его отношениям с Хью, отделенным от него океаном – господин R. жил главным образом в Швейцарии и во Франции, – недоставало того ореола сердечности, который был во Флэнкардовском кошмаре; но господин R., если и не первоклассный мастер, был, по крайней мере, настоящим художником, – за право пользоваться нестандартной пунктуацией, точнее выражающей какую-нибудь мысль, он сражался собственным оружием и на своей земле. Наш услужливый Персон запустил в производство переиздание одной из ранних его вещей в мягкой обложке, но после этого началось долгое ожидание нового романа, который R. обещал представить до лета. Весна прошла без результатов – и Хью полетел в Швейцарию для личного разговора с медлительным автором. Это было второе из четырех его путешествий в Европу.

9

Сияющим днем, накануне встречи с господином R., он познакомился с Армандой в швейцарском поезде между Туром и Версексом. Он сел на почтовый по ошибке, она же его избрала, потому что он останавливается на маленькой станции, откуда шел автобус в Витт, где у ее матери была дача. Арманда и Хью одновременно уселись на два противоположных кресла у окна со стороны озера. Соответствующие четыре места по другую сторону прохода заняло какое-то американское семейство. Хью раскрыл «Журналь де Женев».

Да, она была хороша собой и была бы хороша необыкновенно, если бы не слишком тонкие губы. У нее были темные глаза, светлые волосы и медовая кожа. Парные ямочки полумесяцами спускались по загорелым щекам к скорбному рту. К черному костюму она выбрала блузку с оборками. Руками в черных перчатках она накрыла лежавшую у нее на коленях книгу. Ему показалось, что эта обложка цвета сажи и пламени ему известна. Знакомство произошло по сценарию, банальному до совершенства.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Они обменялись взглядом цивилизованного неодобрения, когда трое американских детишек стали выбрасывать из чемоданов брюки и свитера в поисках каких-то глупейшим образом забытых вещей (пачки комиксов, которые вместе с мокрыми полотенцами уже успели перейти в ведение проворной гостиничной горничной). Заметив суровый взгляд Арманды, один из взрослых отозвался гримасой добродушной беспомощности. Кондуктор стал проверять билеты.

Хью, слегка склонив голову набок, рад был убедиться, что оказался прав – это действительно было бумажное издание «Силуэтов в золотом окне».

– Одна из наших, – сказал Хью, указывая кивком на томик, все еще лежавший у нее на коленях.

Она взглянула на книгу, словно ожидая от нее объяснений. Юбка у нее была очень короткая.

– Я хочу сказать, – продолжал он, – что работаю как раз в этом издательстве. Американском, выпустившем эту книгу в твердой обложке. Нравится она вам?

Она отвечала ему на беглом, хотя и деланом английском, что терпеть не может сюрреалистических романов поэтического свойства. Ей нужен грубый реализм, отражающий наше время. Ей нравятся книги про насилие и восточную мудрость. А что, дальше интереснее?

– Ну, там есть довольно драматическая сцена в вилле на Ривьере, когда маленькая девочка, дочь рассказчика...

– Джун.

– Да, Джун, она поджигает свой новый кукольный дом, и вся вилла сгорает. Насилия там, правда, маловато: все это довольно символично, величественно и в то же время, как заявлено на суперобложке – по крайней мере, в нашем первом издании, – не лишено некоей странной прелести. А обложку делал знаменитый Поль Плам.

Она, конечно, ее осилит, даже если скучно, потому что каждое дело в жизни надо доводить до конца; вот, например, над Виттом, где у них дом, chalet de luxe [70], никак не могут достроить новую дорогу, и приходится каждый раз пешком тащиться до канатки на Дракониту. Это «Горящее окно», или как там оно называется, ей только накануне подарила на день рождения (ей исполнилось двадцать три) падчерица писателя, он ее, наверное...

– Джулия.

– Да. Зимой мы вместе с Джулией преподавали в Тессине в школе для девочек-иностранок. Отчим Джулии как раз развелся с ее матерью, – как он ее, бедную, мучил. Что преподавали? Ну, ритмику, гимнастику и все такое.

К этому времени Хью перешел с этим новым неотразимым персонажем на французский, который он знал по крайней мере не хуже, чем незнакомка – английский. Она предложила ему отгадать, откуда она родом, и он предположил, что из Дании или Голландии. Нет, ее отец – бельгиец, он был архитектор и прошлым летом погиб при сносе одной известной гостиницы на вышедшем из употребления курорте. А мать родилась в России, в очень аристократической семье, которая, конечно, страшно пострадала от революции. Нравится ему работа? Не трудно немножко опустить эту штору? Похороны солнца. Что, есть такая поговорка? Нет, это он сейчас придумал. В дневнике, который Хью то вел, то бросал, он записал этой ночью в Версексе:

«В поезде разговорился с девушкой. Прелестные загорелые голые ноги в золотистых сандалиях. Охвачен безумным желанием, как школьник. Романтическое смятение, какого никогда не испытывал. Арманда Шамар. „La particule aurait juré avec la dernière syllabe de mon prénom“ [71]. „Шамар“ в значении „веер из павлиньих перьев“, встречается, кажется, у Байрона {98} в одном очень возвышенном восточном пассаже. Пленительная развитость и в то же время чудная наивность. Дача над Виттом, построенная отцом. „Если окажетесь в наших parages...“ [72] Спросила, нравится ли мне моя работа. Работа! Я ответил: „Спроси не что я делаю, а что могу делать, спроси, красавица, подобная закату солнца сквозь полупрозрачную черную ткань. Я могу за три минуты выучить страницу телефонной книги, но не помню собственного телефонного номера. Я могу слагать вирши, новые и необычные,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru как ты сама, и каких не будет еще триста лет, но не напечатал ни одного стихотворения, кроме какой-то юношеской чепухи. Играя на теннисных кортах отцовской школы, я изобрел потрясающий прием подачи – тягучий резаный удар, но выдыхаюсь после одного гейма. Чернилами и акварелью я могу нарисовать непревзойденной прозрачности озеро с отражением всех райских гор, но не умею изобразить лодки, моста, паники людей в пылающих окнах пламовой виллы, я преподавал французский в американских школах, но так и не избавился от канадского акцента моей матери, который мне явственен, когда я шепчу на этом языке: „Ouvre ta robe, Déjànère[73], и я взойду sur mon bûcher“{99}[74]. Я могу на дюйм подняться над землей и десять секунд удерживаться, но не залезу на яблоню. У меня есть степень доктора философии, но я не знаю немецкого. Я полюбил тебя, но ничего предпринимать не стану. Короче говоря, я круглый гений“. По совпадению, достойному другого гения, его падчерица подарила ей книгу. Джулия Мур, конечно, забыла, что года два назад была моею. И мать, и дочь – заядлые путешественницы. Они были в Китае и на Кубе и в других диких и унылых странах и доброжелательно-критически отзываются о разных необычных и прелестных людях, с которыми там подружились. Parlez moi de son[75] отчим. Он très fasciste?[76] Не могла понять, почему я назвал левачество госпожи R. данью расхожей буржуазной моде. Mais au contraire[77], и мать, и дочь обожают радикалов! Ну, сказал я, господин R., lui[78] невосприимчив к политике. Моя прелесть решила, что это его беда. Сливочная шейка с маленьким золотым крестиком и grain de beauté[79]. Стройна, спортивна, смертоносна!»

10

Несмотря на обращенный к самому себе ласковый упрек, кое-что он все-таки предпринял. Он написал ей письмо из роскошного отеля «Версекс-Палас», где «через несколько минут иду на коктейль с нашим достославным писателем, чья лучшая книга Вам не нравится. Позвольте ли навестить Вас, скажем, четвертого, в среду? Потому что скоро я перееду в отель „Аскот“ в Вашем Витте, где, говорят, даже летом можно чудно кататься на лыжах. С другой стороны, главная цель моего пребывания тут – выяснить, когда старый негодяй закончит книгу. Странно сейчас вспоминать, с каким нетерпением еще позавчера я чаял увидеть наконец Великого Человека во плоти».

Плоти оказалось даже больше, чем Персон мог судить по недавним фотографиям. Через окно в холле он успел разглядеть писателя, когда тот вылезал из машины, но его нервная система, целиком поглощенная воспоминаниями о девушке с обнаженными бедрами в залитом солнцем вагоне, не отозвалась на это зрелище ни пением приветственных труб, ни возгласами восторга. И все же зрелище это было величественно – с одной стороны тучного старца поддерживал красавец шофер, с другой – чернобородый секретарь, а на ступеньках всячески изображали свою незаменимость два выскочивших из гостиницы chasseur'a[80]. Репортер внутри Персона отметил, что на нем бархатисто-шоколадного оттенка теннисные туфли, лимонного цвета рубашка с лиловым шейным платком и мятый серый костюм, ничем, по крайней мере на американский взгляд, не выделяющийся. Привет, Персон! Они расположились в гостиной возле бара.

Внешность и речь новоприбывших лишь усиливали чувство нереальности происходящего. Этот представительный господин с глиняной маской грима и фальшивой улыбкой на лице и мистер Тамворт с разбойничьей бородой – оба они словно разыгрывали некую суконно написанную сцену перед невидимыми зрителями; Персон же, на какое бы место ни садился и куда бы ни глядел, постоянно оказывался во время этой недолгой, но пьяной беседы спиной к залу, словно его, как манекен, вместе со стулом поворачивала никем не замеченная домоправительница Шерлока Холмса{100}. Они и в самом деле казались муляжами и восковыми куклами по сравнению с реальностью Арманды, чей образ, отпечатавшийся в его сознании, проглядывал сквозь эту сцену – то перевертнем, то дразняще застревая в боковом зрении, неподдельный, неотступный, неотвязный. Банальности, которыми он с ней успел обменяться, сияли подлинностью рядом с натужными шутками фальшивого застолья.

«Да вы же совершенно замечательно выглядите!» – сказал Хью, когда напитки были заказаны, – ложь в его словах была через край.

У барона R. было грубое, нездорового цвета лицо, ноздреватый бугристый нос, косматые воинственные брови, неподвижный взгляд и полный гнилых зубов бульдожий рот. Столь заметная в его писаниях жилка зловерной изощренности присутствовала и в заранее заготовленных его речах, – сейчас, к примеру, он говорил, что о

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru «замечательно» нет и речи и вообще он находит в себе все больше сходства со знаменитым киноактером Ройбинсоном, игравшим когда-то старых гангстеров в фильмах, сделанных во Флориде{101}, – только такого актера никогда не существовало.

– И все-таки, как же вы себя чувствуете? – спросил Хью, развивая свой неуспех.

– Покороче говоря, – сказал Р., приводивший в отчаяние не только манерой говорить на своем мнимо обиходном английском самыми избитыми формулами и с сильным акцентом, но и тем, что постоянно их переиначивал, – покороче говоря, я, знаете, всю зиму прихварываю. Моя, знаете ли, печень что-то насупротив меня ополчилась. – Он отхлебнул добрый глоток виски и, полоща рот каким-то новым способом, какого Хью еще не видывал, очень замедленным движением поставил рюмку обратно на низкий столик. Побыв мгновение à deux[81] с жидкостью, пойманной в ловушку рта, он наконец проглотил ее и переключился на другой английский – на пышный стиль самых ярких своих персонажей: – Бессонница и сестра ее Ноктурия{102} меня изводят, а в остальном я крепок, как лист почтовых марок. Вы, наверное, не знакомы с мистером Тамвортом: Персон, произносится «Парсон», Тамворт – как английская порода пятнистых свиней{103}.

– Нет, – сказал Хью, – это не от «Парсон», а скорее от «Петерсон».

– Хорошо, сынок, а как там Фил?

Они коротко обсудили энергию, обаяние и деловую сметку издателя.

– Только он хочет, чтобы я писал не те книги. Ему нужен, – названия романов своего соперника, которые тоже издавал Фил, он выговорил особым горловым застенчивым голосом, – ему нужен «Мальчик для утех», но он согласился бы и на «Стройную стерву», а все, что я могу ему предложить, – это не тра-ля-ля, а первый, самый скучный том моих «Тралятиций»{104}.

– Уверяю вас, он ждет рукопись с огромным нетерпением. Я, между прочим...

Между каким прочим? Для подобных нелогичностей стоило бы изобрести специальный риторический термин. Черная ткань едва прикрывала невиданный ландшафт между – между прочим, я с ума сойду, если ее не добьюсь.

– Я, между прочим, вчера познакомился с подругой вашей падчерицы...

– Бывшей падчерицы, – поправил господин Р. – Сто лет ее не видел и столько же, надеюсь, не увижу. Повтори, сынок (бармену).

– И знаете, как это произошло? Сидит передо мной девушка и читает...

– Простите, – сказал медовым голосом секретарь, складывая нацарапанную им записку и передавая ее Хью: «Упоминания о мисс Мур и ее матери господину Р. неприятны».

И я с ним согласен. Но куда девалась знаменитая тактичность Хью? Захмелевший Хью прекрасно знал, как обстоит дело – от Фила, не от Джулии, девчонки распушенной, но не болтливой.

Эта часть просвечивания выходит у нас довольно нудной, но надобно завершить отчет.

Наняв соглядая, господин Р. в один прекрасный день обнаружил, что его жена Мэрион изменяет ему с Кристианом Пайнсом, сыном известного режиссера, поставившего «Золотые окна» (фильм, довольно шатко построенный на лучшем романе нашего автора). Господин Р. это приветствовал, поскольку старательно ухаживал за Джулией Мур, своей восемнадцатилетней падчерицей, и вынашивал планы на будущее, достойные сентиментального развратника, тремя или четырьмя браками еще не насыщенного. Очень скоро, однако, он узнал с помощью того же сыщика, в данный момент умирающего в душной грязной больнице на Формозе (остров), что юный Пайнс, красивый бездельник с лягушачьим лицом (он тоже скоро умрет), – любовник и матери, и дочери, которых он два лета ублажал в Кавальере, Калифорния. Расставание поэтому растянулось и протекало более болезненно, чем Р. предполагал вначале. В разгар этой истории скромный наш Персон (хоть он на самом деле на

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru полдюйма выше верзилы R.) тоже отхватил сбоку кусочек от пирога, на который было столько охотников.

11

Джулии нравились высокие мужчины с сильными руками и печалью в глазах. Хью познакомился с ней на какой-то вечеринке в Нью-Йорке. Через два дня он столкнулся с ней у Фила, и она спросила, не хочет ли он посмотреть «Гонца из Пизы» (авангардный спектакль). У нее есть два билета, но мать ее уезжает в Вашингтон по судебным делам (связанным, как справедливо подумал Хью, с бракоразводным процессом); так он готов ее сопровождать? «Авангард» в искусстве редко означает что-то большее, чем дань очередной претенциозной обывательской моде, и поэтому Хью, когда поднялся занавес, не так уж удивился, увидев совершенно голого отшельника, восседающего посреди пустой сцены на сломанном унитазе. Джулия хмыкнула, предвкушая восхитительный вечер. Хью был подведен к тому, чтобы обхватить своей робкой лапой детскую ручку, случайно дотронувшуюся до его колена. Ее кукольное личико, раскосые глаза, поблескивающие на мочках ушей топазовые сережки, гибкое тело, скрытое под оранжевой блузкой и черной юбкой, тонкие запястья и лодыжки и редкостный отлив прямой челки на лбу радовали его мужское око. Не менее приятно было предполагать, что господин R., который в одном интервью похвастался, что наделен немалой долей телепатических сил, в этот миг испытал в своем швейцарском убежище укол ревности.

По слухам, пьесу собирались запретить после премьеры, и группа буйных молодых демонстрантов, протестуя против подобного ущемления прав, умудрилась сорвать как раз то, что хотела поддержать. Взрывы шутих густым дымом наполнили зал, по серпантинам развернутых рулонов розовой и зеленой туалетной бумаги побежал скорый огонек, и публику вывели из театра. Джулия объявила, что умирает от жажды и отчаяния. Популярный бар по соседству с театром был забит до отказа, и Персон наш «в сиянии эдемического упрощения нравов» (как по другому поводу писал R.) пригласил девушку к себе домой. После того как в результате слишком страстного поцелуя в такси он пролил несколько огненных капель нетерпения, его обуяли неразумные сомнения, сумеет ли теперь удовлетворить Джулию, которую господин R., если верить Филу, растлил, когда ей было тринадцать лет, вскоре после того, как ее мать столь опрометчиво вышла за него замуж.

Холостяцкую квартиру, которую Хью снимал на 65-й Восточной улице, ему подыскало издательство. Случилось так, что именно сюда двумя годами раньше Джулия приходила на свидания к одному из лучших своих молодых любовников. Промолчать об этом у нее хватило такта, но призрак юноши, чья смерть на дальней войне сильно ее поразила, то и дело появлялся из ванной, с шумом залезал в холодильник и так странно вмешивался в их простенькое дельце, что расстегиваться и укладываться она отказалась. Конечно, после подобающего промежутка времени дитя сдалось, и скоро она уже всю помогала великану Хью в его неумелой любовной игре. Но как только завершились все положенные подпихивания и задыхания и Хью, отчаянно пытаясь изображать беспечность, пошел на кухню за новой выпивкой, призрак загорелого майора Джимми с белыми ягодицами снова занял место костистой реальности. Она заметила, что зеркало платяного шкафа, как оно видится из постели, отражает тот самый натюрморт – апельсины на деревянном блюде, что и в недолгие дни Джимми (жадного пожирателя этих гарантирующих столетнюю жизнь плодов), дни скоротечные, как слава молодого атлета{105}. Она даже почти огорчилась, когда, оглядевшись, обнаружила источник видения в складках своей яркой блузки, брошенной на спинку стула.

Следующее их свидание она в последнюю минуту отменила и вскоре уехала в Европу. От этого случая у Персона остались в памяти лишь испачканные помадой бумажные салфетки да еще романтическое ощущение, что в его объятиях лежала любовница большого писателя. Но время начинает работать и с такими мимолетностями, добавляя к воспоминанию новый привкус.

А сейчас мы видим обрывок газеты «La Stampa» и пустую винную бутылку. Шло большое строительство.

12

Около Витта шло большое строительство. Склон холма, на котором, как ему сказали, он найдет виллу «Настя», был весь в грязи и рытвинах. Участок, прилегающий к ней вплотную, был более или менее приведен в порядок, составляя оазис покоя посреди наполненной стуком и грохотом пустыни, заполненной глиной и подъемными кранами. Здесь даже успел появиться бутик, поблескивающий среди лавок, полукругом

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru обступивших недавно посаженную рябину, под которой уже образовалась кучка мусора – пустая бутылка, брошенная рабочим, итальянская газета. Способность ориентироваться изменила Персону, но женщина, продававшая яблоки с лотка, указала ему дорогу и отозвала назад большую белую собаку, кинувшуюся ему вслед с показным усердием.

Он стал подниматься вверх по крутой асфальтированной дорожке, вдоль которой тянулась белая стена с торчащими за нею елями и лиственницами. Решетчатая дверь в стене вела в какой-то лагерь или школу. Оттуда доносились голоса играющих детей, и волан, перелетев через стену, улегся у его ног. Он его оставил без внимания – не из тех он, кто поднимает чужие вещи: перчатку, катящуюся монетку.

Немного дальше каменная стена прерывалась короткой лесенкой, ведущей к двери выбеленного бунгало с французской кудрявой надписью «Вилла Настя». Как это часто бывает в произведениях Р., «на звонок никто не ответил»{106}. Сбоку от входа Хью заметил еще несколько ступенек, после всего этого дурацкого подъема опять спускающихся в колючую влажность самшитовых зарослей. По этим ступенькам он, обойдя дом, вышел в сад. В шезлонге посреди лужайки с недостроенным бассейном загорала полная дама средних лет с болезненно-красными лоснящимися конечностями. Тот же самый, без сомнения, экземпляр «Силуэтов» и т. д. в бумажной обложке, заложенный торчащим из него письмом (которого Персону, мы считаем, лучше не замечать), лежал поверх закрытого купального костюма, который обтягивал основной объем дамы.

Мадам Шарль Шамар, née[82] Анастасия Петровна Потапова (имя вполне почтенное, хотя и искажавшееся ее покойным мужем до «Патапуфф»{107}), была дочерью преуспевающего скотопромышленника, который вскоре после большевистской революции эмигрировал со своей семьей из Рязани в Англию через Харбин и Цейлон. Она давно уже привыкла развлекать молодых людей, которых водила за нос капризная Арманда, но в новом красавце, одетом как коммивояжер, было что-то такое (твой гений, Персон!), что мадам Шамар раздражило и озадачило. Ей нравились люди, которые соответствовали. Юный швейцарец, с которым Арманда в тот момент каталась на лыжах по вечным снегам высоко над Виттом, соответствовал. Близнецы Блейки – то же самое. То же – рыжеволосый Жак, сын старого альпийского проводника, чемпион по бобслею. Но мой нескладный и угрюмый Хью Персон, со своим ужасным галстуком, вульгарно повязанным поверх дешевой белой рубашки, в этом невозможном каштановом костюме, не принадлежал к приемлемому ему миру. Когда ему было сказано, что Арманда развлекается где-то в другом месте и к чаю, может быть, не вернется, он даже не потрудился скрыть свое недовольство и удивление. Он стоял, почесывая щеку. Подкладка его тирольской шляпы потемнела от пота. Получила ли Арманда его письмо?

Ответ мадам Шамар был неопределенно-отрицательный – она могла получить сведения у красноречивой закладки, но из инстинктивной материнской осторожности воздержалась и, напротив, запихала книжку в садовую сумку. Хью заметил, что только что встретился с ее автором.

– Он, кажется, живет где-то в Швейцарии?

– Да, в Дьяблоннэ, около Версекса.

– Дьяблоннэ мне всегда напоминает русское слово «яблони». Хороший у него дом?

– Мы встречались не у него, а в гостинице в Версексе. Дом, говорят, очень большой и старомодный, там всегда полно гостей, и довольно веселого нрава, а нам нужно было поговорить о делах. Я, пожалуй, немного передохну и пойду.

Он отказался снять пиджак и присесть рядом с мадам Шамар, пояснив, что на солнце у него кружится голова. «Alors allons dans la maison»[83], – сказала она, точнехонько переводя с русского. Увидев, какие она прилагает усилия, чтобы встать, он вызвался ей помочь, но мадам Шамар велела ему отойти подальше и не создавать ей «психологических помех». Сдвинуть с места ее неуправляемые тела могла только одна маленькая хитрость: надо было забыть обо всем, кроме предстоящей попытки обмануть земное притяжение, тогда внутри у нее что-то щелкало и само собой совершалось чудо, подобное чуду чихания, – требуемый рывок поднимал ее с места. А пока что она неподвижно лежала в шезлонге, словно в засаде, и отважные капли пота блестели у нее на груди и над пурпурными дугами ее пастельных бровей.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Это совершенно не требуется, – сказал Хью, – я с удовольствием посижу здесь в тени, главное – это тень. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко.

Внезапно все тело мадам Шамар устремилось вверх с такой силой, что рама шезлонга издала почти человеческий крик. Еще миг – и она заняла сидячее положение, спустив ноги на землю.

– Вот и все, – сказала она уютным голосом и поднялась, обернутая, словно в магическом превращении, яркой махровой простыней. – Пойдемте я напою вас чем-нибудь холодненьким и покажу свои альбомы.

Что-то холодненькое оказалось теплой водой из-под крана в высоком граненом стакане; домашнее клубничное варенье расплылось в ней облаками розовой мути. Альбомы – четыре больших переплетенных тома – были выложены на очень низкий, очень круглый столик в очень *moderne*[84] гостиной.

– Я вас на несколько минут оставлю, – сказала мадам Шамар и при всем честном народе с поразительной проворностью взобралась по полностью просматриваемой и прослушиваемой лестнице на столь же открытый второй этаж, где сквозь одну распахнутую дверь виднелась кровать, а через другую – биде. Арманда любила говорить, что этот архитектурный шедевр ее покойного батюшки – одна из местных достопримечательностей, привлекающая туристов из дальних стран, в том числе из Родезии и Японии.

Альбомы отличались той же неприкровенностью, что и дом, хотя впечатление оставляли не столь тягостное. Цикл, посвященный Арманде, – единственное, что интересовало нашего *voyeur malgré lui*{108}[85], – открывался снимком, на котором покойный Потапов, седобородый старец на восьмом десятке, весьма щеголевато выглядящий в своем китайском халате, осеняет близоруким русским крестным знамением невидимого младенца в высокой колыбельке. Снимки отражали не только все периоды жизни Арманды, но и достижения любительской фотографии, а также разные стадии ее невинной наготы. Ее родители и тетки – неутомимые изготовители хорошеньких снимочков, – казалось, были уверены, что десятилетняя девочка, мечта любого лютвидгеанца{109}, имеет такое же право выступать совершенно обнаженной, как малое дитя. Чтобы истинный предмет своего интереса не был виден сверху, гость наш составил из альбомов пирамиду и несколько раз возвращался к фотографиям маленькой Арманды, сидящей в ванночке, прижав хоботоподобную резиновую игрушку к блестящему животу, или встающей во весь рост, чтобы ей намылили спину и задик с очаровательными ямочками. Еще один снимок представлял иное откровение допубертатной прелести: она сидела нагишом на траве (тонкая прямая черточка посередине едва отличима от чуть наклонившегося в сторону травяного стебля), расчесывая пронизанные солнцем волосы и широко расставив в ложной перспективе прелестные ножки великанши. Сверху из уборной донесся шум сливаемой воды, и он, виновато вздрогнув, захлопнул толстую книгу: его отзывчивое сердце с сожалением оторвалось от нее, забило тише, но никто не спустился с inferнальных высот, и он, урча, вернулся к глупым картинкам.

К концу второго альбома фотографии расцвели красками, словно приветствуя ее вступление в пору подростковых линек и смены оперения. Она стала появляться в цветастых платьях, модных брючках, теннисных шортах, купальниках, на фоне резкой зелени и голубизны коммерческого спектра. Обнаружилась очаровательная угловатость загорелых плечей и продолговатая линия бедер. Выяснилось, что в восемнадцать лет водопад ее светлых волос излился до пояса. Никакое брачное агентство не смогло бы предоставить своим клиентам такого количества вариаций на тему одной-единственной девственности. В третьем альбоме он с приятным чувством возвращения домой обнаружил признаки ближайшего окружения: лимонные с черным диванные подушки в другом конце комнаты и бабочка-птицекрылка в застекленной коробке над камином. Четвертый альбом, до конца не заполненный, заблестел самыми ее целомудренными образами. Арманда в розовой куртке, Арманда, сияющая как бриллиант, Арманда, вздымающая сахарную пыль на слаломном спуске.

Наконец с верхнего этажа прозрачного домика заковыляла по лестнице мадам Шамар. На ее голом локте, когда она ухватилась за перила, всколыхнулся жир. Теперь она была в изысканном летнем платье с оборками, будто пройдя, как и ее дочь, разные стадии метаморфоз.

– Посидите, посидите, – вскричала она, пошлепав рукой по воздуху, но Хью стал

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru уверять, что ему пора идти.

– Скажите ей, – добавил он, – скажите вашей дочери, когда она вернется со своего ледника, что я ужасно огорчен. Скажите ей, что я неделю, две недели, три недели пробуду в этом мрачном отеле «Аскот», в этой несчастной деревушке Витт. Скажите ей, что, если она не позвонит, я сам ей буду звонить. Скажите ей... – продолжал он, двигаясь по скользкой дорожке промеж кранов и бульдозеров, застывших в предвечернем золоте, – что мой организм ею отравлен, ею и двадцатью ее сестрами, двадцатью ее уменьшенными копиями из прошлого, и что, если она не будет моей, я погиб!

Он все еще был довольно наивен, как это бывает с влюбленными. Другой бы сказал толстой и вульгарной мадам Шамар: «Как вы смеете выставлять ваше дитя напоказ перед пришельцами с обостренными чувствами?» Но Персон наш неопределенно предположил, что это проявление современной свободы нравов, принятой в кругу мадам Шамар. Господи, в каком кругу? Как и мать Хью, мать нашей дамы была дочерью сельского ветеринара (единственное совпадение во всей этой довольно грустной истории, о котором стоит упомянуть). Спрячь снимки, глупая нудистка!

Она позвонила около полуночи, когда он пребывал в колодце тут же ускользнувшего, но определенно дурного сновидения (после молодой картошки, залитой расплавленным сыром и запитой бутылкой еще более юного вина в гостиничном *carnotzet*[86]). Хватая трубку, он стал другой рукой нащупывать очки для чтения, без которых, в силу некоей аберрации сопряженных чувств, не мог говорить по телефону.

– Это Ю Персон? – раздался ее голос.

Еще когда в поезде Арманда прочла вслух его визитную карточку, он понял, что она всегда будет произносить его имя как «Ю».

– Да, это я, то есть Ю, то есть вы совершенно прелестно коверкаете мое имя.

– Я никогда ничего не коверкаю. Знаете, я не получила...

– Нет, коверкаете! Вы опускаете начальный согласный, будто... будто жемчужину в чашку для подаяния.

– Надо говорить не в чашку, а в шапку. Я выиграла. Теперь слушайте. Завтра я занята, а как насчет пятницы – вы можете быть готовы à sept heures précises?[87]

Конечно может. Арманда пригласила «Перси», как она посулила впредь его называть, раз ему не нравится «Ю», кататься на лыжах в Драконите или, как ему послышалось, в какие-то Мрака Нити, и он тут же представил себе лесную чащу, которая служит романтическим путникам защитой от голубого сияния альпийского полудня. Он ответил, что слалому так и не научился, хотя был на каникулах в Шугарвуде, штат Вермонт, но с удовольствием будет сопровождать ее пешком, гуляя по тропе, не только услужливо нарисованной его воображением, но и чисто выметенной метлой снеговика, – одна из тех мгновенных безосновательных фантазий, которые могут порой одурочить и мудреца.

13

Теперь мы должны поймать в фокус главную улицу Витта на следующий день после ее звонка, в четверг. Она кишит просвечивающими прохожими и происшествиями – мы могли бы нырнуть в них и сквозь них с ангельским или авторским наслаждением, но для данного отчета ограничимся лишь единственной персоной нашего Персона. Не такой уж любитель прогулок, он пустился в недолгое, но утомительное празднество по поселку. По улице уныло струился, струился поток автомобилей; некоторые из них с тяжелой неуклюжестью неподатливых механизмов искали места для стоянки; другие направлялись на более модный курорт Тур, расположенный в двадцати километрах к северу, или, наоборот, возвращались оттуда. Он несколько раз прошел мимо старого фонтана, откуда вода струилась по выдолбленному в бревне желобу, обросшему с обеих сторон геранью. Он осмотрел почту и банк, церковь и туристическое бюро, а также знаменитую закопченную хижину, которой вместе с капустой на огороде и растопырившим руки пугалом разрешили доживать свои дни между пансионом и прачечной.

В двух разных кабачках он выпил пива. У витрины спортивного магазина он помедлил, снова помедлил и купил прелестный серый свитер с завернутым воротником

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru и вышитым на сердце маленьким, очень красивым американским флагом. «Сделано в Турции», – пролепетала этикетка.

Только он подумал, что надо еще подкрепиться, как увидел ее – она сидела за столиком в уличном кафе. «Ю» к ней кинулся, полагая, что она одна, потом заметил, но слишком поздно, еще одну сумочку на противоположном кресле. В ту же самую минуту из помещения вышла ее подруга и, садясь на свое место, произнесла прелестным нью-йоркским голоском с теми распутными нотками, которые он узнал бы и в раю:

– Какая-то сатира на сортир.

Тем временем Хью Персон, не в силах содрать с лица маску приветливой ухмылки, подошел к ним и был приглашен составить им компанию.

Дама за соседним столиком, забавным образом напоминая Персонову покойную тетку Мелиссу, которую мы все так любим, читала «Леральд Трибюн»{110}. Арманда высказала убеждение (в расхожем смысле слова), что Джулия Мур и Перси уже встречались. Джулия тоже в этом не сомневалась. Не сомневался – о да – и Хью. Позволят ли двойница тетушки взять свободный стул? Да, конечно. Добрейшая душа, она живет с пятью кошками в игрушечном домике в конце березовой аллеи, в тишайшей части...

Тут нас прерывает оглушительный грохот – невозмутимая официантка, женщина заслуженно бедная, уронила поднос с пирожками и лимонадом и, присев на корточки, с лицом по-прежнему невозмутимым, рассыпалась на тысячу быстрых, мелких, характерных для нее движений.

Арманда сообщила Перси, что Джулия специально приехала к ней из Женевы, чтобы перевести несколько фраз, с помощью которых она хочет «произвести впечатление» на своих русских друзей, к которым завтра летит в Москву. А Перси приехал сюда работать с ее отчимом.

– Слава Богу, бывшим отчимом, – сказала Джулия. – Кстати, Перси, если это теперь твой *de voyage*[88], ты тоже можешь мне помочь. Арманда уже объяснила, что мне надо пленить кое-кого в Москве – людей, которые обещали познакомить меня с одним молодым и знаменитым русским поэтом. Арманда меня снабдила разными чудными словечками, но мы застряли на (доставая из сумки клочок бумаги), – я хочу знать, как сказать: «Какая хорошенькая церквушка» и «Сколько снега». Понимаешь, мы сперва переводим на французский, и она считает, что это будет *rafale de neige*[89], но не может же быть по-французски *rafale*, а по-русски «рафалович»{111}, или как там они говорят.

– Это будет *congère*, – сказал наш Персон, – слово женского рода, так говорила моя мать.

– Значит, по-русски «сугроб», – сказала Арманда, сухо добавив: – Только в августе там не очень-то много снега.

Джулия засмеялась. Джулия выглядела здоровой и счастливой. Джулия была даже красивее, чем два года назад. Станет ли она теперь мне снится – с этим новым рисунком бровей, с длинными волосами? Как быстро сны поспевают за модами? Приснится ли она мне в следующий раз все еще с прической японской куклы?

– Можно, я вам что-нибудь закажу? – сказала Арманда, обращаясь к Перси, но без пригласительного жеста, какими обычно сопровождаются подобные фразы.

Перси выпил бы, пожалуй, чашку горячего шоколада. Сладко и страшно – снова встретить на людях предмет прежней огненной страсти! Арманде, конечно, нечего опасаться. Совсем другой класс, вне конкуренции. Хью пришла на память известная новелла R. – «Прошедшее, настоящее и будущее».

– Послушай, Арманда, мы ведь, кажется, еще не все перевели?

– Мы и так уже два часа на это потратили, – сказала Арманда довольно сердито, не понимая, наверное, что ей нечего опасаться. Сладость была совсем другого – скорее интеллектуального или художественного свойства, в точности как в новелле у R.: шикарный господин в темно-синем клубном пиджаке ужинает на освещенной

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
веранде с тремя декольтированными красавицами – Алисой, Беатой и Виолой, которые до этого никогда не встречались: А. – бывшая любовь, Б. – теперешняя его любовница, В. – будущая жена.

Он пожалел, что по примеру Арманدى и Джулии не заказал себе кофе. Шоколад нельзя было взять в рот. Ему принесли просто чашку горячего молока. Отдельно подавался какой-то элегантнй пакетик и немного сахара. Верхний краешек пакетика надо было надорвать, а бежевую пыль из него вытряхнуть в безжалостно пастеризованное молоко. Отпиваешь молока – и добавляй скорее сахар. Но никакой сахар не отобьет этого скверного, пресного, поганого вкуса.

Арманда, наблюдавшая все стадии его изумления и разочарования, улыбнулась и сказала: «Будете знать, во что швейцарцы превратили горячий шоколад. Моя мать, – продолжала она, повернувшись к Джулии (которая, хоть и гордилась своей сдержанностью, тут с красноречивым *sans-gêne*[90] Прошедшего залезла своей ложечкой в чашку Хью, чтобы снять пробу), – мать моя однажды даже заплакала, когда ей подали эту бурду, – с такой нежностью она вспоминает шоколад своего шоколадного детства.

– Довольно противно, – согласилась Джулия, облизывая бледные пухлые губы, – но все-таки лучше нашего американского пойла.

– Потому что ты самая скверная патриотка на свете, – сказала Арманда.

Очарование Прошедшего состояло в сохранении тайны. Зная Джулию, он был уверен, что та никогда не расскажет про их роман – одну каплю из множества глотков – случайной подруге. В тот остро-бесценный миг они с Джулией (*alias*[91] рассказчик с Алисой) заключили соглашение касательно прошлого, негласный пакт против реальности, как она представлена говорливым углом улицы, шелестящими автомобилями, деревьями, прохожими. Место Б. занимал в этом трио Безумный Витт, а место главной незнакомки – и в этом была особая прелесть – Арманда, будущая его возлюбленная, которая так же мало знала о будущем (автору, конечно, известном во всех деталях), как и о прошлом, чей вкус Хью снова распробовал вместе с пыльно-коричневым молоком. Персон, сентиментальный простак и персонаж отнюдь не идеальный (идеальные были бы выше этого, а он – всего лишь добрая душа), пожалел, что сцена не сопровождается музыкой, что румынский скрипач не берedit смычком два переплетенных единой монограммой сердца. В этом кафе не было даже громкопроигрывателя, который мог бы механически воспроизвести вальсик «Очарование»{112}. Некий поддерживающий ритм создавали, однако, голоса прохожих, звон посуды, шелест горного ветра во внушительной купе каштана на углу улицы.

Наконец они собрались уходить. Арманда напомнила ему про завтрашний поход. Джулия попрощалась с ним за руку и попросила молиться за нее, когда она будет шептать по-русски этому очень страстному, очень выдающемуся поэту «*je t'aime*», что в английской передаче звучит как «*yellow blue tibia*»[92] (фраза для полоскания горла). Они разошлись. Хью вдруг остановился и, чертыхнувшись, повернул обратно за забытым пакетом.

14

Пятница. Утро. Глоток кока-колы. Отрыжка. Бритье на скорую руку. Он надел свое обычное платье, дополнив его для фасона свитером с завернутым воротником. Последнее собеседование с зеркалом. Из красной ноздри он извлек черный волосок.

Первое разочарование ожидало его с седьмым ударом часов на месте встречи (площадь перед почтой), куда она явилась в сопровождении трех юных атлетов, Джека, Джейка и Жака, чьи медные ухмыляющиеся лица он заметил на одном из ее последних снимков в четвертом альбоме. Заметив, как недовольно задвигался его кадык, Арманда беспечно проворковала, что ему, может, и не стоит с ними ходить, потому что «мы хотим подняться до единственного работающего летом подъемника, а залезть туда без привычки не так-то просто». Белозубый Жак, полуобняв дерзкую девицу, доверительно посоветовал *monsieur*[93] переобуться в более крепкие ботинки, на что Хью отвечал, что американцы ходят по горам в любых старых башмаках и даже в теннисных туфлях.

– Мы решили, – сказала Арманда, – вас тоже поставить на лыжи. Все наше снаряжение хранится у хозяина подъемника, он наверняка что-нибудь для вас подыщет. Каких-нибудь пять уроков – и вы будете закладывать виражи. Еще, я думаю, вам нужна куртка. Тут, внизу, на двух тысячах футов лето, а на девяти

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
будет полярная стужа.

- Крошка права, – сказал Жак с притворным восхищением, похлопывая ее по плечу.
- Сорок минут ходу, – добавил один из близнецов. – Хорошая разминка.

Скоро выяснилось, что Хью не в состоянии за ними угнаться, как и вообще достичь четырехтысячной отметки с северной стороны над Виттом, откуда начиналась канатная дорога. Обещанная «прогулка» оказалась чудовищным мученьем – хуже всего, что он испытал во время школьных походов в Вермонте или Нью-Гемпшире. Путь состоял из очень крутых подъемов, очень скользких спусков и опять гигантских подъемов по склону очередной горы. Тропа была усеяна камнями, корнями и рытвинами. Бедный потный Хью, как он пытался в затылок Арманды (пучок русских волос), которая сама легко попевала за легконогим Жаком. Близнецы-англичане составляли арьергард. Если бы они так не спешили, Хью, вероятно, совершил бы это несложное восхождение, но его бессердечные и беззаботные спутники ускоряли шаг, ничуть не щадя его, взлетая на кручи, и с шиком съезжали по спускам, с которыми Хью препирался, умоляюще простирая к ним руки. От предложенной ему палки он отказался, но в конце концов после двадцати минут пытки запросил короткой передышки. К пущему его посрамлению, когда он, низко наклонив голову со свисающей с кончика носа капелькой пота, уселся на камне, осталась с ним вовсе не Арманда, а Джек и Джейк. Близнецы были неразговорчивы и, подбоченясь, лишь обменивались молчаливыми взглядами, стоя чуть поодаль на тропинке. Чувствуя, что благорасположение их иссякает, он стал уговаривать их идти вперед, пообещав немного погодя двинуться следом. Они ушли, он подождал-подождал немного и заковылял обратно в деревню. Когда тропа ненадолго вышла из леса, он снова устроился отдохнуть на краю обрыва, откуда одинокая скамейка, даром что безглазая, жадно взирала на чудесный вид. Сидя на ней и покуривая, он вдруг заметил высоко наверху всю компанию – синяя, серая, розовая и красная куртки махали ему со скалы. Он помахал им в ответ и продолжил свое невеселое отступление.

Но Хью Персон не сдался. Обутый в настоящие сапоги, с альпенштоком в руках и жевательной резинкой во рту, он снова пошел с ними на следующее утро. Он поставил условием, что сам себе выберет темп и что они нигде не будут его ждать, и дошел бы до канатной дороги, если бы не сбился с пути и не попал в конце концов на заросшую колючим кустарником лесосеку, где дорога обрывалась. Предпринятая через день-другой еще одна попытка оказалась более успешной. Он почти дошел до альпийских лугов, но тут переменялась погода, все окутал сырой туман, и он два часа одиноко стучал зубами в вонючем коровнике, выжидая, пока из клубящихся паров снова покажется солнце.

В другой раз он вызвался нести новую пару лыж, только что ею купленную, – странные рептильно-зеленого цвета полоски из металла и фибергласа. Их сложные крепления явно приходились ближайшей родней тем ортопедическим средствам, с помощью которых передвигаются калеки. Когда ему было позволено взвалить эти драгоценные лыжи на плечо, они показались ему волшебными легкими, но скоро отяжелели, как малахитовые глыбы, и он их волок следом за Армандой, шатаясь словно клоун, помогающий менять реквизит на цирковой арене. Груз у него был выхвачен, как только он присел отдохнуть, а взамен ему предложили бумажный пакетик (четыре небольших апельсина), который он оттолкнул не глядя.

Персон наш был упрям, а кроме того, безумно влюблен. Стихия волшебной сказки, казалось, окропила розовой водичкой средневековья его усилия взять приступом бастионы ее Дракона. На следующей неделе он в крепость проник и стал меньшей для нее доукой.

15

Потягивая ром на залитой солнцем террасе Café du Glacier[94], чуть ниже приюта Дракониты, слегка опьяненный алкоголем, замешанным на горном воздухе, Хью весьма самодовольно поглядывал на лыжное поле (чудное зрелище после всех этих ручьев и спутавшихся трав), впитывая блеск горнолыжных трасс, синеву следов «елочкой» на снегу, многоцветье фигурок, словно случайным мазком намеченных на слепящей белизне рукой фламандского мастера. Он подумал, что этот вид можно бы прекрасно использовать для суперобложки «Пленника креплений» – автобиографии знаменитого лыжника, рукопись которой (тщательно исправленную и дополненную множеством издательских рук) он недавно готовил к печати, ставя вопросительные знаки, как он сейчас вспомнил, против таких терминов, как «godilles» или «wedeln»[95]

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru (rom?{113}). Забавно за третьей рюмкой глядеть на всех этих нарисованных человечков, спующих туда-сюда, теряющих кто лыжу, кто палку или победно завершающих вираж в брызгах серебряной пыли. Хью Персон, перейдя теперь на вишневую водку, стал думать, хватит ли ему сил заставить себя последовать ее совету («такой большой, славный, спортивный янки – и не умеет кататься на лыжах!») и превратиться в одну из тех фигурок, что, лихо согнувшись, летят с горы, или он навечно обречен вновь и вновь принимать беспомощную позу неуклюжего новичка, который, рухнув в снег, долго лежит на спине, напрасно изображая безмятежного ленивца. Растерянным и влажным оком он никак не мог найти в толпе лыжников силуэт Арманды. Однажды он был уже уверен, что ее отыскал – она парила и мелькала в своей красной куртке, с непокрытой головой, очаровательная до безумия, – вон, вон она, а теперь тут – подскакивает на трамплине, стремительно приближается, исчезает на мгновение за бугром – и вдруг превращается в пучеглазую незнакомку.

В этот самый миг, шурша блестящим зеленым нейлоном, она появилась с другой стороны террасы. Она несла в руках лыжи, но еще не сняла своих замечательных ботинок. Он потратил достаточно времени на изучение швейцарской лыжной экипировки в витринах магазинов, чтобы знать, что кожу заменили пластики, а шнурки – твердые застежки.

– Первая девушка на Луне, – сказал он, указывая на ее ботинки. Если бы они так плотно не сидели на ногах, она пошевелила бы внутри пальцами, как обычно делают женщины, когда кто-нибудь хвалит их обувь (улыбающиеся пальчики вместо гримаски губ).

– Послушай, – сказала она, разглядывая свои «Мондштейновские сексоходы»{114} (их невероятное название), – я лыжи оставлю здесь, переобуюсь, и мы с тобой спустимся à deux[96]. Я поссорилась с Жаком, и он ушел со своими дорогими друзьями. Слава Богу, все кончено.

Сидя напротив него в небесной кабине подвесной дороги, она удовольствовалась сравнительно учтливой версией того, что позже поведала ему во всей красочности мерзких деталей. Жак требовал, чтобы она присутствовала на мастурбационных сеансах, которые он проводил с близнецами Блейк у них на даче. Раз он уже заставил Джейка показать ей свою снасть, но она, топнув ножкой, призвала их к порядку. Теперь Жак поставил ей ультиматум: или она будет участвовать в их гадких играх, или он отказывается с ней спать. Она готова быть сколь угодно современной и в социальном смысле, и в сексуальном, но это, по ее мнению, грубо, оскорбительно и старо, как Древняя Греция.

Кабина так и парила бы в голубом сиянии не хуже райского, если бы могучий слугитель не поймал ее прежде, чем она повернула обратно в вечность. Они вышли. Под навесом, где машина творила свою скромную нескончаемую работу, царил весна. Чопорно извинившись, Арманда на минуту исчезла. На заросшем одуванчиками лугу паслись коровы, из близлежащей buvette[97] раздавалась радиомузыка.

В застенчивом трепете молодой любви Хью мучился мыслью, можно ли будет ее поцеловать, если они останутся отдохнуть на каком-нибудь извиве тропинки. Да, он попробует, как только они достигнут пояса рододендронов, где, вероятно, сделают привал – она, чтобы снять куртку, он, чтобы вынуть камушек из правого ботинка. Рододендроны и можжевельник давно сменились ольховником, и знакомый голос отчаяния стал внушать Персону, что камушек и мотыльковый поцелуй лучше отложить до другого раза. Когда они дошли до ельника, она остановилась, осмотрелась по сторонам и сказала столь же обиденным тоном, как если бы предлагала собирать грибы или ягоды: «А теперь кое-кто займется любовью. Вон за теми деревьями есть симпатичная полянка со мхом – никто не помешает, если не будешь тянуть».

Нужное место было отмечено апельсиновой кожурой. В порядке подготовки, какой требовала его нервическая плоть (просьба «не тянуть» была ошибкой), он попробовал ее обнять, но она рыбьим движением вывернулась и уселась на кустики черники, стаскивая с себя башмаки и брюки. Вдобавок ко всему его неприятно поразила рифленая фактура ее черных рейтуз грубой вязки, которые она носила под лыжными брюками. Спустить их она согласилась только до необходимого уровня. Ни целовать себя, ни даже поласкать ей бедра она не позволила.

– Ну, значит, не везет, – в конце концов сказала она, но стоило ей,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru приподнявшись и натягивая рейтузы, ненароком к нему прижаться, как он моментально обрел силы и исполнил все, что от него требовалось.

– Ну а теперь домой, – обронила она обычным голосом сразу, как только дело было сделано, и они в молчании стали быстро спускаться дальше.

За следующим поворотом тропинки внизу показались первые сады Витта, а еще ниже можно было разглядеть сверкающий ручеек, лесной склад, скошенные поля, коричневые домики.

– Ненавижу Витт, – сказал Хью. – Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. Ненавижу эту старую мерзкую скамейку.

Она остановилась, чтобы взглянуть, куда указывает его гневный палец, и он ее обнял. Сперва она попробовала уклониться от его губ, но он отчаянно настаивал. Внезапно она уступила, и тут произошло маленькое чудо. Дрожь нежности подернула рябью ее черты, словно ветерок – отражение в воде. На ресницах ее блеснули слезы, плечи дрожали в его объятьях. Этому мигу нежной муки больше не суждено было вернуться – вернее, ему не дано будет времени, чтобы повториться по завершении цикла, заданного его собственным ритмом; и все же это короткое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишневыми деревьями, прощенным пейзажем, задало ноту для его нового существования, подразумевающую, что как бы «все в порядке», несмотря на ее припадки дурного настроения, глупейшие капризы, грубейшие требования. Именно этот поцелуй, а не то, что ему предшествовало, и был истинным началом их романа.

Она высвободилась, не произнося ни слова. Долгая вереница детей, замыкаемая наставником, поднималась им навстречу по крутой тропинке. Один из школьников вскарабкался на круглый валун и спрыгнул вниз с радостным визгом. «Grüss Gott»[98], – сказал учитель, проходя мимо Арманды и Хью. «Привет, если не шутите», – отозвался Хью.

– Он, наверное, решил, что ты ненормальный, – сказала она.

Миновав рожицу на берегу и перейдя через мост, они дошли до задов Витта, откуда, срезав напрямик по перекопанному и грязному склону между недостроенными дачами, добрались до виллы «Настя». На кухне Анастасия Петровна ставила цветы в вазу.

– Мама, иди сюда, – закричала Арманда по-русски, – жениха привела!

16

В Витте был новый теннисный корт. Однажды Арманда вызвала Хью на бой.

Сон, со времен детства с его ночными страхами, всегда был проблемой для нашего Персона. Проблемой двойкой. Иногда ему приходилось часами угождать черному автомату с помощью автоматического повторения какого-нибудь подвижного образа. Это была одна беда. Но еще большее мученье доставляло ему то полубезумное состояние, в которое он погружался, когда наконец засыпал. Он не мог поверить, что не для него одного ночь сотрясается от непристойных и нелепых кошмаров, оставляющих за собой еще и дневную тень. Ни случайные дурные сны, рассказывавшиеся время от времени его друзьями, ни весь ранжир фрейдистских сонников с их веселенькими разъяснениями – ничто не могло сравниться с усложненной злостью его почти еженощных опытов.

Первую проблему он еще в отрочестве пытался разрешить с помощью хитроумного метода, который действовал лучше всяких таблеток (слишком слабые давали недолгий сон, чересчур сильные выпускали на волю рой чудовищных видений). Метод, на который он набрел, заключался в мысленном воспроизведении, с точностью метронома, теннисной партии. Теннис был единственной игрой, доступной ему и в юности, и в сорок лет. Играл он не просто сносно, а с какой-то даже раскованной изысканностью (которую много лет назад перенял от своего кузена – лихого малого, тренера школы в Новой Англии, директором которой был его отец) и к тому же изобрел удар, какого ни Гай, ни зять Гая, еще лучший профессионал, не могли ни повторить, ни принять. В нем было нечто от искусства для искусства, – таким ударом нельзя отбить мяч после неуклюжего низкого отскока, он требует идеально уравновешенной стойки (труднодостижимой на бегу) и сам по себе победы не обеспечивает. Удар Персона делается напряженной и твердой рукой, сочетая силу драйва с вязкой подрезкой, так что мяч словно льнет к ракетке, пока не отрывается

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru от нее. Соприкосновение происходит у верхнего края ракетных жил, причем игрок должен далеко отстоять от летящего мяча и как бы к нему тянуться. Отскок – достаточно высокий, чтобы верхняя часть ракетки не подкручивала мяч, а плотно к нему «приклеивалась», направляя его по четкой траектории. Если мяч недостаточно плотно прилипает к жилам или попадает на середину овала, то получается самая обычная смазанная, медленная «свеча», которую легко отбить. Но если удар произведен правильно, он отзывается сухим хрустом в предплечье и мяч точнехонько отлетает на предуготовленную для него точку у задней линии, «приликая» к земле точно так же, как к жилам ракетки при самом ударе. Сохраняя заданную ему скорость, мяч едва отрывался от площадки, и Персон думал, что путем огромной, бесконечной тренировки его можно заставить вовсе не отскакивать, а катиться с молниеносной скоростью по поверхности корта. Отбить же неотскочивший мяч еще никому не удавалось, и такие удары пришлось бы в скором времени запретить как нарушение спортивных приличий и правил. Но даже в грубом исполнении самого изобретателя удар бывал иногда восхитителен.

Принимая удар Персона, противник обычно мазал самым смехотворным образом, потому что низкий мяч невероятно трудно даже не послать в цель, а просто отбить. Гай с гаером-зятем всегда удивлялись и досадовали, когда Хью удавался его «клеякий» удар, что, к сожалению, случалось нечасто. Он мстил тем, что не говорил озадаченным профессионалам, пытавшимся воспроизвести этот прием (добываясь лишь слабого подобия), что весь фокус не в резкости, а в вязкости удара, и даже и не в самой вязкости, а в точном соединении мяча с ракеткой у верхнего края ее жил, а также в твердом движении руки. Хью годами мысленно пестовал этот удар еще долгое время после того, как шансы его использовать свелись к двум-трем попыткам в какой-нибудь жалкой схватке (на самом деле в последний раз он удался ему в Витте – в игре с Армандой, после чего та убежала с корта, и обратно ее было не дозваться). Чаще всего он прибегал к нему как к снотворному. На этих ночных тренировках перед погружением в сон он чрезвычайно усовершенствовал свой удар, например сократил время на подготовку к нему (принимая сильную подачу), а также научился его зеркальному воспроизведению (при ударе слева – вместо того чтобы бегать как дурак за мячом). Стоило ему поудобнее пристроить щеку на мягкой прохладной подушке, как по руке пробегала знакомая дрожь уверенности, и он уже без остановки играл одну партию за другой. В запасе имелись и дополнительные изюминки вроде ответа на вопрос сонного репортера: «Подрезай, но не закручивай» – или наполненного сонным маком Кубка Дэвиса, который он, победитель, принимал в блаженном тумане.

Почему он перестал пользоваться этим средством от бессонницы, женившись на Арманде? Ведь не потому, что она раскритиковала любимый его удар как оскорбительный и совершенно неинтересный? Неужели интимные чары странного снотворного разрушила новизна разделенной постели или, может быть, соседство гудящего под боком чужого мозга? Возможно. По крайней мере, он перестал и пытаться, убедив себя, что одна-две полностью бессонные ночи в неделю – для него безобидная норма, а в другие усыплял себя, прокручивая в голове события дня (тоже по-своему автомат), заботы и *misères*[99] обыденной жизни, изредка расцвеченные павлиньей радугой – тем, что тюремные психоаналитики называли сексом.

Говорил ли он, что вдобавок к бессоннице страдает синдромом снобоязни?

Было чего бояться. По части повторяемости кошмарных сюжетов он мог бы состязаться с самыми выдающимися душевнобольными. Иногда ему удавалось вчерне восстановить сюжет с вариантами, которые, сменяя один другой в пространственно организованной последовательности и различаясь лишь незначительными деталями, расцвечивали фабулу, вводили еще какую-нибудь новую отвратительную ситуацию, но всякий раз воспроизводили одну и ту же, вне их не существующую историю. Выслушаем омерзительнейшую ее часть. Один эротический сон с идиотской настойчивостью повторялся в течение нескольких лет и до и после смерти Арманды. В этом сне, отвергнутом психоаналитиком (странный тип, сын цыганки и неизвестного солдата) как слишком прямолинейный, ему предлагалась спящая красавица на украшенном цветами блюде, с набором разложенных на подушечке инструментов в придачу. Последние различались длиной и шириной, хотя число их и ассортимент менялись от раза к разу. Тщательно в ряд бывали уложены: резиновое орудие с лиловой головкой длиной в ярд, толстый короткий блестящий лом, потом что-то похожее на длинный вертел с нанизанными на него кусочками сырого мяса, чередующегося с прозрачным жиром, и тому подобное – примеры, выбранные наугад. Отдавать чему-либо предпочтение – кораллу, бронзе или этой ужасной резине – не

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru было никакого смысла, ибо какой бы он ни выбрал инструмент, тот начинал изменять размер и форму и никак не подходил к его собственному анатомическому устройству – в критический момент он обламывался или распадался на две половины между ног или, скорее, между костей более или менее расчлененной дамы. Со всей силой антифрейдистской убежденности он хотел бы подчеркнуть: ни с чем, испытанным в сознательной жизни, эта пытка сновидением не имела ничего общего ни в прямом, ни в «символическом» смысле. Эротическая тема была просто одной из многих, подобно тому как «Мальчик для забавы» – не более чем случайный каприз по отношению ко всему написанному серьезным, даже слишком серьезным писателем, высмеянным в одном недавнем романе.

Во время других, не менее зловещих ночных испытаний он пытался каким-то образом остановить или направить в другую сторону струйку зерна или мелкого гравия, вытекающего через прореху в прострастве, но ему страшно мешали всевозможные паутинообразные, нитевидные, игольчатые частицы, хаотические бугры и пустоты, ощетилившиеся развалины, раскалывающиеся колоссы. И в конце концов он оказывался погребенным под горами мусора, и это была смерть. Менее страшными, но, вероятно, более опасными для мозга были кошмары с «обвалами», посещавшие его обыкновенно на грани пробуждения, когда образы их оборачиваются словесным паводком в долинах Одея и Яла, чьи округленные серые кручи, Roches étonnées[100], потому заслужили такое название, что из-за темных выпучиваний (écarquillages[101]) кажутся как бы оскаленными и озадаченными. Сновидец – идиот, не лишенный животной хитрости: неисправимый изъян его сознания сродни спотычке в скороговорке: «Риск – скорби укор».

Ему было сказано: «Напрасно вы не обратились к вашему психоаналитику сразу, как только кошмары стали усиливаться». Он ответил, что у него во владении нет такового. Доктор терпеливо разъяснил, что употребил местоимение не в притяжательном смысле, а как бы по-домашнему, – например, в объявлениях пишут: «Обращайтесь к вашему бакалейщику». А что Арманда, она когда-нибудь советовалась с психоаналитиком? Если речь идет о миссис Персон, а не о кошке или о ребенке, то ответ будет «нет». В юности она, кажется, интересовалась необуддизмом и подобного рода вещами. В Америке новые друзья пытались заставить ее пройти курс, как вы говорите, «анализа», – она отвечала, что, может быть, попробует, когда закончит свои восточные студии.

Ему было указано, что ее называли по имени лишь с целью создания интимной атмосферы. Всегда так делается. Не далее как вчера, например, удалось заручиться полным доверием одного узника, которому было сказано: «Расскажи лучше дяде свои сны, а не то сгоришь как миленький». Нужно еще, между прочим, довыяснить, проявлялось ли у Хью, или, вернее, у мистера Персона, в сновидениях агрессивное влечение. Нужно, между прочим, сначала выяснить значение самого термина. Скульптор может сублимировать агрессивное влечение, круша молотком и долотом неодушевленный предмет. Особенно благоприятную возможность освободиться от агрессивного влечения предоставляет хирургия. Один уважаемый, хотя и не всегда удачливый хирург раз в частной беседе признался, как трудно сдержаться во время операции, чтобы не начать кромсать все, что подвернется под руку. У каждого с детства подспудно накапливается какое-то напряжение. Не надо этого стыдиться. Появление похоти при половом созревании – не что иное, как вытеснение влечения к убийству, обычно удовлетворяемого во сне, а бессонница – это просто боязнь узнать о своей бессознательной жажде секса и крови. Около восьмидесяти процентов сновидений взрослых мужчин – эротические. Смотри работы Клариссы Дарк, в одиночку обследовавшей около двухсот здоровых заключенных. Число ночей, проведенных в спальном корпусе Центра, им, разумеется, зачли. И что же? У ста семидесяти восьми наблюдались мощные эрекции во время фазы сна, именуемой БДЯГ{115} («быстрые движения глаз»), которая сопровождается сновидениями, вызывающими похотливое вращение зрачка (нечто вроде внутреннего поедания глазами). Между прочим, с каких пор мистер Персон стал ненавидеть миссис Персон? Нет ответа. Может быть, ненависть входила в их отношения с самого начала? Нет ответа. Он ей когда-нибудь дарил свитер с завернутым воротником? Нет ответа. Не был ли он раздражен, когда она сказала, что воротник жмет ей горло?

– Если вы сейчас же не перестанете лезть ко мне со всей этой мерзкой чушью, – сказал Хью, – меня стошнит.

17

Поговорим о любви.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Какие действенные слова, какие стрелы хранятся там, в горах, в подобающем месте, в особые тайниках гранитного сердца, за стальными стенами, замаскированными под окружающие пятнистые скалы! Но когда в недолгие дни ухаживания и женитьбы дело доходило до объяснений в любви, Хью Персон не знал, где найти слова, трогательные и убедительные, от которых на ее суровых темных глазах заблестят яркие слезы. И напротив, на какое-то слово, оброненное без претензий на пронзительность и поэзию, на какую-нибудь самую расхожую фразу эта сухая, глубоко несчастная женщина вдруг отзывалась истерией счастья. Сознательные попытки проваливались. Если иногда случалось, что в момент уныния он, оторвавшись от книги, без всяких эротических намерений шел в ее комнату и, упираясь в пол коленями и локтями, начинал к ней ползти, словно спустившийся с дерева и впавший в исступление представитель неизвестного науке вида ленинцев, то Арманда холодно приказывала ему встать и перестать валять дурака. Самые пылкие обращения, какие он мог придумать, – моя принцесса, моя любимая, мой ангел, моя антилопа, мой резвый зверек, – лишь бесили ее.

– Почему, – вопрошала она, – ты не можешь говорить со мной по-человечески, как воспитанный мужчина с дамой? Почему ты должен всегда паясничать? Почему ты не можешь говорить всерьез – нормально и просто?

– Но что может быть ненормальнее любви, – отвечал он, – нормальная жизнь – это бред, нормальные люди над любовью смеются. – Он пытался поцеловать подол ее юбки, укубить складку на брюках, поднять палец ее разъяренной ноги, но чем сильнее он пресмыкался, бормоча своим немзыкальным голосом как бы самому себе на ухо слюнявые, редчайшие, экзотические, обычные слова, обозначающие все и ничего, – тем больше простое объяснение в любви превращалось в пародию на брачные танцы птиц, исполняемые одним петушком без всякой курочки на горизонте, – длинная шея выпрямляется, потом сгибается, словно ныряет вниз, снова прямая шея. Он стыдился самого себя, но не мог остановиться, а она не могла этого понять, ибо он в таких случаях никогда не умел найти верных слов, принести в клюве нужную травинку.

Он любил ее, несмотря на ее полную непригодность быть любимой. У Арманды было много тяжелых, хотя и не столь уж редких черт характера, которые он воспринимал как безумные ключи к хитроумному ребусу. Она кричала на свою мать по-русски: скотина, – не зная, конечно, что после отъезда с Хью за океан, за смертью, больше никогда ее не увидит. Она любила устраивать тщательно продуманные вечера, и, каков бы ни был срок давности той или иной изящной ассамблеи (десять, пятнадцать месяцев назад или еще раньше, до свадьбы, в доме матери в Брюсселе или в Витте), каждая вечеринка, каждая тема, с ней связанная, навсегда сохранялась в звенящем морозе ее чисто прибранного сознания. Приемы эти мерцали в ее памяти, как звезды на занавесе пульсирующего прошлого, а гости представлялись ей дальними форпостами на границах ее собственной личности, уязвимыми и плохо защищенными, и потому к ним надлежало относиться с ностальгическим уважением. Если Джулия или Юния между прочим замечали, что не знакомы с Ш., художественным критиком (шурином покойного Шарля Шамара), хотя и Джулия и Юния, как значилось в ее анналах, встречались с ним у нее на вечеринке, она могла очень разозлиться и, презрительно растягивая слова, изобличала ошибку, потом, изгибаясь, словно танцевала танец живота, добавляла: «Тогда вы, наверное, забыли и птифуры от „Отца Игоря“<sup>[116]</sup> (какой-то особый магазин), которые вам так понравились». Хью впервые в жизни имел дело с таким ужасным характером, с таким болезненным amour-propre<sup>[102]</sup>, с такой на себе замкнутостью. Джулия, катавшаяся с ней на лыжах и коньках, говорила, что она «душка», но большинство женщин относились к ней скептически и, болтая по телефону, посмеивались над ее довольно жалкими приемами нападения и защиты. Если кто-нибудь начинал говорить: «За два-три дня до того, как я сломала ногу...» – она врвалась в разговор с торжествующим «а я в детстве сломала обе ноги!». По каким-то таинственным причинам к мужу она на людях обращалась ироническим и вообще весьма неприятным тоном.

У нее были странные причуды. В последнюю ночь их медового месяца в Стрезе (издательство настаивало на его возвращении) она вдруг решила, что именно последние ночи в гостиницах без пожарных лестниц статистически наиболее опасны, а их гостиница, массивная и старомодная, действительно представлялась весьма горючей. Телевизионные продюсеры почему-то считают, что ничего нет более фотогеничного и впечатляющего публику, чем добрый пожар. Насмотревшись новостей по итальянскому телевидению, Арманда не то притворилась (она любила казаться интересной), не то действительно была взволнована одним таким бедствием,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru показанным на местном экране, – маленькие язычки, как слаломные флажки, большие – как нежданные дьяволы, пересекающимися дугами хлещет вода, как из сотни барочных фонтанов, бесстрашные пожарные в блестящих прорезиненных комбинезонах отдают бессмысленные команды в этой фантазмагории дыма и разрушения. В ту ночь в Стрезе она потребовала, чтобы они прорепетировали (он – в спальных трусах, она в пижаме «чудо-дзюдо») акробатическое бегство сквозь бурю и мрак, спустившись по аляповатому фасаду гостиницы с пятого этажа на третий, а оттуда – на крышу галереи, окруженную качающимися, протестующими деревьями. Тщетно Хью пытался ее урезонить. Наша буйная скалолазка уверяла его, что все это можно проделать, используя для опоры различные гипсовые украшения, щедро разбросанные выступы и маленькие обрешеченные балкончики, будто специально приготовленные для безопасного спуска. Она приказала Хью следовать за ней и светить сверху электрическим фонариком; предполагалось также, что он не будет от нее отдаляться, чтобы при необходимости поддержать ее на весу, если ей надо будет вытянуться во весь рост и наступать босой ногой следующую ступеньку.

Хью, обладая сильными передними конечностями, был, однако, на редкость неприспособленным человекообразным. Он совершенно испортил все дело. Он застрял на карнизе прямо под их балконом. Свет от его фонарика беспорядочно порхал по небольшому участку фасада, потом фонарик выпал у него из рук. Со своего насеста он взывал к ней, умоляя вернуться. Под его ногой вдруг неожиданно распахнулся ставень. Хью удалось залезть обратно на свой балкон, откуда он продолжал выкликать ее имя, хотя теперь-то уж был абсолютно убежден, что она погибла, а Арманда тем временем пребывала в одной из комнат четвертого этажа, где в конце концов и нашел ее Хью, – закутанная в одеяло, она мирно покуривала, разлегшись на постели неизвестного мужчины, а тот читал журнал, сидя в кресле возле кровати.

Ее сексуальные странности приводили Хью в отчаянье. За время путешествия он с ними успел познакомиться – а когда капризная новобрачная обосновалась в его нью-йоркской квартире, ее прихоти стали частью домашнего обихода. Арманда постановила заниматься любовью всегда в одно и то же время, перед вечерним чаем, в гостиной, словно на воображаемой сцене, сопровождая процесс непрекращающейся болтовней, причем оба партнера должны быть приодеты – он в своем лучшем костюме, при галстуке в горошек, она – в элегантном глухом черном платье. Как уступка природе разрешалось приспускать нижнее белье, но самым незаметным образом, не прерывая беседы ни малейшей паузой. Нетерпение объявлялось непристойным, какое-либо обнажение – чудовищным. Приготовления, без которых бедняге Хью никак было не обойтись, следовало скрывать с помощью газеты или книги, взятой с журнального столика, и горе ему, если во время самого действия он морщился или совершал какой-нибудь промах; но еще неприятнее, чем скатавшееся белье, страшно давящее в заземленном паху, или шуршащее соприкосновение с гладкой броней ее чулок, была необходимость, полусидя в перекрученном положении на неудобном диванчике, непрерывно вести пустой разговор о знакомых, политике, знаках зодиака, прислуге, тем временем доводя пикантную работу – проявления спешки запрещались категорически – до последних содроганий. Хью, отличаясь умеренной мужской силой, наверное, не перенес бы пытки, если бы она более тщательно, чем ей казалось, скрывала возбуждение, в какое ее приводил контраст между воображаемым и действительным – контраст, как бы там ни было, наделенный своего рода художественностью, особенно если вспомнить обычаи некоторых дальневосточных народов, сущих простофиль во многих других отношениях. Однако еще больше его поддерживало ни разу не обманутое ожидание того момента, когда гримаса ошеломленного восторга постепенно придаст идиотическое выражение ее родным чертам, как бы она ни пыталась сохранить светский тон. В некотором смысле он даже предпочитал обстановку гостиной той, еще более ненормальной ситуации, когда она, желая изредка, чтобы он ею обладал в постели, под одеялом, тем временем разговаривала по телефону, сплетничая с подругой или разыгрывая какого-нибудь незнакомого мужчину. Способность Персона прощать все это, находить разумные объяснения и так далее делает его для нас еще милей, но иногда, увы, вызывает и откровенный смех. Например, он убеждал себя, что раздеваться она отказывается, потому что стесняется своих маленьких надутых грудок и шрама на бедре, оставшегося после падения на лыжах. Глупый Персон!

Была ли она ему верна в течение месяцев брака, проведенных в легкомысленной, распушенной, веселой Америке? В первую и последнюю зиму своего замужества она несколько раз ездила без него кататься на лыжах в Аваль (Квебек) и в Проваль (Колорадо). Оставаясь один, он запрещал себе воображать банальности измены – как она позволяет взять себя за руку или поцеловать, прощаясь перед сном, – картины

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru для него ничуть не менее мучительные, чем самая страстная постельная сцена. Стальная дверь присутствия духа оставалась надежно замкнутой, но едва она появилась на пороге, загорелая и сияющая, подтянутая, как стюардесса в своем синем жакете с плоскими пуговицами, сверкающими, как золотые жетоны, – дверца распахивалась и дюжина гибких молодых атлетов, пожирая глазами его жену, заводила вокруг нее хоровод во всех мотелях его фантазии, хотя на самом деле, как мы знаем, она совокупилась всего лишь с десятком любителей скало- и щелелазанья за три поездки.

Всем, и особенно ее матери, так и осталось совершенно непонятно, почему Арманда вышла замуж за довольно обыкновенного американца с довольно средним достатком, но нам пора заканчивать разговор о любви.

18

Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как их разлучила смерть, Персоны полетели на несколько недель в Европу: Арманда – к матери, умирающей в бельгийской больнице (верная дочь прибыла слишком поздно), Хью – навестить по просьбе издательства господина R. и еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии{117}. Шел сильный дождь, когда он высадился из такси у большого, старого, некрасивого дома R. над Версексом. Он поднялся по усыпанной гравием дорожке, вдоль которой с двух сторон бежали пузырящиеся потоки дождевой воды. Входная дверь была приоткрыта, и, вытирая ноги о коврик, он с приятным удивлением увидел в холле Джулию Мур, стоящую к нему спиной у столика с телефоном. Он узнал ту же, что и прежде, прелестную мальчишескую стрижку и оранжевую блузку. Когда он кончил вытирать ноги, она положила трубку и оказалась совершенно иной девушкой.

– Простите, что заставила вас ждать, – сказала она, устремив на него улыбающийся взгляд. – Я заменяю мистера Тамворта, пока он отдыхает в Марокко.

Хью Персон прошел в библиотеку – удобно обставленную, но недостаточно освещенную комнату, решительно старомодного вида, уставленную энциклопедиями, словарями, справочниками и авторскими экземплярами авторских книг в многочисленных изданиях и переводах. Он уселся в глубокое кожаное кресло и достал из портфеля перечень вопросов для обсуждения. Главные вопросы были таковы: как в рукописи «Тралятиций» загризировать ряд слишком узнаваемых персонажей и что делать с заглавием, невозможным с коммерческой точки зрения.

В этот момент вошел R. Он уже три или четыре дня не брился, на нем был нелепый синий комбинезон, в котором, как он считал, удобно размещать различные орудия труда – карандаши, шариковые ручки, три пары очков, карточки, большие скрепки, аптекарские резинки и невидимый миру кинжал, который он после нескольких приветственных слов приставил к горлу Персона.

– Я только могу повторить, – сказал он, падая в кресло, освобожденное Хью, которому он указал на такое же кресло напротив, – то, что уже говорил не раз. Можно выхолостить кошку, но не моих персонажей. Что касается названия, которое есть не что иное, как в высшей степени респектабельный синоним слова «метафора», то никакие ретивые жеребцы его из-под меня не вырвут. Мой врач посоветовал Тамворту запереть погреб, что тот и сделал, а ключ спрятал, а дубликат будет готов только в понедельник, а я, знаете, слишком горд, чтобы покупать дешевые вина в поселке. Поэтому все, что я могу предложить, – ты уже заранее качаешь головой, сынок, и правильно делаешь – это банка абрикосового сока. Теперь поговорим о советах и клеветах. Ваше письмо, сударь, довело меня до зеленого каления. Меня обвиняли в том, что я порчу невинных девушек, но если позволите каламбур, то портить своих невидных детушек я не позволю.

Он пустился в объяснения, что если настоящий художник решил создать образ, восходящий к здравствующему человеку, то любые изменения с целью замаскировать сходство равносильны убийству прототипа, как, знаете, протыкают булавкой куклолку из глины, и девушка в соседнем доме падает мертвой. Если речь идет о произведении подлинно художественном, если в его мехах не только вода, но и вино, оно становится в определенном смысле неуязвимым, зато в другом – очень хрупким. Хрупким, потому что робкий издатель, заставляя художника менять «стройную» на «полную» или «брюнетку» на «блондинку», искажает не только сам образ, но и нишу, в которую он поставлен, и, стало быть, весь выстроенный храм; неуязвимо же оно потому, что, как бы решительно образ ни изменяли, прототип все равно будет опознан по форме дыры, остающейся в ткани повествования. Но помимо

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru всего прочего, сами субъекты, выведенные им в книге, люди хладнокровные и не станут трубить о себе и своем возмущении. На самом деле им будет скорее приятно с видом немножко знатоков, как говорят французы, слушать всевозможные пересуды в литературных салонах.

Вопрос же о названии «Тралятиций» – это совсем другая уха. Читатели не догадываются, что названия бывают двух типов. Названия первого типа тупой автор или умный издатель придумывают, когда книга уже написана. Это – просто этикетка, намазанная клеем и пристукнутая кулаком, чтобы держалась. Таковы названия большей и худшей части бестселлеров. Но бывают заглавия и другого рода. Такое заглавие просвечивает сквозь книгу, как водяной знак, – оно рождается вместе с книгой; автор настолько привыкает к нему за годы, пока растёт стопка исписанных страниц, что оно становится частью всего и целого. Нет, мистер R. не может пожертвовать «Тралятициями». Хью, набравшись храбрости, заметил, что в третьем слове язык сбивается с «т» на «л».

– Язык невежд! – загремел мистер R.

Хорошенькая секретарша заглянула в комнату и объявила, что ему нельзя уставать и волноваться. Поднявшись с усилием, великий человек теперь стоял, подрагивая и ухмыляясь, и протягивал большую волосатую руку.

– Итак, – сказал Хью, – я, конечно, передам Филу, как болезненно вы отнеслись к его замечаниям. До свидания, сэръ. На будущей неделе вы получите макет обложки.

– Прощевай, сынок, до скорой встречи, – сказал мистер R.

19

Мы снова в Нью-Йорке. Это их последний вечер.

Подав им роскошный ужин (может быть, чересчур изысканный, зато не слишком плотный – оба были умеренны в еде), толстуха Полина, *femme de ménage*[103], обслуживающая, кроме того, бельгийского скульптора, живущего в пентхаусе прямо у них над головой, вымыла посуду и ушла в обычное время (девять пятнадцать или около того). Поскольку у нее была раздражительная склонность застревать перед телевизором, Арманда всегда дожидалась ее ухода, а потом уже крутила его в свое удовольствие. Теперь она его включила, дала ожить, пробежалась по нескольким каналам и с презрительным фырканьем убила изображение (ее телевизионные вкусы отличались полным отсутствием логики, она могла методично, со страстью, каждый вечер смотреть одну и ту же программу, потом целую неделю не подходить к телевизору, словно наказывая это чудесное изобретение за проступок, никому, кроме нее, не ведомый, – Хью старался не вникать в ее таинственные ссоры с дикторами и актерами). Она раскрыла книгу, но в этот момент позвонила жена Фила и пригласила пойти с ней завтра на генеральную репетицию какой-то лесбийской пьески с актрисами-лесбиянками. Они проговорили двадцать пять минут – Арманда – доверительным полусшепотом, а Филлис столь звучно, что Хью, сидя за круглым столом над стопкой гранок, мог бы, если бы пожелал, прослушать обе составные части потока тривиальностей. Но ему вполне хватило резюме, сделанного Армандой, когда она вернулась на свое место – на обитый серым плюшем диванчик у ложного камина. Как обычно, около десяти часов сверху раздались пренеприятные звуки: глухие удары, потом скрежет – это кретин бельгиец перетаскивал тяжелую загадочную скульптуру (значащуюся в каталогах как «Полина анида»{118}) с середины мастерской в угол, где она проводила ночь. В ответ Арманда, как всегда, уставилась в потолок и заметила, что она давно бы пожаловалась двоюродному брату Фила (управляющему домом), не будь сосед таким радушным и услужливым мужчиной. Когда снова воцарился покой, она стала искать книгу, которую держала в руках в момент телефонного звонка. Муж ее неизменно испытывал прилив особой нежности, примирявшей его со скукой, грубостью и уродством того, что не очень счастливые люди называют «жизнь», всякий раз, когда в аккуратной, деловитой, хладнокровной Арманде проступал прекрасный лик беспомощной человеческой рассеянности. Он нашел и вручил ей предмет ее отчаянных поисков (книга лежала на журнальной полочке возле телефона), получив за это разрешение благоговейными губами прикоснуться к ее виску и пряди светлых волос. После этого он вернулся к гранкам «Тралятиций», а она к своей книге – это был путеводитель по Франции с указанием множества отличных ресторанов, помеченных вилками и звездочками, но не столь уж многих «приятных, спокойных, хорошо расположенных гостиниц» с тремя или более башенками, а иногда и сидящей на ветке маленькой красной птичкой.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
– Какое смешное совпадение, – сказал Хью. – Один его герой в довольно непристойном пассаже, – а кстати, как надо писать: «Savoie» или «Savoу»?{119}

– Какое совпадение?

– Ах да, один из героев тоже листает «Мишлен»{120} и говорит: «далек же путь от Гондона в Гаскони до Вагино в Савоие».

– «Savoу» – это гостиница, – сказала Арманда и дважды зевнула, сначала не разжимая челюстей, потом откровенно. – Не знаю, почему я так устала, – сказала она, – зато я знаю, что вся эта зевота только сбивает сон, и больше ничего. Надо сегодня попробовать новое снотворное.

– Лучше представь, что ты несешься на лыжах по очень гладкому склону. Я в молодости пытался, чтобы заснуть, мысленно играть в теннис – это часто помогало, особенно если мячи новые и очень белые.

Она еще немного помедлила, над чем-то задумавшись, потом заложила книгу ленточкой и отправилась на кухню за стаканом.

Хью любил дважды читать корректуру – один раз, исправляя опечатки, другой – вникая в смысл. Он предпочитал сначала делать механическую правку, а уж потом наслаждаться содержанием, в какое он сейчас и углубился, но, даже специально не выискивая опечаток, он все-таки время от времени находил пропущенные «ляпы» наборщика и свои собственные. Кроме того, он позволял себе на полях второго экземпляра (предназначенного для автора) с большой осторожностью отмечать некоторые вызывающие особенности стиля и правописания в надежде, что великий человек поймет, что сомневается он не в его гении, а в его грамматике.

После долгого совещания с Филом было решено пойти на риск судебных исков и не обращать внимания на откровенность, с какой R. рисовал свои запутанные любовные истории. Он «уже однажды заплатил за это одиночеством и угрызениями совести и готов теперь заплатить твердой валютой любому дураку, которого может задеть его книга» (сокращенная и упрощенная цитата из его последнего письма). В длинной главе, куда более фривольной (при этом замечательно написанной), чем любые скабрёзности модных писателей, которых он высмеял, R. красочно изобразил, как мать и дочь награждают редкостными ласками своего молодого любовника на горном уступе над живописной пропастью и в некоторых других местах, не столь опасных. С миссис R. Хью был знаком недостаточно близко, чтобы говорить о ее сходстве с матроной – героиней книги (отвислые груди, рыхлые бедра, медвежье сопенье во время копуляции и т. д.); но дочь своими манерами, жестами, задыхающимся говорком и множеством других черт (всех он, может быть, и не знал наперечет, но в общую картину они вписывались) была копией Джулии, хотя автор все-таки сделал ее светловолосой и лишил ее красоту евразийского оттенка. Хью читал внимательно и с интересом, но в прозрачном потоке повествования все еще мелькали редкие ошибки, и он исправлял их (как пытаются делать и некоторые из нас) – то восстанавливал недопечатавшуюся букву, то выделял курсивом слово, и глаза его и позвоночник (главный орган настоящего читателя) скорее сотрудничали, чем мешали друг другу. Иногда он не понимал смысла фразы, ломая голову, что такое «римиформный»{121} или «баланская»{122} слива», – а может, после «л» вставить «к»? Дома у него был не такой полный словарь, как тот, огромный, тома которого громоздились у него на службе, и он спотыкался о такие заковыки, как «все золото кевогого дерева»{123} и «пятнистая небрида»{124}. Он поставил знак вопроса над средней частью имени проходного персонажа «Адам von Либриков»{125}, потому что немецкая частица противоречила остальному, а может быть, все сочетание было искусной шуткой? В конце концов он вопросительный знак вычеркнул, зато в другом месте восстановил «царство канута»{126}: смиренная корректорша, до него читавшая гранки, предложила удалить в последнем слове либо «у», либо, на худой конец, «а», – она, как и Арманда, была русского происхождения.

Наш Персон, любезный наш читатель, не был уверен, что полностью принимает грубость и роскошество стиля R., хотя лучшие его образцы (например, «серовато-радужная муть луны в тумане») казались ему дьявольски выразительными. Он поймал себя на том, что из вымышленного сюжета пытается вывести, в каком возрасте и при каких обстоятельствах писатель растлил Джулию: неужели еще в детстве, когда он (одна из самых восхитительных сцен романа!) щекотал ее в ванночке, целуя мокрые плечи, а потом, в один прекрасный день, завернул в огромное полотенце и утащил к себе на ложе? Или же он флиртовал с ней в первый

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru год ее студенчества, когда ему заплатили две тысячи долларов за выступление в огромном зале, битком набитом университетской и прочей публикой, – он прочел тогда старую новеллу, много раз напечатанную, но действительно замечательную. Как хорошо иметь такого рода талант!

20

Был уже двенадцатый час ночи. Он выключил в гостиной свет и открыл окно. Ветреная мартовская ночь на ощупь пробралась в комнату. За приспущенной шторой неоновая реклама ДОПЛЕР{127} переключилась на лиловый свет, осветив мертвую белизну бумаг, оставшихся на столе.

Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и тихонько двинулся в соседнюю комнату. О том, что она заснула, обычно свидетельствовал громовой храп. Удивительно, как может такая тонкая и деликатная женщина выдавать столь мощные вибрации. В начале их брака Хью побаивался, что она будет храпеть всю ночь, но, как оказалось, уличный шум, или перебой в собственном сне, или робкий муж, решившийся потихоньку прочистить горло, заставляли ее вздрогнуть, вздохнуть, может быть, причмокнуть губами или повернуться на другой бок, после чего она спала уже беззвучно. На этот раз ритм сна, по-видимому, успел измениться, пока он еще работал в гостиной, и теперь, боясь повторения цикла, он старался раздеваться как можно тише. Потом он вспоминал, что пытался очень осторожно выдвинуть исключительно скрипучий ящик (обычно он не слышал его голоса), чтобы достать чистые трусы, которые вместо пижамы надевал на ночь. Он шепотом выругался, услышав дурацкий жалобный вскрик старого дерева, и не стал запихивать ящик обратно, но, как только он двинулся на цыпочках к своей половине постели, заскрипели половицы. Разбудил ли ее шум? Да, но не совсем, – по крайней мере, оттаяло маленькое пятнышко на заиндевевшем стекле: она что-то пробормотала про свет. На самом деле темноту прорезал лишь косой луч из гостиной, дверь в которую он оставил открытой. Он тихо ее прикрыл и на ощупь направился к кровати. Некоторое время он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к другому назойливому слабому звуку – звуку воды, капающей на линолеум из прохуdivшейся трубы отопления. Выходит, вы боитесь, что вам предстоит бессонная ночь? Не совсем. Вообще, ему очень хотелось спать, не нужны были даже подозрительно сильнодействующие таблетки «Морфи», которые он время от времени принимал. Но, несмотря на сонливость, он чувствовал, что его берут в окружение несколько тревожных мыслей. Каких мыслей? Обыкновенных, ничего страшного. Хью лежал на спине, выжидая, пока они сойдутся вместе, и они сошлись в унисон с бледными пятнами, незаметно прокрававшимися на свои привычные места на потолке, – глаза привыкали к темноте. Он думал о том, что жена опять симулировала женское недомогание, чтобы от него отвязаться; что она, наверное, и во многом другом его обманывает; что он ее тоже в каком-то смысле предал, скрыв, что провел ночь с другой женщиной, – с точки зрения времени это было до брака, а с точки зрения пространства – в этой самой комнате; что готовить к печати чужие книги – значит губить свой собственный мозг; что ни повседневная работа, ни постоянные разочарования не имеют никакого значения перед лицом все растущей, все более нежной любви к жене; что в следующем месяце надо будет показаться главному врачу. Хью заменил неправильную букву на «в» и стал дальше смотреть пестрящую поправками корректуру, в которую за его закрытыми веками превращалась темнота. Двойная система стремительно вернула его к бодрствованию, и он пообещал своей неисправившейся личности довести ежедневное потребление сигарет до мгновения ока.

– И потом вы отключились?

– Да. Может быть, еще попытался поймать строчку-другую текста, но – да, я заснул.

– Вероятно, прерывистым сном?

– Нет, напротив, глубже я не спал никогда. Видите ли, предыдущая ночь была у меня почти бессонная.

– О'кей. Не знаю, осведомлены ли вы, что тюремные психологи-криминалисты изучают, кроме всего прочего, ту область танатологии{128}, которая связана со средствами и методами насильственной смерти?

Персон издал слабый звук, изображающий отрицание.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru – Хорошо – поставлю вопрос по-другому: полицию интересует оружие, которым пользовался преступник; танатолог хочет знать, как и почему оно было использовано. Это понятно?

Подобный же ответ – утвердительный.

– Всякое оружие есть... ну, скажем, оружие. Оно может быть неотъемлемой частью работника, как, например, угольник столяра. Или из плоти и крови, как вот они (похлопав Хью по рукам, укладывает их на свои ладони, словно выставляя для обозрения или готовясь приступить к какой-то детской игре).

Ручищи Хью были возвращены ему, как две пустые миски. Далее ему было объяснено, что для удушения молодой особы могут применяться два метода: любительская, не слишком эффективная фронтальная атака и более профессиональный захват сзади. В первом случае шея жертвы крепко сдавливается восемью пальцами, в то время как большие пальцы зажимают его (или ее) горло; при этом остается риск, что он или она схватят душащего за запястья или отразят нападение каким-нибудь другим способом. Второй, более надежный путь состоит в том, что большие пальцы крепко упираются в шею юноши или, предпочтительно, девушки сзади, а остальные восемь нажимают на горло. Первый метод мы условно называем «Роусе»[104], второй – «Пианист». Мы знаем, что вы напали с тыла, но тогда возникает вопрос: почему, когда вы планировали задушить свою жену, вы избрали именно «Пианиста»? Может быть, вы инстинктивно чувствовали, что внезапный и сильный захват дает наибольшие шансы на успех? Или у вас были какие-то другие, субъективные соображения – например, вы считали, что вам будет неприятно в ходе операции следить за сменами лицевого выражения?

Он ничего не планировал. Весь этот ужас совершился автоматически, во сне, он ведь очнулся, только когда оба они приземлились на полу у кровати.

Он говорил, что ему снился пожар?

Это правда. Все было охвачено пламенем, и если что-то и можно было разглядеть, то сквозь пунцовые прозрачные пластиковые язычки. Его случайная подружка широко распахнула окно. Кто она? Гостья из прошлого – проститутка, подобранная им во время первого заграничного путешествия лет двадцать назад, бедная девочка-полукровка, хотя вообще-то американка и очень милая, звали ее Джулия Ромео{129}, что на староитальянском языке означает «паломник»{130}, но тогда все мы паломники, а сны – анаграммы дневного существования. Он рванул за ней, чтобы не дать ей выпрыгнуть. Окно было большое и низкое, с большим подоконником, обитым толстой тканью, как водится в этой стране огня и льда. Какие там ледники, какие рассветы! Все светящееся тело Джулии, она же Жюли, облегла доплерова комбинация{131}. Она простерлась на подоконнике, широко раскинув руки, которыми дотрагивалась до раскрытых рам. Он глянул сквозь нее, – там, далеко внизу, в пропасти двора или сада, такие же языки пламени двигались, как полоски красной бумаги, которые невидимый вентилятор вздымает над дровами из папье-маше в праздничных рождественских витринах заметенного снегом детства. Выпрыгнуть из окна или спуститься с карниза по связанным простыням (длинношея фламандско-средневекового вида приказчица демонстрировала технику связывания в зеркальном заднике его сна) показалось ему безумием, и бедный Хью попытался остановить свою Джульетту. Стараясь покрепче ее схватить, он вцепился ей в шею, большие пальцы с квадратными ногтями врезались в освещенный фиолетовым светом затылок, остальные восемь – сжали горло. На экране кинотеатра учебных фильмов по другую сторону двора или улицы показали дергающуюся в конвульсиях трахею, все же остальное перестало внушать какие-либо опасения: он удобно пристроился к Джулии и спас бы ее от верной гибели, если бы она, одержимая самоубийственной жадной спастись от огня, не соскользнула с подоконника и не унесла его за собой в пустоту. Ну и падение! Глупая Джулия! Какое счастье, что Мистер Ромео продолжал своею мертвой хваткой скручивать и крушить этот кричащий и хрипящий хрящ, просвечиваемый рентгеном толпящимися на улице пожарниками и высокогорными проводниками. Как они летели! Супермен, несущий младую душу в своих объятьях{132}.

Удар при падении оказался не столь сильным, как он ожидал. Это, Персон, какая-то браваурная пьеса, а не сон душевнобольного. Придется подать на вас докладную записку. Он ушиб локоть, а ночной столик упал вместе с лампой, стаканом, книгой; но хвала Искусству – она невредима, она с ним рядом, она лежит спокойно. Он нащупал упавшую лампу и засветил ее в этом необычном положении. Мгновение он не

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru мог понять, что тут делает его жена, лежа ничком на полу, с распущенными, словно в полете, волосами. Потом он устался на свои робкие руки.

21

«Дорогой Фил!

Это, без всякого сомнения, мое последнее письмо. Я Вас покидаю. Я уйду к другому, еще более великому Издателю. Там ангелы станут вычитывать мои рукописи или черти – множить опечатки, в зависимости от того, к какой редакции припишут мою бедную душу. Итак, прощайте, дорогой друг, и пусть Ваш наследник повыгодней продаст это письмо на аукционе.

Оно написано от руки, потому что я не хочу, чтобы его прочитал Том-Там или кто-то из его мужского пола машинисток. Я смертельно болен и лежу после неудачной операции в единственной отдельной палате Болонского госпиталя. Юная сестра милосердия, которая любезно согласилась отправить это письмо, рассказала мне, сопровождая повесть ужасными режущими жестами, нечто такое, за что я заплатил ей столь же щедро, как вознаградил бы ее иные милости, будь я еще мужчиной. На самом же деле принесенная о грядущей кончине весть бесконечно ценнее, чем отданная в дар возлюбленному честь. Если верить моему волоокому шпиону, Великий хирург, чтоб его собственная печенка лопнула, соврал мне, когда вчера, осклабясь, словно череп, объявил, что operazione[105] прошла perfetto[106]. Что ж, это верно в том смысле, в каком Эйлер называл ноль совершенным числом{133}. На самом деле они разрезали мне живот и, придя в ужас от моей испорченной fegato[107], зашили меня, даже до нее не дотронувшись.

Не стану беспокоить Вас проблемами, связанными с Тамвортом. Жаль, что Вы не видели самодовольной гримасы на длинных губах этого бородатого типа, когда он навел на меня сегодня утром. Как Вы знаете – а это знают все, даже Мэрион, – он пролез в мои дела, заползая в каждую щелку, записывая все, что я изрекаю с моим немецким акцентом, так что теперь он может быть таким же Босуэллом{134} мертвеца, каким был боссом живого. Одновременно я пишу нашему с Вами адвокату о мерах, которые надо принять после моего отплытия, чтобы пресекать Тамворту каждый шаг по намеченному им лабиринту.

Единственное дитя, которое я любил, – это восхитительная, глупая, неверная Джулия Мур. Каждый цент и сантиметр, которым я владею, и все остатки рукописей, которые еще удастся вырвать из когтей Тамворта, должны перейти к ней, несмотря на все двусмысленные темноты в моем завещании: Сэм поймет, на что я намекаю, и будет действовать соответственно.

Две последние части моего опуса в Ваших руках. Я очень огорчен, что изданием будет заниматься не Хью Персон. Отвечая на мое письмо – ни слова о том, что Вы его получили, – вставьте туда, словно Вы просто сплетничаете, какие-нибудь сведения о нем – пусть они будут нашим кодом: почему, например, он год – или больше? – просидел в тюрьме, если установлено, что он действовал в состоянии эпилептического транса{135}; почему после пересмотра дела и признания его невиновным он был переведен в больницу для душевнобольных преступников и почему следующие пять или шесть лет он болтался между тюрьмой и сумасшедшим домом, пока не стал пациентом частной клиники? Как можно, не будучи знахарем, лечить от дурных снов? Пожалуйста, все это мне сообщите, потому что Персон – один из самых прелестных персонажей, с какими мне доводилось иметь дело, и еще потому, что в своем письме о нем Вы сумеете контрабандой провезти всевозможные тайные сведения для меня, несчастного бедняги.

Несчастный бедняга – воистину лучше не скажешь! Бедная моя печень тяжела, как отвергнутая рукопись. Страшную гиенообразную боль им удастся заглушать частыми инъекциями, но так или иначе она всегда присутствует за стеной моей плоти, словно приглушенный гром непрерывной лавины, которая там, вне меня, уничтожает все структуры моего воображения, все пограничные столбы моей сознательной личности. Это смешно – но раньше я думал, что умирающие видят тщету мира, бесполезность славы, страсти, искусства и так далее. Я думал, что хранящиеся в их сознании сокровища воспоминаний превращаются в радужную дымку, но сейчас я ощущаю противоположное: самые мои обыденные чувства и подобные же чувства других людей приобрели для меня гигантские масштабы. Вся Солнечная система – лишь отражение в стекле моих (или Ваших) наручных часов. Чем более я умаляюсь, тем я становлюсь грандиознее. Мне кажется, это случай необычный. Абсолютное отрицание всех религий, когда-либо выдуманных человеком, и абсолютное спокойствие перед

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru лицом абсолютной смерти! Если бы я мог объяснить этот тройственный абсолют в одной большой книге, она стала бы, без сомнения, новой Библией, а ее автор – создателем новой веры. К счастью для моего самоуважения, книга эта никогда не будет написана – не просто потому, что умирающие не пишут книг, но оттого, что Ваш покорный умирающий слуга никогда не умел одним проблеском выразить то, что может быть понято только непосредственно».

Примечание, добавленное адресатом:

«Получено в день смерти писателя. Подшить к „Почившим-R“».

22

Персон ненавидел вид и ощущение своих ног, на редкость чувствительных и неизящных. Даже став взрослым, он, раздеваясь, избегал на них смотреть. Поэтому он не впал в американскую манию ходить дома босиком – отбрасывающую, минуя детство, к более простым и счастливым временам. Какая занозистая дрожь пробирала его при мысли о ногте, зацепившемся за шелк носка (шелковых носков тоже больше нет), – так женщина вздрагивает, когда скрипит оконное стекло. Они были мосласты и слабы, они всегда болели. Визит в обувной магазин для него мало чем отличался от похода к зубному врачу. Он с неприязнью поглядел на покупку, сделанную в Бриге по дороге в Витт. Ничто не бывает завернуто с такой дьявольской аккуратностью, как коробка с обувью. Он разрядил нервы, сорвав с нее бумагу. Эту пару отвратительно тяжелых коричневых горных сапог он уже примерял в магазине. Размер, несомненно, был его, и столь же несомненно они были далеко не так удобны, как уверял продавец. Да, по ноге, но впритык. Он со стоном их напялил и не без осложнений зашнуровал. Ничего, придется потерпеть. Предстоящий подъем нельзя было совершить в обычных ботинках: первый и единственный раз, когда он попытался это сделать, нога постоянно скользила на гладких скалах. Эти, по крайней мере, удерживались на ненадежных поверхностях. Еще он вспомнил мозоли, натертые точно такой же парой, но замшевой, купленной восемь лет назад и выброшенной, когда он уезжал из Витта. Что ж, левый жал немного меньше правого – хромое утешение.

Он сбросил тяжелый темный пиджак и надел старую штормовку. Направляясь к лифту по коридору, он налетел на какие-то три ступеньки и решил, что единственное их разумное назначение – предупреждать о предстоящем страдании. Но он отмахнулся от зазубренного острия боли и зажег сигарету.

Как во всех второразрядных гостиницах, лучший вид на горы открывался из окон в северном конце коридора: темные, почти черные скалистые вершины с белыми полосами кое-где сливались с угрюмым небом, покрытым тучами; ниже – хвойные меха лесов, еще ниже – более светлая зелень полей. Печальные горы! Прославленные глыбы земного тяготения!

Дно долины, вмещающей городок Витт и несколько раскиданных вдоль русла узкой речки деревенок, состояло из унылых пастбищ, окруженных колючей проволокой; единственным их украшением были высокие стебли цветущего фенхеля. Река, прямая, как канал, утопала в зарослях ольхи. Обзор широк, но зря блуждает взгляд: тут зеленеет выкошенный склон, тропой неопрятной отделен от стада на болотистом лугу, а там, на отдаленном берегу, расположились лиственницы.

Первая часть его повторного хождения к святым местам (Персон, наверное, унаследовал склонность к паломничеству от своего французского предка, католического поэта и почти что святого{136}) состояла из прогулки через Витт к группе дач, разбросанных над деревней по склону горы. Сам городок показался ему еще некрасивее и беспорядочнее. Он узнал фонтан, банк, церковь, огромное каштановое дерево и кафе. Почта тоже была на прежнем месте, и та же скамейка стоит у ее дверей в ожидании писем, а они все не приходят.

Он перешел через мост, не помедлив, чтобы прислушаться к грубому шуму потока, который все равно ничего не мог бы ему сообщить. Вершина горы была украшена бахромой елей, в стороне стояло еще несколько елок (не деревья, а туманные призраки, дублиеры, сероватая шеренга под дождевыми тучами). Вокруг новой дороги выросли новые дома, потеснив жалкие ориентиры, которые он помнил или думал, что помнит.

Теперь ему надо было найти виллу «Настя», до сих пор сохранившую дурацкое русское уменьшительное имя покойной старухи{137}. Незадолго до последней болезни

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru она продала дом бездетной английской паре. Он должен увидеть знакомый фасад – пусть он будет тем глянцевым конвертом, в котором прячут картинку из прошлого.

На углу Хью замедлил шаги. Чуть дальше женщина продавала овощи с лотка. Est-ce que vous savez, Madame...[108] – да, она знает, это туда, вверх по улице. При этих словах большой белый дрожащий пес выполз из-за ящика, и Хью, вздрогнув от совершенно ненужного воспоминания, вдруг понял, что здесь он восемь лет назад останавливался и видел эту собаку, которая и тогда уже была довольно стара и, конечно, отважно пережила все мыслимые сроки для того, чтобы сослужить службу слепой его памяти.

Окрестности, за вычетом белой стены, были неузнаваемы. Сердце его билось, словно после тяжелого подъема. Светловолосая девчушка с бадминтоновой ракетой в руках, присев, поднимала волан с тротуара. Немного выше он увидел виллу «Настя», перекрашенную в небесно-голубой цвет. Все окна были закрыты ставнями.

23

Избрав для восхождения в горы одну из размеченных тропинок, Хью встретил еще одного пришельца из прошлого, а именно почтенного зрителя скамеек, – оскверненные птицами и старые, как он сам, они понемногу разваливались в разных тенистых уголках (под ними желтые листья, над ними – зеленые) по ходу поднимающейся к водопаду тропинки, определенно идиллической. Он вспомнил украшенную богемскими стекляшками трубку зрителя (гармонирующую с прыщеватым носом ее владельца) и то, как Арманда, пока старик копался в мусоре под треснувшей скамейкой, обменивалась с ним грубыми шуточками на швейцарско-немецком диалекте.

Теперь в этих местах туристам предлагались некоторые дополнительные восхождения, к их услугам были новые подъемники и новое шоссе от Витта до станции канатной дороги, куда Арманда ходила с приятелями пешком. Когда-то Хью тщательно изучил карту местности, огромную карту нежности{138}, или Хартию Пыток, вывешенную на доске объявлений возле почты на всеобщее обозрение. Если бы он захотел с комфортом доехать до края ледника, он мог бы сесть на новый автобус, соединивший Витт с канаткой Дракониты. Но он пожелал целиком повторить весь трудный старый маршрут и пройти через незабываемый лес. Он надеялся, что подвесная кабина осталась такой, какой он ее запомнил, – о двух скамейках одна против другой: она парила ярдах в двадцати над торфянистым склоном по просеке, вырубленной среди елей и ольховника, и примерно каждые тридцать секунд с толчком и шумом терлась о столб, но в остальном вела себя вполне пристойно.

В памяти Хью сплелись воедино несколько троп и дорог для транспортировки леса, которые вели к началу тяжелого подъема, – хаос валунов и джунгли рододендронов, через которые надо было продираться к канатке. Неудивительно, что очень скоро он заблудился.

Память его тем временем держалась своей собственной путеводной нити. Снова он задыхался, стараясь не отстать от нее, беспощадной. Снова она поддразнивала Жака, красивого мальчика-швейцарца с оранжево-лисыими волосками на теле и задумчивыми глазами. Снова она флиртвала с эклектичными близнецами-англичанами, которые овраги называли «врагами народа», а вместо «хребет» говорили «Ай-рарат». Несмотря на внушительный внешний облик, ни ноги Хью, ни его легкие не давали ему возможности угнаться за ними даже в памяти, и когда четверка прибавила шагу и скрылась со всеми своими жестокими альпенштоками, веревками и прочими орудиями пыток (объем снаряжения явно был преувеличен невежеством), он остался стоять на скале и, глянув вниз, сквозь волнующийся туман увидел, казалось, само рождение гор, по которым спешили его мучители, вздымание кристаллической коры со дна доисторического моря в унисон с его сердцем. Вообще говоря, погоня обычно заканчивалась для него еще до выхода из леса – убогого старого ельника, пересеченного крутыми и болотистыми тропинками меж зарослей мокрых стелющихся трав.

Сейчас он поднимался этим самым лесом, так же ужасно задыхаясь, как и прежде, когда он попевал вслед за золотистым затылком Арманды или за огромным рюкзаком на голой мужской спине. Как и тогда, жмуший носок ботинка вскоре натер ему кожу на суставе третьего пальца правой ноги, и красный глазок на этом месте теперь просвечивал сквозь любую прореху в мыслях. С лесом он в конце концов развязался и вышел на усеянное камнями поле к одинокому сараю, который показался ему знакомым. Но нигде не было видно ни ручья, в котором он однажды мыл ноги, ни

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru сломанного мостика, который внезапно пролег над пропастью времени в его сознании. Он пошел дальше. День немного посветлел, но тут же туча своей ладонью снова прикрыла солнце. Тропинка дошла до пастбища. Он вдруг заметил распластанную на камне большую белую бабочку. Прозрачные, неприятно сморщенные поля ее бумажно-тонких, подкрашенных выцветшим багрянцем крыльев с черными пятнышками слегка подрагивали на безрадостном ветру. Хью вообще не любил насекомых, но эта бабочка выглядела особенно неприятно. И все же в порыве добросердечия, для него необычном, он подавил желание раздавить ее слепым сапогом, смутно представив, что она, должно быть, устала и голодна и что ей, наверное, будет приятно, если ее перенесут на травяную подушечку, усеянную розовыми булавочными головками каких-то мелких цветов. Он склонился над бабочкой, но та с шумным шелестом уклонилась от его платка, потом, преодолевая тяготение, неуклюже взмахнула крыльями и уверенно поплыла прочь.

Он подошел к указательному столбу. Сорок пять минут до Ламмершпица, два с половиной часа до Римперштейна. Стало быть, он сбился с пути, ведущего к станции канатной дороги. Указанные расстояния были унылы как горячечный бред.

За столбом тропинку обступали крутолобые серые скалы, обросшие полосками черного мха и бледно-зеленого лишайника. Он поглядел на тучи, сгущавшиеся над дальними пиками или провисавшие между ними, как медузы. Продолжать подъем в одиночку не было никакого смысла. Бывала ли она здесь, отпечатывался ли когда-нибудь в этой глине замысловатый рисунок ее подошв? Он взглянул на остатки одинокого пикника, на кусочки яичной скорлупы, обломанной пальцами другого одинокого странника, сидевшего здесь всего за несколько минут до его появления, на смятый пластиковый пакет, куда в свое время спорые женские руки небольшими щипчиками вкладывали, одно за другим, светлое яблочное печенье, чернослив, изюм, орехи, липкую мумию банана – все это теперь уже переваривается. Скоро все поглотит серая пелена дождя. Он почувствовал первый его поцелуй на своей лысине и повернул обратно к лесу, обратно к своему вдовству.

Подобные дни, давая отдых глазу, оставляют больше простора другим органам чувств. Небо и земля лишились всякой окраски. Непонятно, моросил ли дождь, или это только казалось, или вообще не было дождя, и все-таки – дождь шел, в том смысле, который может быть выражен словесно лишь на некоторых старых северных диалектах, или даже не выражен, а как бы передан через призрак звука, производимого мелким дождиком, падающим на туманный куст благодарных роз.

«Дождь в Виттенберге, но не в Виттгенштейне»{139} – темная шутка из «Тралятиций».

24

Прямое вмешательство в жизнь персонажа не входит в наши обязанности; с другой же, выражаясь «тралятически», стороны, судьба его – не цепочка predetermined связей: пусть одни «будущие» события вероятнее, чем другие, хорошо, но все они – не более чем химеры, и любая последовательность причин и следствий – это всегда стрельба в молоко, даже если вашу шею уже обхватил люнет гильотины и тупая толпа затаила дыхание. Какой был бы хаос, если бы кто-то из нас стал защищать мистера Х., а другие поддерживать мисс Джулию Мур, чей интерес, например, к диктатурам в дальних странах пришел в противоречие с интересами ее старого большого поклонника, мистера (ныне лорда) Х. Самое большее, что мы можем сделать, направляя фаворита по лучшему пути при обстоятельствах, не заключающих для других ущерба, – это пытаться воздействовать, на манер ветерка, самым легким, самым непрямым дуновением, пробуя, скажем, навеять сновидение, которое, как мы надеемся, наш фаворит, если вероятное событие произойдет в действительности, потом расценит как пророческое. В печатном тексте слова «вероятное» и «действительность» тоже надо было бы выделять курсивом, по крайней мере слегка, тем самым указывая на легкость дуновения, склоняющего (к тому или иному) и буквы, и персонажей. Курсив для нас еще важнее, чем для авторов самых сюсюкающих детских книг.

Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в разных обличьях вокруг самого себя: так спящего мальчика берут в окружение приснившиеся ему овощи из нашей первой книжки с картинками – зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, Картошка-mère[109], картошка-fille[110], девочка-спаржа и прочие и прочие, – они ведут свой хорост все быстрее и быстрее, постепенно сливаясь в просвечивающее кольцо, играющее всеми цветами радуги вокруг мертвого человека или погасшей звезды.

Не полагается нам и объяснять необъяснимое. Люди научились жить с черной ношей, с огромным саднящим горбом: с догадкой, что «реальность», может быть, только «сон». Но насколько было бы еще ужаснее, если бы сознание того, что вы сознаете подобие реальности сновидению, само было сном, встроенной галлюцинацией! Надо, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки, в которой он исчезает, точно так же, как не бывает озера без замкнутого круга надежной земли.

Мы уже дали понять, что нам не обойтись без кавычек («реальность», «сон»). Знаки, которыми Хью Персон все еще испещряет поля корректур, определенно имеют метафизическое, зодиакальное значение! «Прах к праху»<sup>{140}</sup> (мертвецы знают толк в перемешивании, хоть это, по крайней мере, можно считать установленным). Пациент одной из психиатрических клиник, где лежал Хью, дурной человек, но хороший философ, уже будучи «неизлечимо больным» (страшные слова, их не спасут никакие кавычки), сделал для Хью такую запись в его «Тюремно-психиатрическом альбоме» (род дневника тех печальных лет):

«Обычно считают, что, если человек установит факт жизни после смерти, он тем самым разрешит загадку Бытия или станет на путь к ее разрешению. Увы, совсем неочевидно, что эти проблемы будут пересекаться или даже частично совпадать».

Закроем тему на этой странной ноте.

25

Чего ты ждал от своего паломничества, Персон? Простого зеркального возвращения старых страданий? Сочувствия от замшелого камня? Насильственного воссоздания безвозвратно исчезнувших мелочей? Поисков утраченного времени в совершенно ином смысле, чем ужасное «Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né»<sup>[111]</sup> Гудгрифа<sup>{141}</sup>, или же того, что искал Пруст? Все, что ему довелось когда-то здесь испытать (за исключением финала последнего восхождения), – это отчаяние и скука. Вновь посетить унылый серый Витт его заставило нечто совсем другое.

Не вера в привидения. Какому призраку охота посещать полузабытые груды материи (он не знал, что Жак лежит погребенный под шестью футами снега в Шюте, Колорадо), неверные тропинки, хижину лыжного клуба – некие чары не дали ему до нее добраться, но, так или иначе, ее название безнадежно перепуталось для него с «Драконитом», стимулирующим средством, которое больше не выпускается, но все еще рекламируется на заборах и даже на скалистых утесах. И все-таки проделать весь этот путь на другой материк его заставило нечто, имеющее отношение к визитам призраков. Попробуем в этом разобраться.

Практически все сны, в которых она являлась к нему после смерти, ставились в декорациях не американской зимы, а швейцарских гор и итальянских озер. Он не нашел даже той поляны в лесу, где незабываемый поцелуй был прерван появлением маленьких веселых скалолазов. Моментальное соприкосновение с самым существенным ее образом в точно запомнившейся обстановке – вот к чему сводилось желаемое.

Вернувшись в отель «Аскот», он жадно съел яблоко, со вздохом отвращения стащил с себя заляпанные глиной сапоги и, не обращая внимания на потертости и сыроватые носки, влез в удобные уличные туфли. Мучительная задача еще не решена – продолжим!

Надеясь, что какая-нибудь зрительная зарубка поможет ему вспомнить номер комнаты, в которой он жил восемь лет назад, он прошелся по всей длине коридора третьего этажа, заглядывая в пустые глаза незнакомым цифрам, и вдруг застыл на месте: прием наконец сработал. Увидев очень черный номер «313» на очень белой двери, он вспомнил, как говорил Арманде (обещавшей его посетить, но не желавшей о себе заявлять): «Чтобы эти цифры запомнить, надо их представить себе как три фигурки в профиль, – узник, которого ведут два стражника, один спереди, другой сзади». Арманде возразила, что это слишком мудрено, – она просто запишет номер в календарь, который носит в сумочке.

За дверью твякнула собака: значит, подумал он, номер занят прочно. Тем не менее он удалился с чувством удовлетворения, с чувством, что отвоевал важный клочок земли в одной из провинций прошлого.

Потом он спустился вниз и попросил хорошенькую служащую позвонить в гостиницу в Стрезе и узнать, могут ли они дня на два предоставить ему комнату, где мистер и миссис Хью Персон останавливались восемь лет назад. Ее название, сказал он, звучит как «Beau Romeo»{142}[112]. Она повторила его уже в правильной форме, но сказала, что это займет несколько минут. Ничего, он подождет в гостиной.

В гостиной находились лишь двое – какая-то женщина, доедавшая завтрак в дальнем углу (ресторан был недоступен – его еще не прибрали после недавней фарсовой потасовки), и швейцарский бизнесмен, проглядывавший старый номер американского журнала (оставленного здесь Хью восемь лет назад – но эту линию жизни никто не проследил). Столик по соседству со швейцарским господином был завален гостиничными проспектами и довольно свежей периодикой. Локоть швейцарца покоился на «Трансатлантике»{143}. Хью потянул журнал к себе, и швейцарский господин буквально взлетел со своего стула. Извинения и контризывинения переросли в разговор. Английский язык месье Уайльда{144} во многих отношениях – грамматикой и интонациями – напоминал английский Арманды. Он предельно шокирован статьей в «Трансатлантике», – попросив его на минутку обратно, он послунил большой палец, нашел соответствующее место и, протягивая Хью журнал, раскрытый на возмущившей его статье, тыльной стороной руки стукнул по странице:

– Тут пишут о человеке, который восемь лет назад убил свою жену и...

Служащая, чью конторку и бюст он со своего места различал в миниатюре, издали подавала ему знаки. Она выскочила из-за своей загородки и направилась к нему.

– Не отвечает, – сказала она. – Попробовать еще?

– Да, да, – сказал Хью, поднимаясь с места и натываясь на кого-то (на женщину, которая, завернув оставшийся от ветчины жир в бумажную салфетку, выходила из гостиной), – да. Ах, простите. Да, непременно. Позвоните, пожалуйста, в справочное или еще куда-нибудь.

Итак, восемь лет назад убийце даровали жизнь, отменив смертную казнь (Персону в другом, старинном смысле слова ее тоже восемь лет назад даровали, но он промотал, промотал ее в безумном сне), а теперь его выпускают на свободу, потому что он, видите ли, был образцовым заключенным и даже обучил товарищей по камере таким вещам, как шахматы, эсперанто (он убежденный эсперантист{145}), лучшим рецептам тыквенного пирога (по профессии он кондитер), знакам зодиака, игре в «рамс» и т. д. и т. п. Для некоторых женщина, увы, только станок, и ничего больше.

– Это чудовищно, – продолжал швейцарский господин, пользуясь выражением, заимствованным Армандой у Джулии (ныне леди Х.), – совершенно чудовищно, как цацкаются нынче с преступниками. Не далее как сегодня один горячий официант, обвиненный в краже ящика Dôle (местного вина, которое месье Уайльд, между прочим, не стал бы ему рекомендовать), ударил метрдотеля кулаком в глаз, отчего тот почти ослеп. И что вы думаете, начальство вызвало полицию? Даже и не подумало. Eh bien[113], куда ни посмотришь, везде одно и то же. Два языка – это господин знает, а вот знает ли он что-нибудь о проблемах тюремного заключения?

О, да. Он сам сидел в тюрьме, потом в тюремной больнице, потом опять в тюрьме, его дважды судили по делу об удушении девушки-американки (ныне леди Х.). «Раз я целый год просидел с кошмарным сокамерником. Если бы я был поэтом (но я всего лишь корректор), я бы вам описал небесный покой одиночного заключения, блаженство унитаза незапятнанной чистоты, свободу мысли в идеальной тюрьме. Назначение тюрьмы (улыбаясь мосье Уайльду, который стал глядеть на часы, но много на них не увидел), конечно, не в том, чтобы исправить убийцу, и не только в том, чтобы его наказать (как можно вообще наказать человека, который все носит с собой, при себе, внутри себя?). Единственное ее назначение, приземленное, но логичное, – это лишить убийцу возможности убивать дальше. Перевоспитание? Досрочное освобождение? Это миф, пустая шутка. Зверя не исправишь. А мелких воришек и исправлять не стоит – хватит с них наказания. В наше время есть, к сожалению, всякие огорчительные тенденции в soi-disant[114] либеральных кругах. В двух словах, убийца, который смотрит на себя как на жертву, – это не просто душегуб, но еще и слабоумный».

– Я думаю, мне пора идти, – вяло сказал бедный Уайльд.

– Тюрьмы, психушки, специальные больницы – все это я изучил досконально. Это сущий ад – сидеть в камере с тридцатью непредсказуемыми идиотами. Мне приходилось изображать буйного, чтобы меня перевели в одиночку или в особое отделение треклятой больницы, в рай неизреченный для таких, как я, пациентов. Единственным моим шансом остаться нормальным было симулировать сумасшествие. Это тернистый путь. Одна здоровенная красавица-сестра так меня лупила: раз ладонью, два – костяшками, три – снова ладонью, – зато я возвращался в блаженное одиночество. Должен добавить: всякий раз, когда вытаскивали мое дело, тюремный психиатр свидетельствовал, что я отказываюсь обсуждать то, что на их профессиональном жаргоне называется «брачной половой жизнью». Могу еще печально-радостно и печально-гордо вам сказать, что ни моим стражникам (среди них попадались неглупые и человечные), ни фрейдистским инквизиторам (все они или дураки, или невежды) не удалось ни сломать, ни изменить мою несчастную персону, каковой я являюсь.

Мосье Уайльд, решив, что он пьян или сумасшедший, уплелся прочь. Красивая служащая (плоть есть плоть, красное жало<sup>[146]</sup> есть l'aiguillon rouge – любовь моя не обиделась бы) снова стала подавать знаки. Он встал с места и направился к ней. Гостиница в Стрезе ремонтируется после пожара. Mais<sup>[115]</sup> (подняв красивый пальчик)...

Нам приятно заметить, что всю свою жизнь Персон испытывал известное трем знаменитым теологам и двум второстепенным поэтам странное ощущение, что позади него, как бы за его плечом, стоит кто-то значительнее, невероятно умнее, сильнее и спокойнее его, – некий незнакомец, нравственно его превосходящий. Это и был его главный «теневой спутник» (один критик, читай «клоун», как-то сделал R. выговор за этот эпитет), и не будь у него этой просвечивающей тени, мы никогда бы нашим дорогим Персоном заниматься не стали. На коротком пути от кресла к прелестной шейке девушки, ее пухлыми губам, длинным ресницам и потайным прелестям Персон почувствовал, что кто-то или что-то предупреждает его, что надо поскорей из Витта убраться, и в путь – в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если нельзя в Стрезу. Но он к предостережению, сделанному тенью, не прислушался и, может быть, по существу был прав. Мы думали, впереди у него есть еще несколько лет земных радостей; мы готовы были перенести к нему в постель эту девушку, но в конце концов он должен сам выбирать, сам должен и умирать, если хочет.

Mais! (чуть-чуть сильнее, чем «но» и «впрочем») есть у нее и хорошие новости. Он ведь хотел переехать на третий этаж? Это можно сделать сегодня вечером. Дама с собачкой уезжает перед ужином. Приключилась довольно забавная история. Оказывается, ее муж держит приют для собак, чьим владельцем приходится бывать в отъезде. Дама, когда сама путешествует, обычно берет с собой какого-нибудь маленького песика, который больше всех тоскует. Сегодня ей позвонил муж, что хозяин собачки вернулся из поездки раньше срока и со страшным скандалом требует ее обратно.

26

Ресторан при гостинице, довольно унылый зал, обставленный в деревенском вкусе, отнюдь не был переполнен, но на завтра ожидалось две большие семьи, а кроме того, на более дешевую вторую половину августа должен будет или должен был начаться (трудно не перепутать складки грамматических времен, говоря об этом здании) неплохой приток немцев. Простоватая девушка в народном платье, не совсем скрывавшем большие белые груди, заменила младшего из двух официантов, а левый глаз угрюмого метрдотеля был закрыт черной повязкой. Сразу после ужина наш Персон переезжал в комнату 313; он отметил наступающее событие, выпив в свою полную, но разумную меру – «Кровавого Ваньку»<sup>[147]</sup> (водка с томатным соком) перед гороховым супом, бутылку рейнского со свиной (загримированной под «телячьи котлеты») и большую рюмку бренди с кофе. Мосье Уайльд отвернулся, когда подвыпивший или одурманенный американец проходил мимо его столика.

Комната была точно такая, в какой он хотел или когда-то хотел (опять времена перепутались) ожидать ее прихода. Кровать в юго-западном углу аккуратно застелена покрывалом, но горничная, которая должна или может скоро постучать, чтобы приготовить постель, не была и не будет допущена внутрь – если еще останутся двери и постели, «внутри» и «снаружи». На ночном столике с непочатой пачкой сигарет и дорожным будильником соседствовала красиво завернутая коробочка с зеленоватой статуэткой юной львицы, просвечивающей через двойной слой картона и бумаги. Прикроватный коврик – из той же светло-голубой махровой ткани, что и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru покрывало, – пока был заткнут под ночной столик, но раз она заранее (капризница! гордячка!) отказалась остаться до рассвета, то никогда не увидит его за своим делом – принимающим первый квадратик солнца, потом прикосновение залепленных пластырем пальцев Хью. Букетик колокольчиков и васильков (их оттенки немедленно начали между собой любовную войну) был поставлен не то помощником управляющего, уважавшим чувства, не то самим Персоном в вазу на комод, где лежал только что снятый им галстук уже третьего оттенка голубизны, поскольку из другого материала (sericanette{148}). Наведя на резкость, можно разглядеть, как смесь брюссельской капусты и картофельного пюре, красочно перемежаемая красноватым мясом, зигзагами продвигается по кишечнику Персона, – в этом пейзаже из пещер и излучин можно различить еще два-три яблочных семечка – скромные путешественники, задержавшиеся после предыдущей трапезы. Сердце его, маловатое для такого верзилы, имело форму слезы.

Возвращаясь до обычного уровня, мы видим висящий на вешалке черный плащ Персона и его графитово-серый пиджак на спинке стула. Ко дну корзины для бумаг под карликовым письменным столом, стоящим в северо-восточном углу комнаты и полным бесполезных ящиков, прилипли (хотя служащий только что выбросил мусор) клочки бумажной салфетки с жирным пятном. Шпиц{149} спит на заднем сиденье «амилькара»{150}, на котором жена собачника возвращается в Трю.

Персон зашел в ванную, опорожнил мочевого пузыря и хотел было принять душ, но теперь она могла прийти в любую минуту – если вообще придет. Он надел модный свитер с завернутым воротником и достал последнюю оставшуюся таблетку от изжоги – он помнил, в каком она кармане, но не сразу определил этот карман (странно, как некоторым людям трудно разобраться с первого взгляда, где у висящего пиджака правая пола, а где – левая). Арманда считала, что настоящий мужчина должен одеваться безупречно, а мыться – не слишком часто. Дуновение мужского запаха из gousset[116], говорила она, при некоторых соприкосновениях может быть весьма привлекательным. Деодорантами пользуются только дамы и горничные. Никогда в жизни никого он не ждал с таким нетерпением. Лоб его взмок, он дрожал, коридор был пустой и длинный, немногие постояльцы находились главным образом внизу, в гостиной, где они болтали и играли в карты или просто счастливо покачивались на мягком берегу сна. Он снял с постели покрывало и положил голову на подушку, носками касаясь пола. Новички любят наблюдать за такими действующими на воображение пустяками, как впадина в подушке, увиденная через лобную кость, сквозь изрытый извилинами мозг, затылочную кость и черные волосы. В начальной стадии нашего нового бытия, всегда завораживающего, иногда страшного, этот род невинного любопытства (дитя играет с извивающимся отражением в воде ручья, в арктическом монастыре монахиня родом из Африки трогает с наслаждением хрупкий циферблат своего первого в жизни одуванчика) не есть нечто исключительное, особенно если проследить жизнь персонажа от юности до самой смерти вместе с размытыми окружающей материи. Сей персонаж – Персон – медлил на воображаемом пороге воображаемого блаженства, когда приблизились Армандины шаги, дважды вычеркнув «воображаемый» на полях корректуры (вечно на них не хватает места для вопросов и поправок). Вот когда оргазм искусства струится по позвоночнику с силой куда большей, чем при сексуальном экстазе или метафизической панике.

В миг ее теперь уже неизгладимого появления в прозрачных дверях комнаты он почувствовал восторг, как бывает при взлете: пользуясь неогомеровской метафорой – земля наклоняется, потом снова возвращается в горизонтальное положение, и практически без затрат времени и пространства мы уже поднялись на тысячи футов над землей, и облака (легкие, пушистые, очень белые, разделенные более или менее широкими промежутками) как бы разложены на плоском стекле небесной лаборатории, сквозь которое далеко внизу, на прятничной земле, виднеется то изрезанный шрамами склон, то круглое индигового цвета озеро, то темная зелень соснового леса, то вкрапления деревень. Тут подходит стюардесса с прохладительными многоцветными напитками, – это Арманда, она только что приняла его предложение, хоть он и предупреждал, что она многое преувеличивает, например удовольствие от вечеринок в Нью-Йорке, его положение в издательстве, будущее наследство – писчебумажное дельце его дяди, горы в Вермонте, – и в этот момент аэроплан взрывается с ревом и надсадным кашлем.

Закашлявшись, наш Персон сел на кровати и в душном мраке стал нащупывать выключатель, но от щелчка было столько же толку, сколько от усилий паралитика подняться с места. Поскольку в его прежней комнате на четвертом этаже кровать стояла у другой, северной стены, он кинулся, как оказалось, к двери и отворил ее настежь, вместо того чтобы попытаться, как он думал, спастись через окно, не

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
запертое на щеколду и распахнувшееся, как только роковой сквозняк принес клубы  
дыма из коридора.

Пламя, сначала питавшееся подкинутым в подвал промасленным тряпьем, потом  
поддержанное более летучей жидкостью, предусмотрительно разбрызганной по  
лестнице и коридорам, быстро распространилось по гостинице – однако «к счастью»,  
как выразилась на следующее утро местная газета, «погибло лишь несколько  
человек, так как занято было всего несколько номеров».

Теперь языки огня краснокожей колонной поднимались по лестнице – один за другим,  
парами, тройками, рука об руку, со счастливым гуденьем между собой  
переговариваясь. Но Персона загнал обратно в комнату не трепещущий их жар, а  
едкий черный дым; простите, сказал учтивый огонек, придерживая дверь, которую он  
тщетно старался закрыть. Окно хлопнуло с такой силой, что стекла разлетелись  
каскадом рубинов. Уже смертельно задыхаясь, он подумал, что буря снаружи, должно  
быть, способствует пожару внутри. Наконец, спасаясь от удушья, он сделал попытку  
вылезти наружу, но на этой стороне ревущего дома не было ни балконов, ни  
выступов. Когда он добрался до окна, длинный язык с заостренным бледно-голубым  
кончиком, танцуя, остановил его изящным жестом руки в перчатке. Сквозь рушащиеся  
дощатые перегородки и падающую штукатурку до него донесли человеческие вопли,  
и одним из его последних ложных умозаключений была мысль, что это крики людей,  
спешивших к нему на помощь, а не стоны товарищей по несчастью. Вокруг него  
вращались пестрые кольца, и ему на мгновение вспомнились овощи из жуткой детской  
книжки – победно кружащиеся, все быстрее и быстрее, вокруг мальчика в ночной  
рубашке, который тщетно пытается пробудиться от радужного головокружения сна.  
Последнее сновидение – раскаленная добела книга или коробка, совершенно пустая,  
прозрачная, просвечивающая насквозь. Это, наверное, оно и есть: не грубая боль  
физической смерти, а ни с чем не сравнимые муки таинственного сдвига в сознании,  
требуемого, чтобы с одного плана бытия перейти на другой.

Легче, сынок, легче – сама, знаешь, пойдет!

Сноски

1

Гессен И. В. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979.

2

См. предисловие Дж. Мальмстеда к его публикации писем Ходасевича Набокову:  
Минувшее. Исторический альманах. № 3. Париж, 1987. С. 277.

3

Russian Poetry and Literary Life in Harbin and Shanghai, 1930–1950. The Memory  
of Valerij Pereleshin / Ed. in Russian and with an introduction by J. P.  
Hinricks. Amsterdam, 1987. P. 44.

4

Мойнаган Дж. Предисловие // Набоков Вл. Приглашение на казнь. Париж, [s. d.]. С.  
12.

5

См.: Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая //  
Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 125–160.

6

Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 252.

7

Набокова В. Предисловие // Набоков В. Стихи. Анн Арбор, 1979. С. 4.

8

Новый журнал (Нью-Йорк). 1942. № 2. С. 377.

9

«Фиалки» (фр.).

10

Биографический роман (фр.).

11

«Эта ужасная англичанка» (фр.)

12

«Эта чудесная женщина» (фр.).

13

(Мадемуа)зель (фр.).

14

Совсем легкий шлепок (фр.).

15

«Безжалостная красавица» (фр.).

16

«Смерть Артура» (фр.).

17

«Обретенное время» (фр.).

18

Bons-bons – конфеты (фр.).

19

Мировая скорбь (нем.).

20

Позер, любитель порисоваться (фр.).

21

У нас много было красивых дам (фр.).

22

Кожаные сигаретницы (фр.).

23

Удостоверение на право работы (фр.).

24

Светской кокотки (фр.).

25

Ну да, она самая что ни на есть русская (фр.).

26

Какая странная история! (фр.)

27

Разумеется (фр.).

28

Она сводит людей с ума (фр.).

29

Это я (фр.).

30

Иди, иди, голубчик (фр.).

31

У меня есть для вас маленький сюрприз (фр.).

32

Что в пределах разумного вам хотелось бы к чаю (фр.).

33

Вне сравнения (фр.).

34

Женское сердце никогда не воскреснет (фр.).

35

Полюбуйтесь!

36

Господин хороший (фр.).

37

Ах нет, увольте, я же не записная книжка моей подруги. А вы как думали? (фр.)

38

Очень живая (фр.).

39

Неожиданно (фр.).

40

Молодыми любителями повеселиться (фр.).

41

Веселой жизнерадостностью, которая, впрочем, вполне уживается с врожденным философским чувством, как бы религиозным восприятием явлений жизни (фр.).

42

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Роковая женщина? (фр.)

43  
Ну что, согласны? (фр.)

44  
Рад с вами познакомиться (фр.).

45  
Мне очень жаль (фр.)

46  
Друг мой (фр.).

47  
Послушайте (фр.).

48  
Знаете, это невежливо (фр.).

49  
Господин Упрямец (фр.).

50  
Навязчивой идеей (фр.).

51  
Наверное, вы, умираете от голода (фр.).

52  
Там, наверное, ужасная скучища, не так ли? (фр.)

53  
Тем лучше (фр.).

54  
Тогда вы странный человек, милостивый государь (фр.).

55  
Вы не очень-то любезны (фр.).

56  
Что это у меня на шее? (фр.)

57  
Вы с ума сошли! (фр.)

58  
Состояние безнадежно (фр.).

59

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Есть опасность... (фр., ит.)

60  
Кожи, шкуры (фр.).

61  
Цирковой артист, комик (фр.).

62  
«Да здравствует народный фронт!» (фр.)

63  
Всё, нашел (фр.).

64  
Нет, ведь он пациент доктора Гинэ (фр.).

65  
Не так ли? (фр.)

66  
Боже мой! (фр.)

67  
Прекрасная комната на четвертом этаже (фр.).

68  
«Магазин готового платья. Триумфальная распродажа уцененных товаров» (фр.).

69  
Омара по-американски (фр.).

70  
Роскошная дача (фр.).

71  
«Частица не сочетается с последним слогом моего имени» (фр.).

72  
Краях (фр.).

73  
Распахни свой хитон, деянира (фр.).

74  
На свой костер (фр.).

75  
Расскажите мне о ее (фр.).

76

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Совсем фашист? (фр.)

77  
Нет, совсем наоборот (фр.).

78  
Сам-то он (фр.).

79  
Родинкой (фр.).

80  
Рассыльных (фр.).

81  
Вдвоем (фр.).

82  
Урожденная (фр.).

83  
«Тогда пойдем в дом» (фр.).

84  
В стиле модерн (фр.).

85  
Вуайер поневоле (фр.).

86  
Ресторанчик (швейц., фр.).

87  
Точно к семи часам (фр.).

88  
Псевдоним путешественника (фр.).

89  
Вьюга (фр.).

90  
Бесцеремонностью (фр.).

91  
Другими словами (лат.).

92  
Желто-синяя берцовая кость (англ.).

93

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Господину (фр.).

94  
Кафе «Ледник» (фр.).

95  
Горнолыжные термины, обозначающие особого вида повороты.

96  
Вдвоем (фр.).

97  
Закусочной (фр.).

98  
Здравствуйтесь (нем.).

99  
Горести (фр.).

100  
Изумленные скалы (фр.).

101  
Нечто выпученное, вытарашенное (фр.; неологизм).

102  
Эгоизм, самовлюбленность (фр.).

103  
Служанка (фр.).

104  
Большой палец (фр.).

105  
Операция (ит.).

106  
Совершенно, прекрасно (ит.).

107  
Печени (ит.).

108  
Не знаете ли вы, мадам... (фр.)

109  
Мать (фр.).

110

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Дочь (фр.).

111

«Помню, помню я дом, где родился» (фр.).

112

«Красавчик Ромео» (фр.).

113

Что же (фр.).

114

Так называемых (фр.).

115

Но (фр.).

116

Подмышка (фр.).

Комментарии

1

Роман был написан в декабре 1938 – январе 1939 г. в Париже. Вышел в 1941 г. в американском издательстве «New Directions», затем неоднократно переиздавался.

Фамилия и имя главного героя, вынесенные в заглавие книги, требуют некоторых пояснений. Английское Knight имеет два основных значения: «рыцарь» и «шахматный конь», которые неоднократно обыгрываются в тексте. Немаловажно также, что оно омофонично существительному night (ночь), графически полностью в нем заключенному. Кроме того, для понимания романа существенны его частичные анаграммы – русское «книг(а)» и английское «King» (король), которые актуализированы в последней главе, где герой называет первые четыре буквы своей фамилии, а затем по ошибке проводит ночь у постели некоего Кигана (полная анаграмма русского «книга»). Отметим в этой связи, что фамилии различных действующих лиц соотносятся с названиями всех шахматных фигур (см. вступительную статью), за исключением короля: главная фигура спрятана, и задача внимательного читателя – ее разыскать.

Имя Себастьян в контексте романа должно вызывать ассоциации не только с католическим святым мучеником, но и с двумя шекспировскими персонажами: в «Двенадцатой ночи» его носит считающийся погибшим брат Виолы (ср. В. – криптоним повествователя), похожий на нее как две капли воды; в «Буре» – брат короля, претендующий на его корону.

Ряд реальных комментариев к тексту романа составил один из его переводчиков – А. Б. Горянин. Не имея возможности каждый раз особо оговаривать его авторство (или соавторство), приносим ему искреннюю благодарность.

2

...эту оологическую аллитерацию. – Оология – раздел орнитологии, изучающий птичьи яйца. Как отметили Г. Левинтон и И. Паперно, эта аллюзия указывает не только на троекратное повторение начального «О» в имени, отчестве и фамилии (кстати, «птичьей») Ольги Олеговны Орловой, но и на начало повествования ab ovo (букв.: «от яйца»; ср. Орлова), в русской литературной традиции соотносящееся с «Езерским» Пушкина. Кроме того, она отсылает и к русской истории, поскольку Олег и Ольга следовали друг за другом на киевском престоле, а род Орловых играл значительную роль в XVIII в. Тогда описание дневника Орловой может быть понято как намек на русские летописи, которые, как известно, тоже начинались ab ovo (см.: A Soviet Review of J. Lokranz // Russian Literature Triquarterly. 1977, № 14).

3

Южный Кенсингтон – фешенебельный район Лондона с осязательным иностранным, особенно французским, присутствием; славится многочисленными музеями, галереями и учебными заведениями.

4

Болезнь Лемана (ориг. *Lehmann's disease*) – такая болезнь медицине не известна. По предположению американской исследовательницы Присциллы Мейер, Набоков имел в виду датского психолога Георга Людвиг Лемана (1858–1921), автора переведенной на все языки книги «Суеверие и магия», и, следовательно, намекал на сверхъестественную природу сердечной болезни матери Себастьяна, которой страдает и сам герой. (См.: Meyer P. *Life as Annotation: Sebastian Knight, Nathaniel Hawthorne, Vladimir Nabokov* // *Cycnos*. 2007. Vol. XXIV, № 1. P. 193–202). Для англоязычного читателя конца 1930-х гг., на которого ориентировался Набоков, значительно более актуальными были ассоциации с довольно популярными тогда романами Розамонд Леман (*Rosamond Lehmann*, 1901–1990), входившей в круг так называемых блумсберийцев, лондонских элитарных интеллектуалов. Главная тема этих романов – «разбитое сердце» любящей женщины. Нельзя исключить и намек на озеро Леман (*Léman* – французское название Женевского озера) со всей его богатейшей литературной аурой (ср. слова персонажа рассказа Бунина «Тишина» (1901), глядящего на Женевское озеро: «Какое это великое счастье – жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни? Вот на этом озере были когда-то Шелли, Байрон... потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пойдем и мы с тобой...»). В Лозанне, на берегу Лемана, живет старая гувернантка Себастьяна Найта и рассказчика, тоскующая по чужой для нее России.

5

«Чамз» (англ. «Chums») – букв.: школьные друзья, приятели, товарищи. Так назывался популярный английский еженедельник для мальчиков школьного возраста, выходивший с 1892 по 1932 г. В нем впервые был напечатан «Остров сокровищ» Стивенсона.

6

...вместо подписи... стоял шахматный конь... – См. преамбулу к комментариям.

7

...совсем другой Рокбрюн... – Действительно, на французской Ривьере есть два городка с таким названием: Рокбрюн-Кап-Мартен (департамент Приморские Альпы) и Рок-брюн-сюр-Аржан (департамент Вар).

8

Лет двадцать спустя я совершил поездку в Лозанну, чтобы разыскать старую швейцарку, в прошлом гувернантку Себастьяна, потом мою. – Эпизод с визитом к старой гувернантке восходит к автобиографическому рассказу Набокова «Мадемуазель О», написанному и опубликованному по-французски (1936), а затем переработанному для автобиографической книги «Память, говори» и ее русского варианта «Другие берега».

9

...акварелью Шильонского замка... – Имеется в виду средневековый замок на берегу Женевского озера, долгое время использовавшийся как место заключения. Широкую известность ему принесла поэма Байрона «Шильонский узник», переведенная на русский язык В. А. Жуковским.

10

...холмы, что запомнились голубыми, и блаженные дороги... – Цитаты из стихотворения

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
английского поэта Альфреда Хаусмена (Alfred Edward Housman, 1859–1936),  
вошедшего в его сборник «Парень из Шропшира» под № 40.

11

...живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза... – Реминисценция стихотворения английского поэта Руперта Брука (1887–1915) «Старый дом приходского священника. Гранчестер» (1912). Набоков, в молодости увлекавшийся Бруком, посвятил ему большое эссе, куда включил целый ряд поэтических и прозаических переводов его стихов. В финале этого эссе он упоминает как раз стихотворение о Гранчестере и цитирует ставшее крылатым выражение «неофициальная роза»: «И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер – волшебный городок. Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук, в душный летний день, с упоением вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выражениях, как говорил о благоуханной гавайской лагуне, ибо лагуна эта была, в сущности, все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, из которых там и сям выглядывает „неофициальная английская роза“. В непереводимых журчащих стихах он заставлял сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан» (Грани. 1922. № 1. С. 230; Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 743).

12

...поэт-футурист Алексей Пан... – По точному наблюдению В. Мордерер, «портрет и творческие характеристики А. Пана в романе сплетены из лоскутного набора признаков десятка футуристов» (Мордерер В. Ариозо Велимира в мюзикле Набокова // [www.ka2.ru/nauka/valentina-14.html](http://www.ka2.ru/nauka/valentina-14.html)). Среди возможных прототипов – тезка Пана Алексей Крученых, человек маленького роста, автор знаменитого заумного стихотворения «Дыр бул щыл...», а также Маяковский, обладатель «громоподобного голоса», и его друзья, Бурлюк и Василий Каменский, разъезжавшие в 1914 г. по провинции: «Маяковский ездил в яркошелковых распашонах, в цилиндре. Давид Бурлюк – в сюртуке, с неизменным лорнетом, с раскрашенным лицом, в цилиндре. Василий Каменский – в коричневом костюме с нашивными яркими лоскутами, с раскрашенным лицом, в цилиндре» (Каменский В. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918. С. 24). Как заметила В. Мордерер, фамилия Пан через латинское panis (хлеб; ср. фр. pain; ит. pane) может отсылать к Хлебникову.

13

...чудо словесной трансфузии: «La Belle Dame Sans Merci» Китса. – Весьма слабый перевод этого стихотворения («Ах, что мучит тебя, горемыка...»), выполненный Набоковым, вошел в его ранний стихотворный сборник «Горний путь» (Берлин, 1923. С. 165–166; Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 554).

14

На его лысый лоб было нанесено созвездие Большого Пса. – В. Мордерер предположила, что это намек на Н. И. Кульбина, близкого к футуристам художника-авангардиста, активного участника публичных собраний, диспутов и чтений, одного из основателей прославленного петербургского кабаре «Бродячая собака», для которого он нарисовал плакат и марку «Созвездие Большого Пса» (<http://ruslit.traumlibrary.net/book/futuristy-kulbin/futuristy-kulbin.html>).

15

...злонамеренный китаец... и спокойный здоровяк... – По-видимому, намек на популярные приключенческие романы английского писателя Сакса Ромера (псевдоним Артура Сарсфилда Уорда; 1886–1959), в которых главному герою – невозмутимому британскому джентльмену неизменно противостоит злодей-китаец Фу Манчу.

16

...так мстительное привидение носит под мышкой собственную голову... – Привидение с отрубленной головой под мышкой – распространенный мотив шотландского и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru английского фольклора. В 1935 г. большую популярность в Англии получила песенка «Анна Болейн» – о мстительном привидении казненной жены короля Генриха VIII, которое бродит по Тауэру «with her head tucked underneath her arm» («засунув голову под мышку»).

17

...вязов (а не дубов, как обещало название улицы). – По-английски «Оук» (Oak) значит «дуб».

18

Бишоп. – Эта фамилия так же шахматно окрашена, как и фамилия Найт: англ. Bishop – епископ и шахматный слон.

19

...словно кот с девятью... – Здесь подразумевается английская поговорка «A cat has nine lives» («У кошки девять жизней») в значении «Все живое цепляется за жизнь» (ср. «живуч как кошка»).

20

...снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию... – Вероятно, речь идет о сенсационной документальной фотографии «Отсечение головы в Бангкоке, столице Сиам», обошедшей в двадцатые годы многие иллюстрированные издания мира (см., например: ИКС. Иллюстрации к «Сегодня». Еженедельник. Рига, 1923. № 1. С. 17). Тот же снимок, запечатлевший самый момент обезглавливания, упомянут в автобиографической книге Набокова «Другие берега» (гл. 13).

21

...названия складываются в неотчетливую... музыкальную фразу... – Список книг Себастьяна Найта не просто характеризует круг чтения героя, но и представляет собой (подобно списку класса в «Лолите») своего рода словарь основных тем, мотивов и источников романа; фактически в каждом наименовании (и/или в стоящем за ним тексте, а также творческой биографии автора) можно обнаружить определенную параллель к структуре, системе образов и значений, сюжету «Истинной жизни Себастьяна Найта». Так, само многоязычие списка (равно как и включение в него «Англо-персидского словаря»; ср., кстати, уподобление Нины Речной персидской принцессе) указывает на важную для романа тему двух языков и перехода с одного из них на другой; как и роман, он строится, на значимых «музыкальных» авторах, которые прослеживаются на нескольких уровнях: фонетическом (Артур – Автор, Алиса – Улисс), лексическом (два короля в названии трагедии Шекспира и романа американского писателя Торнтон Уайлдера, 1897–1975; две «дамы»: в рассказе Чехова и в романе Флобера) и тематическом (супружеская измена в «Даме с собачкой» и «Мадам Бовари», гибель короля в «Смерти Артура» – романе о рыцарях Круглого стола английского писателя XV в. Томаса Мэлори, и в «Гамлете», соперничество братьев в «Гамлете» и в романе «Мост короля Людовика Святого», странствие в иной мир в сказке Л. Кэрролла и в мифе об Улиссе, отсутствие/изменение телесной оболочки в «Человеке-невидимке» Г. Уэллса и в повести Р. Л. Стивенсона «Странное происшествие с доктором Джекилом и мистером Хайдом»). Напротив, тематически контрастную пару составляют романы двух писателей, известных одним и тем же отклонением от сексуальной нормы, – «Южный ветер» (1917) англичанина Нормана Дугласа (1868–1952), действие которого происходит на острове Забвения, и «Обретенное время», последняя книга цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста, где, по словам Набокова, «протянут мост между прошедшим и настоящим» (отметим, что в своих лекциях Набоков называл мировидение Пруста «призматическим» – ср. название первой книги Найта).

Если на одном полюсе списка, начинающегося и заканчивающегося трагедией Шекспира, – прославленные шедевры мировой литературы, то другой занимают две совершенно забытые книги: сборник повестей и фельетонов английского писателя-юмориста, редактора знаменитого юмористического журнала «Панч» Фрэнсиса Коули Берненда (1836–1917) «О покупке лошадей и прочем, и прочем» (1875), входящий в цикл «Счастливые мысли по случаю», и комический роман «Автор „Трикси“» (1924) плодовитого английского беллетриста Уильяма Кейна (1873–1925), одного из постоянных поставщиков «легкого чтения» на книжный рынок 1910-х гг.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru При желании упоминание об этих книгах может быть связано с шахматными мотивами романа: английское «horse», переведенное на русский, дает нам «коня», а «Автор „Трикси“», открывающийся сентенцией, произнесенной епископом (то есть «слоном» – см. прим. к с. 58), завершается его смертью и возведением в епископский сан главного героя (заметим, кстати, что о названиях шахматных фигур, кроме того, напоминают короли и дамы (фр. Dame – ферзь) списка, а косвенно еще и «рыцари-кони» «Смерти Артура»). Однако вряд ли Набоков имел в виду подобную игру, ибо для включения в «музыкальную фразу» произведений Берненда и Кейна у него были более веские основания. Оба они относятся к «низшим», смеховым литературным жанрам (ср. жаргонное значение слова «horse» – шутка), которые играют столь большую роль в поэтике как Себастьяна Найта, так и Набокова (ср., например, повторяющиеся в романе сравнения художественного творчества с цирковым представлением, фокусом, клоунадой, чревовещанием, восходящие к цирковым юморескам Берненда, или чрезвычайно характерное суждение Найта о том, что для него гармония есть соединение рисунка в «Панче» с витиеватой фразой из «Гамлета»); в обоих на первый план выходит проблема построения шутовской повествовательной маски, которая столь важна для Набокова; более того, сам сюжет «Автора „Трикси“» является ключом к сложной набоковской игре с ролями главного героя, повествователя и «истинного» автора текста.

Набоков переосмысляет и «переводит» на язык другого жанра анекдотическую, откровенно водевильную фабульную схему романа Кейна, герой которого – добропорядочный священник и ученый-теолог, кандидат в епископы, – неожиданно для самого себя тайком сочиняет бульварный роман. Чтобы не повредить своей безупречной репутации, он не рискует опубликовать под своим именем опус, названный женским именем Трикси (сокращение от Беатрис; обыгрывается также его созвучие с tricks – трюки, фокусы, ловкие приемы, обманы), и использует в качестве подставного лица жениха (позже – мужа) своей дочери. Роман имеет бешеный успех, и его честолюбивый тайный автор начинает завидовать славе, выпавшей на долю его «заместителя», и требовать от него раскрытия тайны, но тот уже вошел в роль популярного писателя и отнюдь не желает разоблачения. После всяческих смешных и нелепых недоразумений вопрос об «Авторе „Трикси“» попадает на рассмотрение литературного комитета, среди членов которого появляется и сэр Уильям Кейн, то есть «истинный» романист (он, правда, изменил написание своей фамилии: Кеупе вместо Сапе – и присвоил себе дворянский титул). Дело кончается ко всеобщему удовлетворению: священник становится епископом, его зять остается знаменитым беллетристом, и автор завершает повествование почти набоковскими фразами: «Ну что, отпустим их [героев] восвояси? – Отпустим» (ср., например, финал рассказа «Облако, озеро, башня», где автор отпускает на волю своего «представителя»). Фабула Кейна у Набокова спрятана глубоко в текст, замаскирована, трансформирована в тайну самого повествования: лишь в процессе чтения мы постепенно начинаем подозревать, что дилетант В. никакой не биограф Себастьяна Найта, а его маска, «подставное лицо», и наконец в финале вместе с рассказчиком окончательно понимаем, что за обоими братьями все время стоял некто третий, «не известный ни ему, ни мне», и что «истинная жизнь» – это сама книга.

Кроме романа Кейна, на игру с триадой авторов «Истинной жизни Себастьяна Найта» косвенно указывают и некоторые другие названия в списке: «Человек-невидимка» намекает на невидимого третьего, «Смерть Артура» – на смерть Автора (и в прямом, и в переносном смысле), «Алиса в Стране чудес» – на финал романа, где вокруг В. начинают кружиться персонажи произведений его брата, подобно тому как в финале сказки Кэрролла вокруг сестры Алисы начинают кружиться персонажи ее волшебного сна, «Доктор Джекил и мистер Хайд» – на раздвоенность-слитность субъекта и объекта повествования.

22

...что тот «конрадообразен»... – Критик упрекает Себастьяна Найта в подражании английскому писателю польского происхождения Джозефу Конраду (наст. имя – Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857–1924). Далее в оригинале следует непереводаемый каламбур, основанный на семантизации обеих частей прилагательного «conradish» («конрадообразный»), – совет начинающему прозаику «leaving out the „con“ and cultivating the „radish“ in future works», то есть буквально «забыть про капитанскую рубку» (намек на профессию Конрада, который был капитаном английского торгового флота) и «в будущих произведениях заняться выращиванием редиса». Однако многозначность слов «con» (его другие значения: учиться, много знать; негативно относиться к чему-то; консерватор, консерватизм; обман, фокус; игра слов, каламбур) и «cultivate» (не только «выращивать», но и «развивать»,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru поощрять»), а также возможность переосмыслить «radish» (редис, редиска) либо в непосредственной связи с его латинской этимологией (от radix – корень, нижняя часть, основание), либо в связи с другими производными от того же корня (радикал, радикальный) оставляют простор для множества истолкований. Рекомендация критика может быть понята как в литературном, так и в политическом и даже эротическом (ср. фр. груб. cop – вагина) планах: «меньше консерватизма, больше радикализма», «отбросить ученость (книжность, начитанность) и обратиться к основам (корням, истокам)», «отказаться от шуток (обманов, каламбуров, игр) и заняться земными проблемами» и т. д.

23

...многое в Кембридже пришлось ему по нраву... – Набоков учился в Кембридже – в том же самом колледже Святой Троицы (Тринити), что и Себастьян Найт, – с 1919 по 1922 г. Помимо «Истинной жизни...» студенческие впечатления отразились в его эссе «Кембридж» (1921), «Университетской поэме» (1927) и романе «Подвиг» (1931–1932), а также в автобиографической книге «Другие берега» (1954) и ее английских вариантах (1951, 1967). Многие детали описания жизни Себастьяна Найта в Кембридже имеют аналоги в этих произведениях.

24

Хэнсом-кэб – легкий двухколесный экипаж с кучером, располагающимся позади и выше кабины для пассажиров (по имени изобретателя Дж. А. Хэнсома; 1803–1882).

25

Большой двор – обширный четырехугольный двор с фонтаном под каменной беседкой посередине, окруженный основными зданиями колледжа Св. Троицы (Тринити) в Кембридже.

26

«Питт» – мужской клуб в Кембридже (основан в 1835 г.), членами которого состоят преимущественно выпускники привилегированных частных школ.

27

...густого или прозрачного? – Этот традиционный вопрос английские официанты задают, желая выяснить, какой суп подать клиенту.

28

Файвз – игра в мяч при двух или четырех участниках на специальных кортах, закрытых с трех сторон стенами для отскока.

29

...икры Генриха Восьмого так и напрашивались на щекотку. – Колледж Св. Троицы в Кембридже был основан в 1546 г. королем Генрихом VIII (1509–1547); поэтому его изображения украшают многие помещения. Здесь имеется в виду парадный портрет Генриха в полный рост, висящий в огромном обеденном зале (Холле), – копия XVII века с несохранившейся картины Г. Гольбейна.

30

Тьютор (англ.) – индивидуальный наставник студентов в колледжах Оксфордского и Кембриджского университетов.

31

Задворки (the backs) – живописные сады и лужайки вдоль реки Кем; названы так, поскольку находятся «на задах» кембриджских колледжей.

32

Мастер – титул главы некоторых колледжей в Кембридже.

33

Сен-Дамье – вымышленный топоним (ср. Сен-Дамьен, город во французской Канаде), входящий в ряд шахматных образов романа.

34

...престижные скобки... – Имеется в виду характерный для стиля М. Пруста длинный период с многочисленными уточнениями и отступлениями в скобках. Эта аллюзия отсылает нас к списку книг Себастьяна Найта, литературно-шахматные отголоски которого пронизывают в дальнейшем весь текст. Так, уже в этом письме метафоры «башня моей прозы» и «аллюр коня» напоминают, соответственно, о Флобере с его «башней из слоновой кости» и о книге «О покупке лошади», а также о двух шахматных фигурах – туре (фр. башня) и коне.

35

Мария Корелли (1855–1924) – английская беллетристка, автор многочисленных мелодраматических и назидательных романов, пользовавшихся успехом у самых невзыскательных читателей и особенно читательниц. В «Других берегах» Набоков вспоминает, как одна из его английских гувернанток, «ужасная старуха», читала ему вслух «повесть Марии Корелли „Могучий Атом“ о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника».

36

...племянники старой миссис Гранди. – Ставшая крылатой фраза «Что скажет миссис Гранди?» из комедии Томаса Мортонна (1764–1838) «Подталкивай плуг» (1798) по смыслу аналогична восклицанию в финале «Горя от ума»: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Сама миссис Гранди в пьесе так ни разу и не появляется на сцене, но, судя по репликам других персонажей, является высшим авторитетом по части ханжеской морали в глазах своих соседей.

37

...лицо г-на Гудмэна обладало... сходством с коровьим выменем. – Реминисценция строк из «Заблудившегося трамвая» Гумилева: «В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне...»

38

Годфри Гудмэн (1583–1656) – епископ англиканской церкви, тайно перешедший в католичество.

39

Сэмюэл Гудрич (1793–1860) – американский писатель, редактор альманаха «Тоукен», автор многочисленных назидательных сочинений для детей, опубликованных под псевдонимом Питер Парли. Его пространные «Воспоминания» (1856) не отличаются особой достоверностью.

40

Босуэлл Джеймс (1740–1795) – автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюэла Джонсона (1709–1784), основанной на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла – нарицательным для образцового биографа.

41

Это из старой... книги Джерома К. Джерома. – Анекдот о кошачьем концерте под окном заимствован из романа Джерома К. Джерома (1859–1927) «Three Men on a Bicycle» (1900; переводится обычно как «Трое на велосипедах»), продолжения его более известной книги «Трое в лодке, не считая собаки» (указано Д. Циммером).

42

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
...шла речь о юном толстяке-студенте... – То есть о шекспировском Гамлете. В пятом акте трагедии Гертруды, наблюдающая за поединком Гамлета и Лаэрты, говорит о сыне: «He's fat and scant of breath» (букв.: «Он толст и запыхался»).

43

...монах в черной рясе... рассказ Чехова. – Конечно же, имеется в виду «Черный монах» (1894). Отметим, что по-английски он был напечатан в сборнике «Дама с собачкой и другие рассказы» и, таким образом, тоже связан со списком книг Себастьяна Найта.

44

Джагернаут – в индийской мифологии одно из воплощений Вишну. Обычно этим именем называют статую божества в храме священного города Пури, которую ежегодно во время празднеств вывозят на огромной колеснице. В Европе широкое распространение получила легенда о том, что фанатики-паломники бросаются под колеса этой колесницы и гибнут, «раздавленные Джагернаутом». Отсюда – использование этого образа как клише в англо-американской журналистике (Джагернаут войны, Джагернаут империализма и т. п.).

45

...у меня бывали киплингские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения. – Набоков передает Себастьяну Найту свои юношеские привязанности к трем из ведущих английских поэтов 1890–1910-х гг. – Р. Киплингу (любопытно, что в эссе о Бруке он цитировал хрестоматийные строки из киплингского «Сассекса» о любви к «родному уголку»), Р. Бруку и Алфреду Эдуарду Хаусмену (см. прим. к с. 46). О встречах с Хаусменом – профессором Кембриджского университета – в обеденном зале колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии «Память, говори»; там же он признает, что стихи английских поэтов-«георгианцев» (к которым обычно относят в первую очередь Р. Брука и А. Хаусмена) прямо воздействовали на его раннюю поэзию, «бегая по нему и по его комнате в Кембридже как ручные мыши».

46

«Хэрродс» – один из самых крупных и дорогих универмагов Лондона.

47

Нью-форест – живописный лесистый район на юге Англии, охотничьи угодья королевской семьи; по описанию путеводителей, «рай для энтомологов».

48

«Дрозд дает сдачи». – В этом названии (в оригинале «Cock Robin Hits Back») содержится понятная любому англичанину отсылка к детскому стишку «Who Killed Cock Robin» (букв. «Кто убил малиновку»), входящему в сборник «Стихи Матушки Гусыни». Замена малиновки на дрозда в переводе обусловлена мужским родом птицы (cock – самец). Если убитую птицу в стишке закапывают в землю, то убитый герой в романе Себастьяна Найта неожиданно восстает из мертвых, предсказывая тем самым судьбу своего автора.

49

...сродни ветхому софизму о новом лезвии на новой рукоятке... – Имеется в виду парадокс, именуемый обычно «нож Жанно» (англ. «Jeannot knife»; фр. «couteau de Jeannot») и излагаемый в форме притчи: у крестьянина Жанно был любимый нож, с которым он никогда не расставался. Когда у ножа изнашивались лезвие или рукоятка, он их менял на новые, и это повторялось 15 или 20 раз, но нож так и оставался тем самым «ножом Жанно».

50

Кью-Гарденз – ботанический сад в Лондоне.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
51

Ричмонд-парк – огромный парк на юго-западной окраине Лондона.

52

Донн Джон (1572–1631) – английский поэт так называемой «метафизической школы». Интерес к его усложненной метафорической поэзии значительно возрос в 1920-е гг.

53

...синусах Вальсальвы. – Пространства между полулунными заслонками аортальных клапанов и стенкой аорты носят название синусов Вальсальвы, по имени болонского профессора анатомии (Antonio Maria Valsalva, 1666–1723). Аневризма синусов может привести к их разрыву.

54

Болезнь Лемана (ориг. Lehmann's disease) – такая болезнь медицине не известна. По предположению американской исследовательницы Присциллы Мейер, Набоков имел в виду датского психолога Георга Людвиг Лемана (1858–1921), автора переведенной на все языки книги «Суеверие и магия», и, следовательно, намекал на сверхъестественную природу сердечной болезни матери Себастьяна, которой страдает и сам герой. (См.: Meyer P. Life as Annotation: Sebastian Knight, Nathaniel Hawthorne, Vladimir Nabokov // Cynos. 2007. vol. XXIV, № 1. P. 193–202). Для англоязычного читателя конца 1930-х гг., на которого ориентировался Набоков, значительно более актуальными были ассоциации с довольно популярными тогда романами Розамонд Леман (Rosamond Lehmann, 1901–1990), входившей в круг так называемых блумсберийцев, лондонских элитарных интеллектуалов. Главная тема этих романов – «разбитое сердце» любящей женщины. Нельзя исключить и намек на озеро Леман (Léman – французское название Женевского озера) со всей его богатейшей литературной аурой (ср. слова персонажа рассказа Бунина «Тишина» (1901), глядящего на Женевское озеро: «Какое это великое счастье – жить, существовать в мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! И все же мы несчастны! В чем дело? В кратковременности нашей, в одиночестве, в неправильности нашей жизни? Вот на этом озере были когда-то Шелли, Байрон... потом Мопассан, одинокий и носивший в своем сердце жажду счастья целого мира. И все мечтатели, все любившие и молодые когда-то, все, которые приходили сюда за счастьем, все уже прошли и скрылись навсегда. Так пойдем и мы с тобой...»). В Лозанне, на берегу Лемана, живет старая гувернантка Себастьяна Найта и рассказчика, тоскующая по чужой для нее России.

55

...суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве... – Наибольшую известность из ряда английских романов, в которых эксплуатировался этот «модный фокус», получили вошедший в список книг Найта «Южный ветер» Н. Дугласа (см. прим. к с. 61) и «Желтый Кром» О. Хаксли.

56

Персиваль. – Имя героя отсылает к легендам артуровского цикла, и в частности к «Смерти Артура», где сэр Персиваль, сын короля Пеллинора, – один из трех рыцарей, нашедших после долгих странствий Святой Грааль. По своей структуре «Успех» Найта близок к «Мосту короля Людовика Святого» Т. Уайлдера (см. прим. к с. 61), который строится как ретроспективное исследование судеб нескольких людей, случайно погибших в одной катастрофе.

57

«Женщина в белом». – По знаменитому роману Уилки Коллинза «Женщина в белом» было сделано три одноименных немых фильма, в 1912, 1917 и 1929 гг. Последний из них поставил английский режиссер Герберт Уилкок (1890–1977).

58

...словно соглядатай за шпалерой... – Аллюзия на сцену убийства Полония в «Гамлете»: он подслушивает разговор, прячась за ковром, и Гамлет протыкает его шпагой (акт III, сц. IV).

59

...Тонем гусеницы из «Алисы в Стране чудес». – Очередная отсылка к книге из библиотеки Себастьяна Найта (см. прим. к с. 61). В соответствующей сцене сказки Кэрролла есть очевидные параллели к разговору В. с управляющим гостиницей.

60

...руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы... – Намек на канон живописных изображений тезки героя – святого Себастьяна, тело которого на многочисленных картинах обычно пронзают стрелы.

61

Хелене фон Граун. – Набоков использует здесь фамилию своих немецких предков по линии прадеда с отцовской стороны, барона Фердинанда Николауса Виктора фон Корфа (1805–1869), генерала на русской службе, который, в свою очередь, был правнуком известного композитора – Карла Генриха Грауна (1701–1759), автора многих опер и других музыкальных сочинений.

62

Картина опять меняется, как в Байроновом сне. – Аллюзия на стихотворение Байрона «Сон» (1816), имеющее автобиографический характер: поэт вспоминает свою несчастливую юношескую любовь к Мэри Энн Чаворт и ее дальнейшую трагическую судьбу. Каждый новый эпизод стихотворения открывается фразой: «Во сне моем настала перемена».

63

...шедевре Боттэна... – Имя Себастьяна Боттэна (1764–1853), издателя первого французского альманаха-ежегодника, долго оставалось нарицательным для обозначения справочных изданий, прежде всего телефонных и адресных книг.

64

...усы знаменитого генерала, лет пять назад похищенного Москвой. – Имеется в виду Александр Павлович Кутепов (1882–1930), генерал Белой армии, видный деятель монархистской партии в эмиграции, с 1928 г. председатель офицерской организации «Российский общевоинский союз» (РОВС). В январе 1930 г. был похищен в Париже агентами ГПУ, вывезен за город и убит. Как раз в то время, когда Набоков работал над «Истинной жизнью...», в парижском суде слушалось громкое дело певицы Надежды Плевицкой, причастной к аналогичному похищению преемника Кутепова на посту председателя РОВСа, генерала Е. К. Миллера, организованному ее мужем, генералом Скоблиным, агентом ГПУ – НКВД. Впоследствии Набоков написал рассказ «Помощник режиссера», в котором сюжет основан на этой шпионской истории.

65

Мата Хари (наст. имя: Маргерита Гертруда Зелле; 1876–1917) – голландская танцовщица, международная авантюристка и шпионка, во время Первой мировой войны – агент немецкой разведки. Была казнена за шпионаж.

66

...этим пусть Анатоле занимается. – Речь идет об Анатоле деблере (1863–1939), с 1899 г. до смерти исполнявшем обязанности «национального палача» Франции. Он принадлежал к единственной в своем роде профессиональной палаческой династии.

67

...пунктик насчет Лхасы... – Лхаса – столица Тибета и центр буддизма – считалась на Западе «запретным городом», куда открыт доступ лишь адептам эзотерических учений.

68

Туровец – еще одна шахматная фамилия (по ассоциации с турой/ладьей). См. вступ.

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru статью.

69

Мадам Лесерф. – По-французски конечное «f» в фамилии Leserf (букв. олень) не произносится, но в переводе оно передано, чтобы сохранилась ее ассоциация с ферзем (см. вступ. статью, с. 12).

70

Мунте Аксель Мартин Фредрик (1857–1949) – шведский врач и писатель, автор нашумевшей «Легенды о Сан-Микеле» (1929), романтически приподнятой, сентиментальной автобиографии.

71

...стоит мне дотронуться до каких-нибудь цветов... они тут же вянут... Была когда-то персидская царица вроде меня. – Аллюзия на сказку английского писателя Джорджа Макдональда (1824–1905) «Мудрая женщина» («The wise woman», 1875) об избалованной, злой и самовлюбленной принцессе, которую берет на воспитание мудрая волшебница. Принцесса начинает осознавать свою вину перед другими людьми, когда замечает, что от ее прикосновения вянут все цветы в саду.

72

Как она звучала, эта задыхающаяся фраза во второразрядном рассказе Мопассана? «Я забыл книгу». – Как указал Д. Циммер, речь идет о новелле «Эта свинья Морен» («Ce cochon de Morin», 1882), в которой рассказчик вспоминает одно из амурных приключений своей молодости. Оставшись на ночь в доме, где жила понравившаяся ему красивая и бойкая девушка, он прокрался к ней в спальню: «...я тихонько запер дверь на задвижку и, подойдя к ней на цыпочках, сказал:

– Я забыл попросить вас, мадмуазель, дать мне что-нибудь почитать.

Она отбивалась, но вскоре я открыл книгу, которую искал. Не скажу ее заглавия. То был поистине самый чудный роман и самая божественная поэма. Едва я перевернул первую страницу, она предоставила мне читать сколько угодно; я перелистал столько глав, что наши свечи совсем догорели...»

73

А у ней на шейке паук... – По всей вероятности, реминисценция стихотворения В. Ходасевича «Про себя» (1918, сб. «Путем зерна»), в котором поэт сравнивает себя с пауком: «Пред ним ребенок спрячется за мать. / И ты сама спешишь его согнать / Рукой брезгливой с шейки розовой...»

74

Асфодель – растение семейства лилейных с белыми цветами. Согласно «Одиссее» Гомера, в Аиде – царстве мертвых – тени умерших блуждают по асфоделевым лугам.

75

Жуан – Жуан-ле-Пен – курортный город на Французской Ривьере, между Каннами и Антибом.

76

Дацзяньлу (Кандин) – город, который называли «великой развилкой Тибета», ибо здесь расходятся два древних торговых пути. Упоминается во второй главе «Дара» среди тех мест, которые посетил отец Федора Годунова-Чердынцева, главного героя романа.

77

...преподобный Парк... – Вероятно, мистификация, подобная упомянутому в «Даре» сочинению «Путешествие духа» некоего Паркера.

78

«Пратлер» («Prattler») – вымышленное название журнала (букв. «Болтун», от англ. prattle – болтать), обыгрывающее сходное по звучанию название английского глянцевого журнала «The Tatler» (выходит с 1901 г.).

79

...доктора Старова... – Как отметил М. Кутюрье, фамилия доктора представляет собой анаграмму фамилии его коллеги, чеховского доктора Астрова.

80

...одно или два нечитаемых слова: что-то вроде «Дот чету»? – Герой не распознал в русском тексте букв латинского алфавита. «Дот чету» – это Domremy, Домреми-ля-Пюсель, родная деревня Жанны д'Арк, где она в юности стала слышать голоса святых.

81

Журнал «Cadran» – фр. «Циферблат», перевод названия американского журнала «The Dial» (выходил с 1840 по 1929 г.), являвшегося на протяжении двадцатых годов одним из главных центров американского и западноевропейского модернизма, где печатались Эзра Паунд, Т. С. Элиот, Т. Манн, У. Йейтс и другие известные писатели и поэты.

82

Jasmin, 61–93. – Как неоднократно отмечалось ранее, в этом телефонном номере анаграммирован год смерти Себастьяна Найта. Число 36 повторяется в романе неоднократно: Найт живет в доме № 36, а умирает в палате № 36 в возрасте тридцати шести лет (как Байрон).

83

Сен-Дамье – вымышленный топоним (ср. Сен-Дамьен, город во Французской Канаде), входящий в ряд шахматных образов романа.

84

Роман был написан в 1969–1972 гг. и вышел в 1972 г. в издательстве «MacGraw-Hill»; незадолго до этого он печатался также в журнале «Esquire».

Главный «фокус» (в обоих смыслах этого слова) «Просвечивающих предметов» заключается в позиции повествователя, который ведет рассказ из «потусторонности», и потому прошлое для него пронцаемо. Таким образом, «мы» повествования – это тени умерших, наблюдающие земную жизнь, но не вмешивающиеся в нее.

На имевшихся в нашем распоряжении планах и картах не значатся те швейцарские города, в которых происходит действие основных эпизодов романа: Трю (Trux), Версекс (Versex), Витт (Witt), Дьяблоннэ (Diablonnet). По-видимому, это вымышленные названия, которые внешне напоминают топонимику Швейцарии (ср.: Trun, Vernex, Versoix, Wyttenwasser, Diableret) и в которых англоязычный читатель распознает хорошо знакомые ему корни: true (истина); verse (стихи) и sex (секс); wit (ум, остроумие); diabolic (дьявольский). В связи с этим переводчики сочли возможным в одном случае отступить от правил транслитерации и передать Versex как Версекс (вместо положенного Версе).

85

«Аскот» – от названия ипподрома в Англии близ города Виндзора, где в июне проводятся скачки, на которых по традиции присутствуют члены королевской семьи и весь цвет британской аристократии.

86

Вернувшись еще на энное количество лет назад (хоть и не доходя до года рождения

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru Шекспира, когда был открыт графит)... – История грифельных карандашей ведет свое начало с открытия залежей необычно чистого графита близ английского города Кесвика (Keswick), в горах над долиной Борроудэйл (Borrowdale), впоследствии давшей название месторождению. По преданию, это произошло в 1564 г. (год рождения Шекспира) после бури, вырвавшей с корнем дерево, под которым обнажилась порода.

87

Элиас Борроудэйл. – фамилия повторяет название месторождения графита в Англии, упомянутого выше.

88

...новоизобретенной электропилы... – Ручные электрические и бензомоторные пилы были запатентованы в конце 1920-х гг., после чего вошли в широкое употребление.

89

...наших ветродуев... – Отец Хью спутал два похожих французских слова: vent – ветер и vente – продажа.

90

...имитирующий арагонит «алябастрик»... – Арагонит – минерал, образующий кристаллы разнообразных форм и входящий в состав жемчуга и перламутрового слоя раковин. Придуманное слово «алябастрик» включает в себя французское «là-bas» («там»), которое у Набокова обычно выступает как знак «потусторонности» (см., например, «Приглашение на казнь»).

91

Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур... – Объявление на будке гласит буквально следующее: «3 фотографии в трех положениях». Однако, если начальный согласный «Р» прочитывать лишь с первым словом, то у нас получается словосочетание «photos os[é]es» (фр.: рискованные фотографии). Чистоту каламбура нарушает мужское окончание без второго «е» и диакритического знака / /.

92

Бостонский душитель. – Имеется в виду американский маньяк Альберт де Сальво, совершивший в 1962–1964 гг. тринадцать изнасилований и убийств в Бостоне. Дело, однако, никогда не рассматривалось в суде, так как де Сальво был осужден на пожизненное заключение за другие преступления и вскоре убит в тюрьме.

93

...после десятимильного похода до ближайшей рулетки... – По-видимому, намек на Достоевского, который, как известно, был страстным игроком и, когда жил за границей, нередко проигрывал в рулетку большие суммы денег. Маршрут и время путешествия «русского писателя» также отсылают к первой заграничной поездке Достоевского в 1862 г. Тогда он в начале августа (по новому стилю) встретился в Швейцарии со своим другом Н. Н. Страховым, и они вместе отправились в Италию. Характерно, что безымянный русский писатель «просвечивает» сквозь комнату проститутки, к которой после смерти отца пришел герой, – не пародийный ли это отголосок знаменитой сцены в «Преступлении и наказании», где сходятся «убийца и блудница»? В таком случае «предварительное название» романа писателя «Фауст в Москве» может вызвать ассоциацию либо с Иваном Карамазовым, которого русская критика начала XX в. именвала «русским фаустом», либо с теми книгами, которые для Набокова связаны с враждебной ему традицией Достоевского, – в первую очередь «Доктором Фаустусом» Томаса Манна и, возможно, «Мастером и Маргаритой» Булгакова.

94

Анакреон умер... поперхнувшись предтечей вина... – Согласно легенде, древнегреческий лирик Анакреон, уроженец города Теос в Ионии, дожил до глубокой старости и умер,

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru поперхнувшись виноградной косточкой. В своих стихах он воспевал мирские наслаждения: любовь, вино, пиры.

95

...шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании. – По распространенным, но документально не подтвержденным сообщениям, гроссмейстер Александр Алехин (1892–1946), чемпион мира по шахматам, умер от удушья в Португалии, подавившись куском бифштекса.

96

Атман – в индуизме божественное начало в душе человека.

97

Кромлех (ср.: млеко...)... «менгир»... – Этимологические изыскания Хью Персона пародируют психоаналитическую культурологию Юнга и его школы и не имеют под собой никаких оснований. Кромлех (археол.) – круг камней – происходит от валлийского *sgom* – круглый и *lllech* – камень; менгир – ритуальный каменный столб – от бретонского *men* – камень и *hir* – длинный.

98

«Шамар» в значении «веер из павлиньих перьев» встречается, кажется, у Байрона... – Хью Персон, по-видимому, спутал слово индийского происхождения «*chamar*» (большой веер или опахало, обычно из павлиньих перьев) с «*sumar*» (свободная накидка, легкое платье), которое употреблено Байроном в финале восточной поэмы «Гяур», когда герою является призрак умершей возлюбленной.

99

*Ouvre ta robe, Déjanire... sur mon bûcher.* – В древнегреческой мифологии Деянира – жена Геракла. Когда она переправлялась через реку на спине у кентавра-перевозчика Несса, тот попытался овладеть ею и был убит подоспевшим Гераклом. Умиравший Несс подозвал к себе Деяниру и сказал ей, что если она хочет иметь средство, которое сохранит ей любовь Геракла, то пусть смешает семя, пролитое им на землю, с кровью, вытекшей у него из раны. Деянира так и поступила и, когда до нее дошли известия об измене супруга, послала ему хитон, пропитанный этой смесью. Однако кровь Несса превратилась в яд, принеший Гераклу страшные мучения. Узнав о случившемся, Деянира повесилась; Геракл же разложил костер, взшел на него и сжег себя. Герой Набокова цитирует последнюю строфу стихотворения Альфреда де Мюссе «К Жюли» («*A Julie*», 1832; указано Б. Бойдом): «*Allons, Julie, il faut t'attendre / A me voir quelque jour en cendre, / Comme Hercule sur son rocher. / Puisque c'est par toi que j'expire, / Ouvre ta robe, Déjanire, / Que je monte sur mon bûcher*» (букв. пер.: «Ну вот, Жюли, ты должна быть готовой к тому, / Что однажды увидишь меня испепеленным, / Подобно Гераклу на его скале. / Поскольку я умираю из-за тебя, / Распахни свой хитон, Деянира, / Чтоб я взшел на мой костер»).

100

...ником не замеченная домоправительница Шерлока Холмса. – Аллюзия на рассказ А. Конан Дойла «Пустой дом» из книги «Возвращение Шерлока Холмса». Чтобы заманить убийцу в ловушку, знаменитый сыщик устанавливает в своем кабинете собственную восковую фигуру, причем из окон напротив манекен кажется живым, так как домоправительница Холмса миссис Хадсон каждые четверть часа незаметно меняет его положение.

101

...знаменитым киноактером Ройбинсоном, игравшим когда-то старых гангстеров в фильмах, сделанных во Флориде... – По предположению Д. Циммера, намек на американского киноактера Эдварда Дж. Робинсона (1893–1973), часто игравшего роли гангстеров. Одна из самых известных его ролей – гангстер Рокко в фильме Джона Хьюстона «Ки Ларго» («*Key Largo*», 1948), действие которого происходит во Флориде.

102

Ноктурия – учащенное мочеиспускание по ночам, прерывающее сон.

103

...«Тамворт» – как... порода... свиней. – Имеется в виду так называемая тамвортская (или тамуэртская) порода свиней рыжей масти (по названию английского города Тамворта (Тамуэрта), близ которого была впервые выведена).

104

«Тралятиции» (англ. Tralatitions, от лат. tralatitio). – Слово, как и прилагательное «tralatitious» (нем. tralatizisch), с буквальным исходным значением переноса, передачи, изначально обозначало следование традиции, однако впоследствии было переосмыслено как калька древнегреческого термина «метафора» и стало обозначать перенос значения, иносказание, что согласуется со сквозным мотивом романа – иными смыслами, просвечивающими через предметную оболочку.

105

...дни скоротечные, как слава молодого атлета. – Аллюзия на стихотворение А. Хаусмена (см. выше прим. к с. 46 и 90) «Атлету, умершему молодым» («To an Athlete Dying Young»).

106

Как это часто бывает в произведениях Р., «на звонок никто не ответил». – Никто не отвечает на звонок героя в двух важнейших эпизодах второй части «Лолиты» Набокова – когда Г. Г. приезжает сначала к повзрослевшей и подурневшей Лолите, а затем к ее похитителю Клэру Куильти. В первом случае герой реагирует на это французским словом «personne» (никого), которое в других значениях эквивалентно английскому Person.

107

...имя... искажавшееся... до «Патапуфф»... – Ср. фр. patarouf – толстяк, пузан.

108

...voyeur malgré lui... – обыгрывается название комедии Мольера «Лекарь поневоле» («La Médecin malgré lui», 1666).

109

...мечта любого лютвидгеанца... – Намек на тайные пороки автора «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла, чье второе имя – Лютвидж (по девичьей фамилии матери). Любимым занятием Кэрролла была фотография, причем многие из его работ – это эротические снимки обнаженных и полуобнаженных «нимфеток», девочек в возрасте 10–12 лет.

110

«Леральд Трибюн» – название американской газеты «Herald Tribune» передано здесь на французский манер, с артиклем и без начального «h».

111

«Рафалович». – Набоков обыгрывает здесь фамилию поэта-эмигранта Сергея Львовича Рафаловича (1875–1943), автора более 20 поэтических книг. В рецензии Набокова на два его сборника (Руль. 1927. 19 января) отмечены многословие, «слишком гладкая неяркость» и «склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими». Те же недостатки, очевидно, присущи и тому «знаменитому московскому поэту» (Евтушенко? Вознесенский?), с которым собирается встретиться Джулия.

112

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Вальсик «Очарование» – всемирно известная с 1930-х гг. песня итальянского композитора Фермо Данте Марчетти (Fermo Dante Marchetti, 1876–1940).

113

Rom – в англоязычных странах корректорский знак – команда типографу снять курсив и набрать слово прямым шрифтом.

114

«Мондштейновские сексоходы». – От нем. Mondstein – лунный камень. Ср. название известного романа У. Коллинза.

115

БДЯГ. – На самом деле эта стадия сна, во время которой у мужчин действительно наблюдается эрекция, называется БДГ (быстрые движения глаз), а по-английски REM (Rapid eye movement). Из английской аббревиатуры Набоков, добавив к ней слог, сделал NAREM, что заставило переводчиков внести изменение в аббревиатуру русскую.

116

«Отец Игорь» – контаминация двух названий: оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и романа Бальзака «Отец Горио».

117

...и еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии. – Напомним, что именно в Швейцарии жил американский писатель Владимир Набоков.

118

«Полина анида» («Pauline anide») – видимо, «Полина бесформенная» (от редк. англ. anidian).

119

...как надо писать: «Savoie» или «Savoу»? – По-английски «Savoу» («Савой») – название одной из самых дорогих лондонских гостиниц, а «Savoie» (Савойя) – французского департамента. Обыгрывается, кроме того, значение входящего в топоним существительного «voie» (путь).

120

«Мишлен» – путеводитель (по названию французской фирмы, которая наряду со своей основной продукцией – автомобильными шинами – выпускает также путеводители по разным странам и городам на основных европейских языках).

121

«Римиформный» – имеющий форму щели или трещины (от лат. rima – щель).

122

«Баланская» – от др. – греч. balanos – желудь, в анатомии – головка пениса или клитора.

123

Кеовое дерево – фисташка туполистная. В оригинале «kew tree», что при написании с заглавных букв означало бы дерево гинкго по названию лондонского ботанического сада Kew Gardens, где имеется старейший в Европе экземпляр этого реликта.

124

«Пятнистая небрида» (от др. – греч. nebris (род. пад. nebridis)) – шкура молодого оленя, которую носили вакханки во время празднеств в честь Диониса и

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
жрецы Деметры во время Элевсинских мистерий.

125

«Адам von Либриков» – анаграмма имени Владимир Набоков, знак авторского присутствия в тексте. Отметим, кстати, что латинский инициал R. может быть понят как перевернутое русское «Я».

126

«Царство Канута». – Канут (XI в.) – король Англии, Норвегии и Дании, создатель профессионального войска.

127

Эффекта Допплера (по имени открывшего его австрийского физика Христиана Допплера; 1803–1853): изменение длины волны (цвета) светового луча, испускаемого источником, движущимся по отношению к наблюдателю.

128

Танатология – научное изучение смерти (от др. – греч. thanatos – смерть).

129

Ромео. – В английском написании имя Romeo – анаграмма фамилии Мур (Moore), которую, напомним, в романе носят два персонажа – падчерица писателя Р. Джулия (то есть Джульетта) и сосед Персона по общежитию, свидетель его сомнамбулического сражения с ночным столиком. Сложная игра с этими именами отсылает не только к «Ромео и Джульетте» и Амуру, но и к любовной лирике английского романтика Томаса Мура (1779–1852), особенно к его стихотворению «Когда пробьет печальный час...», известному в России по вольному переводу И. Козлова. В этих стихах речь идет о душах умерших, посещающих «места былых восторгов».

130

...что на староитальянском языке означает «паломник»... – Аллюзия на сцену бала в «Ромео и Джульетте» (I, 5), где герой появляется в костюме паломника (пилигрима). Это обыграно в его первом разговоре с Джульеттой:

Ромео (Джульетте)

Когда рукою недостойной грубо  
я осквернил святой алтарь – прости.  
Как два смиренных пилигрима, губы  
Лобзаньем смогут след греха смести.

Джульетта

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно  
к своей руке: лишь благочестье в ней.  
Есть руки у святых: их может, верно,  
коснуться пилигрим рукою своей.

Ромео

Даны ль уста святым и пилигримам?

Джульетта

Да, для молитвы, добрый пилигрим.

Ромео

Святая! Так позволь устам моим  
Прильнуть к твоим – не будь неумолима.  
(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

131

...доплерова комбинация. – Здесь обыгрывается название физического явления – эффекта Допплера (по имени открывшего его австрийского физика Христиана Допплера; 1803–1853): изменение длины волны (цвета) светового луча, испускаемого источником, движущимся по отношению к наблюдателю.

132

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru  
Супермен, несущий младую душу в своих объятиях. – Реминисценция третьей строфы стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831): «Он душу младую в объятиях нес / Для мира печали и слез...» (Ср. тот же мотив в финале «Демона»: «В пространстве синего эфира / Один из ангелов святых / Летел на крыльях золотых, / И душу грешную от мира / Он нес в объятиях своих».) Один из самых знаменитых образов русской романтической поэзии иронически сопоставлен здесь со своим далеким американским потомком – всемогущим крылатым Суперменом из серии популярных комиксов.

133

...Эйлер называл ноль совершенным числом. – Имеется в виду Леонард Эйлер (1707–1783) – швейцарский математик и физик, долгое время работавший в Санкт-Петербурге и Берлине. Назвать ноль совершенным числом он никак не мог, поскольку совершенными числами в математике называются такие натуральные числа, которые равны сумме всех своих делителей, отличных от него самого. Набоков, видимо, неправильно помнил постулат Эйлера: «Бесконечно малое число есть ноль».

134

Босуэлл Джеймс (1740–1795) – автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюэла Джонсона (1709–1784), основанной на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла – нарицательным для образцового биографа.

135

...действовал в состоянии эпилептического транса... – В психиатрии описано несколько так называемых сомнамбулических убийств, то есть убийств, совершенных во сне. Один из наиболее известных случаев произошел в Англии в 1859 г. Бедной женщине Эстер Григгс (Esther Griggs), как и герою Набокова, приснилось, что ее дом горит, и она выбросила из окна маленькую дочку, думая, что спасает ее от огня. Еще раньше некий немец зарубил топориком свою жену, когда ему снилось, что он отбивается от привидения (Hammond W. A. Sleep and Its Derangement. Philadelphia, 1873. P. 307–314).

136

...от своего французского предка, католического поэта и почти что святого... – Намек на французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен-Жон Перса (Saint-John Perse, наст. имя Алексис Леже; 1887–1975), чей псевдоним составлен из имен святого Иоанна (в английской передаче) и римского поэта Персия. Сен-Жон Перс (без двух букв Персон) известен как «поэт-путешественник», совершивший множество поездок по Азии и островам Тихого океана.

137

...дурацкое русское... имя покойной старухи. – По-английски имя Настя созвучно прилагательному «nasty» (злойный, мерзкий).

138

Карта Нежности. – Как отметил Д. Циммер, аллегорическая карта страны Нежности (Carte de Tendre) была приложена к роману французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607–1701) «Клелия, или Римская история» (1654–1661), служившему современникам учебником галантности и салонной любви.

139

«Дождь в Виттенберге, но не в Виттгенштейне»... – Шутка обыгрывает название университета, в котором учился Гамлет, и фамилию австрийского логика и философа-неопозитивиста Людвиг Виттгенштейна (1889–1951), чью концепцию языка нередко сопоставляли с поэтикой Набокова. «С трудами Виттгенштейна я незнаком и только, наверное, в пятидесятые годы вообще о нем впервые услышал», – раздраженно ответил Набоков на подобные рассуждения одного из интервьюеров. Однако, как установил Б. Бойд, здесь он прямо отсылает к афоризму Виттгенштейна из его «Логико-философского трактата»: «Например, я ничего не знаю о погоде, когда я знаю, что дождь либо идет, либо не идет» (4.461). Кроме того, каламбур

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru строится на актуализации семантики собственных имен: wit (англ.) – ум, остроумие; Berg (нем.) – гора; Stein (нем.) – камень.

140

«Прах к праху» – слова из заупокойной службы в англиканской церкви. Восходят к ветхозаветному: «...ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19).

141

...«Je me souviens... je suis pé» Гудгрифа... – В буквальном переводе на французский цитируется стихотворение английского поэта Томаса Гуда (Thomas Hood; 1799–1845); «Я помню, я помню» («I remember, I remember», 1827), в котором счастливое детство наивно-романтически противопоставляется зрелости. Вот его первая строфа в прозаическом переводе

М. Л. Михайлова: «Помню я, помню / дом, где я родился, / маленькое окно, куда солнце / украдкой заглядывало поутру. / Никогда не являлось оно слишком рано, / никогда не приносило слишком длинного дня; / а теперь мне часто желается, чтобы ночь / унесла с собою и жизнь мою» (Современник. 1861. № 1. С. 301). Неопознанным переводом из Гуда является стихотворение Л. И. Трефолева «Детские годы» («Я помню, помню дом родной...», 1868).

Несуществующая фамилия Гудгриф (Goodgrief) значит буквально «Хорошее / доброе горе», что достаточно точно передает настроение стихов. В английском языке это словосочетание используется исключительно как восклицание, выражающее удивление, что-то вроде «Боже мой!» или «Неужели!».

По предположению Б. Бойда, Набоков метит не только в Томаса Гуда, но и в переводчика Пруста на английский язык Скотта Монкрифа (Charles Kenneth Scott Moncrieff, 1889–1930), чья фамилия рифмуется с фамилией Гудгриф. Заглавие прустовского цикла романов «В поисках утраченного времени» («À la recherche du temps perdu») Монкриф произвольно заменил на «Remembrance of Things Past» (букв. «Воспоминание о прошедшем») – цитату из 30-го сонета Шекспира, исказив тем самым его смысл.

142

...звучит как «Beau Romeo». – Имеется в виду отель «Borromeo» в Стрезе, по имени старинной итальянской аристократической фамилии, давшей название Борромейским островам близ Стрезы на Лаго Маджоре в Ломбардии (Северная Италия).

143

«Трансатлантик». – Иронически обыгрывается название американского журнала «Атлантик Мансли» (основан в 1857 г.), в котором Набоков напечатал более десяти рассказов и стихотворений.

144

Уайльд. – Фамилия швейцарского господина должна вызвать ассоциацию с Оскаром Уайльдом и в первую очередь с его «Балладой Редингской тюрьмы» (1898), герой которой, подобно Персону, «ту женщину убил в постели, которую любил». Рефрен поэмы – фраза «мы все убиваем тех, кого любим».

145

...убежденный эсперантист... – Обыгрывается значение названия искусственного языка эсперанто («надеющийся», лат. sperans, -ntis) и производных от того же латинского корня в романских языках (sperantia, исп. esparanza и др.).

146

...красное жало... – Реминисценция диалога в стихах «Герострат» (Érostrate, 1840) французского поэта Огюста Барбье (1805–1882), в которой inferнальный голос из преисподней подает герою совет сжечь храм: «La flamme et son rouge aiguillon / Est un bon lot; notre puissance / Ne peut te faire un plus beau don» (букв. пер.: «Пламя и его красное жало / это прекрасная судьба; наша державная сила /

Просвечивающие предметы (сборник). Владимир Владимирович Набоков [nabokovvladimir.ru](http://nabokovvladimir.ru) не может сделать тебе лучшего подарка»). Эти слова могут быть прямо переадресованы Хью Персону.

147

«Кровавый Ванька». – На самом деле этот коктейль называется «Bloody Mary», то есть, если угодно, «Кровавая Машка».

148

Sericanette – каламбурный неологизм, восходящий к лат. *sericum* (шелк), к вышедшему из употребления топониму Серикана (страна шелка), обозначавшему либо Китай, либо граничащую с ним мифическую страну (встречается в «Потерянном рае» Мильтона – III, 438–439), и к фр. *ricaner* (ухмыляться, зубоскалить). В нем почти полностью анаграммировано латинское «aeternitas» (вечность).

149

Шпиц. – Собачка именно этой породы была у чеховской героини; это вряд ли случайное совпадение, ибо выше «жена собачника» была названа «дамой с собачкой».

150 «Амилькар» – вымышленное название автомобиля, контаминирующее фр. *amical* – дружеский и англ. «car» – машина, а также вызывающее ассоциацию с Гамилькар (III в. до н. э.) – карфагенским полководцем, героем романа Флобера «Саламбо». Французская автомобильная фирма с этим названием существовала с 1921 по 1940 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!